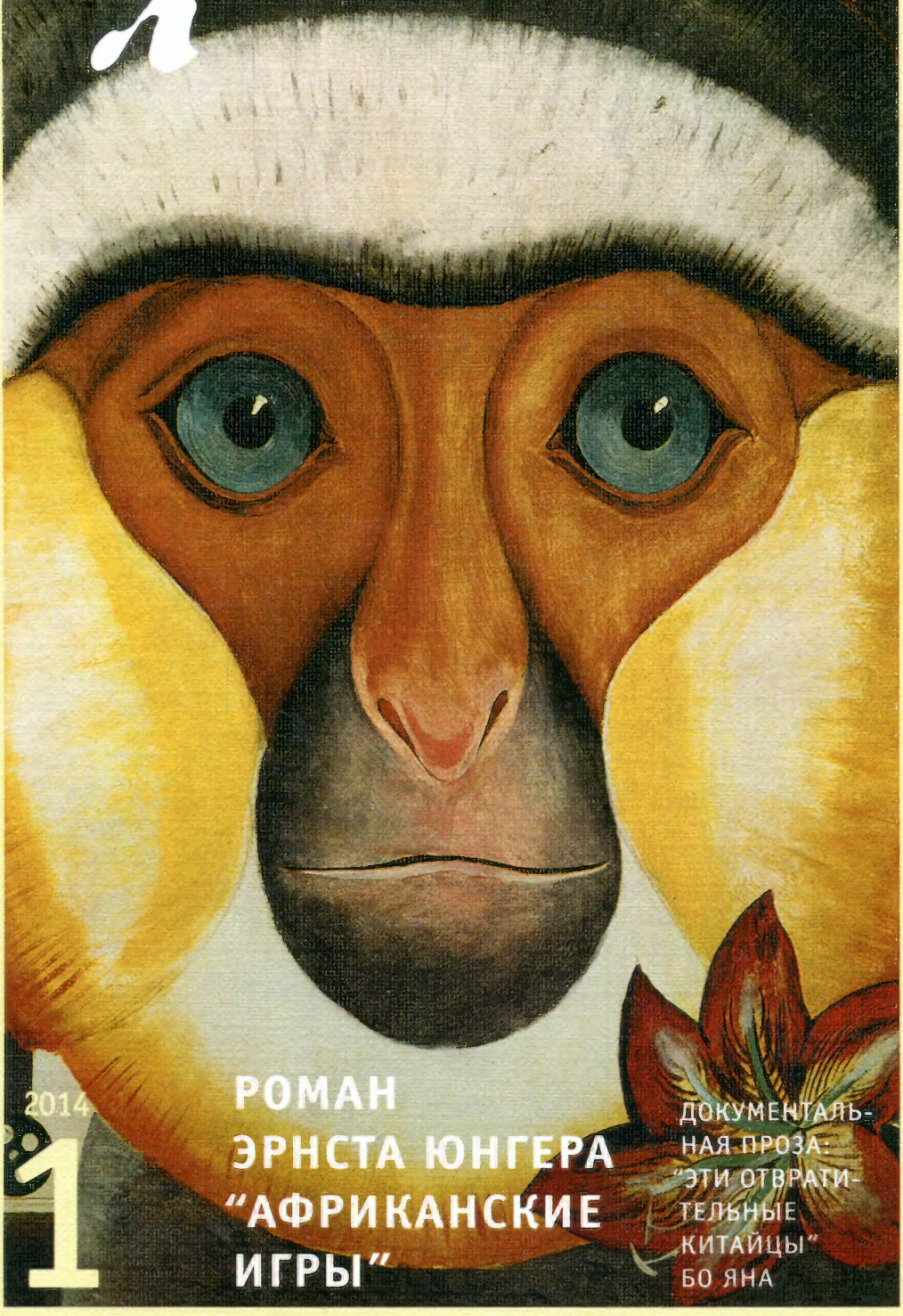
ISSN 0130-6545

ИЛ ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+



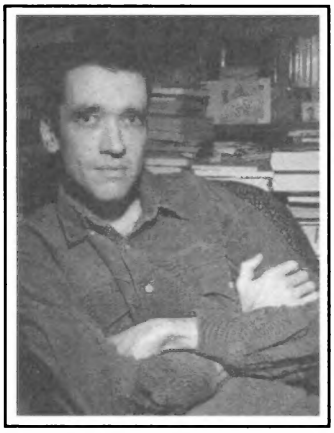
2014

1

РОМАН ЭРНСТА ЮНГЕРА “АФРИКАНСКИЕ ИГРЫ”

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “ЭТИ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ КИТАЙЦЫ” БО ЯНА

Основан в 1955 году



21 декабря Москва хоронила Григория Михайловича Дашевского (1964–2013), поэта, критика, преподавателя, знатока античности, переводчика. И нашего коллегу: он был членом редакционного совета "ИЛ".

Гриша – а почти для всех нас он был Гришей: и потому что смолоду печатался в "ИЛ", и потому что был моложе большинства из нас, и потому что таинственным образом, видимо, в силу какой-то высшей поэтической справедливости, сохранял юношеский облик, – у нас в редакции появлялся нечасто, но связь с ним никогда не прерывалась; мы порой советовались с ним, что стоит напечатать, кому заказать рецензию, статью, перевод...

Человек блестящего ума, таланта и вкуса, он обладал огромной эрудицией и переводил трудные книги. А как человек четкой нравственной и гражданской позиции, выбирал для перевода книги важные. Вот и получалось, что он всегда переводил важное и трудное. Вспоминается, как наш журнал – по заданию чуть ли не нобелевского комитета – переводил речи нобелевских лауреатов (какое-то издательство готовило к выпуску сборник их речей), Гриша выбрал Черчилля. Достаточно назвать хотя бы некоторых из переведенных им авторов: Карл Барт, Дитрих Бонхёффер, Ханна Арендт, Фрэнсис Йейтс, Рене Жирар – чтобы порадоваться тому, что все эти книги стали достоянием русской культуры в его исполнении.

Литературное и научное сообщество знало ему цену – он был лауреатом премии Андрея Белого (2011 год – в номинации перевод), был награжден премией Мориса Ваксмахера, был признан лучшим переводчиком программы Translation Project Института "Открытое общество" (Фонд Сороса).

Поэт и знаток художественной литературы, он часто выбирал для перевода прозу поэтов: Раймонда Карвера, Роберта Пена Уоррена, Иосифа Бродского, Владимира Набокова – предпочитал работать над вещами, где важно было уловить и передать интонацию, модуляции ритма, сложность подтекста. В сделанном всегда видна была требовательность к себе и безупречность вкуса. Пожалуй, это было нечто большее, чем вкус, – скорее, свидетельство кругооборота между культурой и жизнью. Чтобы посмотреть, как много он сделал, достаточно открыть его страницу на Ozon.ru

Поэт, он, конечно, переводил и поэтов. Из совсем недавних работ – прекрасный новый перевод хрестоматийного стихотворения Роберта Фроста "Остановившись у леса снежным вечером". Он переводил Катулла и все собирался подготовить подборку переводов античных поэтов для нашего журнала, но как-то не доходило до дела: было много работы (кроме всего прочего, он на протяжении ряда лет работал литературным обозревателем в журнале "Коммерсант") и очень много болезни, превращавшей его жизнь в жизнь канатоходца. Мужества ему было не занимать.

Наверное, лучше, чем любые чужие слова, о нем скажут его собственные (произнесенные на одном из "Круглых столов" в "ИЛ", где обсуждались языковые проблемы перевода):

"Надо быть просто свободными людьми, тогда будет более разнообразная лексика".

Редколлегия журнала "Иностранная литература"

[1]
2014

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Эрнст Юнгер *Африканские игры.* Повесть. Перевод с немецкого Евгения Воропаева

76 Жан Фоллен *"Тоскливый голос взывает беззвучно".* Стихи. Перевод с французского и вступление Александра Давыдова

83 Джордж Сондерс *Десятого декабря.* Рассказ. Перевод с английского и вступление Светланы Силаковой

Документальная проза

108 Бо Ян *Эти отвратительные китайцы.* Фрагменты книги. Перевод с китайского под редакцией Романа Шапиро. Вступление Романа Шапиро

In memoriam

149 Альбер Камю *"Укоренение" Симоны Вейль.* Набросок предисловия к книге. Перевод с французского и вступление Бориса Дубина

153 Марек Заганчик *Первая улыбка мира.* Фрагмент эссе. Перевод с польского К. Старосельской

В устье Гудзона с Алексеем Цветковым

155 *Пять эссе: Конец будущего. Чувство чуда. Формы адаптации. Поэзия и рекурсия. Хранить вечно*

Статьи, эссе

172 Иэн Макьюэн *Отступничество.* Перевод с английского Виктора Голышева

176 Марина Ефимова *Энтузиаст. Судьба Торнтона Уайлдера*

Трибуна переводчика

183 Вера Мильчина *"Я больше люблю тексты веселые и игровые"*

Из будущей книги

198 Александр Ливергант *Оскар Уайльд.* Главы из одноименной книги

Личное дело

242 Наталья Малиновская *Личное дело*

Ничего смешного

258 Лукаш Дембский *"Кафе-Шкафе".* Главы из книги. Перевод с польского Полины Козеренко

БиблиоФИЛ

275 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

278 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовила Мария Курбак

Авторы номера

281

© "Иностранная литература", 2014

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Б. В. Дубин

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Ю. П. Гусев
Г. М. Дашевский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Рудницкий
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

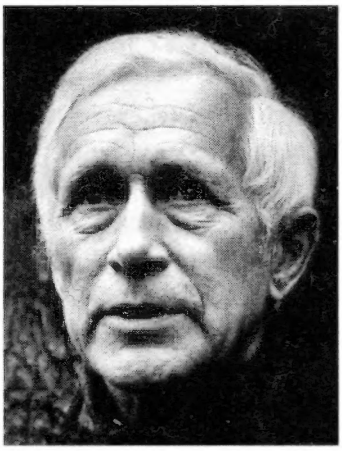
Ван Мэн
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский
Е. Д. Кузнецова
Е. И. Леенсон
М. А. Липко
М. С. Соколова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Эрнст Юнгер



Африканские игры

Повесть

Перевод с немецкого Евгения Воропаева

1

ПОРАЗИТЕЛЬНО, как фантазия — словно лихорадка, микробы которой занесло невесть откуда, — постепенно завладевает нашей жизнью, проникая в нее все глубже и пылая все жарче. Под конец только *воображаемое* кажется нам действительностью, а *повседневное* — сном, в котором мы все делаем без радости, как актер, запутавшийся в своей роли. Потом наступает момент, когда нарастающее уныние обращается к разуму и ставит ему задачу — оглядеться в поисках выхода.

По этой причине словечко "сбежать" и приобрело для меня особое звучание, ведь о конкретной опасности, оправдывающей его использование, едва ли могла идти речь — не считая, конечно, участившихся, а в последние недели звучавших с явной угрозой, жалоб преподавателей, которые обращались со мной будто с лунатиком.

© 1936, 1978 Klett-Cotta – J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
© Евгений Воропаев. Перевод, 2014

— Бергер, вы спите, Бергер, вы замечтались, Бергер, вы невнимательны... — раздавался вечный рефрен. И мои родители, которые жили в деревне, уже получили несколько писем неприятного содержания, начинающихся словами: "Ваш сын Герберт..."

Но эти жалобы были не столько причиной, сколько следствием моего намерения — или, точнее, находились с ним в том взаимодействии, какое обычно ускоряет движение по наклонной плоскости. Вот уже несколько месяцев я жил в состоянии тайного бунта, что трудно долго скрывать, находясь в школе-интернате. Я дошел до того, что фактически больше не участвовал в занятиях, а перелистывал под партой книги о путешествиях по Африке. Если мне задавали вопрос, я должен был сперва выбраться из всех этих пустынь и морей и только потом мог подать какие-то признаки жизни. В классе я присутствовал, в сущности, только как *поверенный* некоего путешественника, пребывающего вдали отсюда. И еще я любил, сославшись на внезапное недомогание, покинуть классную комнату, чтобы погулять под деревьями школьного двора. Там я размышлял над деталями своего плана.

Классный руководитель уже прибегнул в отношении меня к *предпоследнему* воспитательному средству (что могло предвещать окончательное расставание): он перестал меня замечать, "наказывал пренебрежением". И скверным знаком было то, что даже такое наказание больше не производило на меня впечатления: это показывало, в сколь большой мере я *уже не присутствовал здесь*. Попытка учителей изолировать меня посредством игнорирования моей персоны была мне даже приятна: она создавала вокруг меня пустое пространство, где я без помех занимался своими приготовлениями.

Бывает время, когда *таинственное* кажется сердцу чем-то *пространственным*, достижимым только на белых пятнах географической карты; когда все темное и неведомое обретает мощную привлекательность. Долгие, пьянящие сны наяву во время ночных прогулок по городскому валу так близко придвигали ко мне те далекие страны, что, казалось, не хватает только решения добраться туда и вкусить их блаженства. Выражение "девственный лес" означало для меня такую жизнь, перед соблазном которой в шестнадцать лет устоять невозможно: жизнь, посвященную охоте, разбою и редкостным открытиям.

В один прекрасный день мне стало ясно, что утраченный Эдем скрывается в путаных верховьях Нила либо реки Конго. И поскольку тоска по таким местам относится к самым неодолимым видам тоски, я начал вынашивать безумные пла-

ны — как лучше проникнуть в район великих болот, сонной болезни и людоедства. У меня мало-помалу созрела мысль, пожалуй, знакомая каждому по воспоминаниям детства: я хотел добраться туда как безбилетный пассажир, как юнга или как странствующий подмастерье. Но в конце концов я решил завербоваться в Иностранный легион, чтобы таким образом хотя бы добраться до границы *земли обетованной*, а уж потом, на собственный страх и риск, продвигаться в ее внутренние районы... После того, конечно, как я поучаствую в нескольких сражениях (ведь свист пуль представлялся мне музыкой горних сфер, о которой можно разве что прочитать в книгах, а чтобы приобщиться к ней, нужно совершить паломничество, как американцы совершают паломничество в Байройт).

Итак, я готов был присягнуть любой телячьей шкуре на свете[1], только бы эта шкура, словно волшебный плащ Фауста, доставила меня к экватору. Но Иностранный легион не относится к тем темным силам, которые, коли надумал заключить с ними договор, можно вызвать заклинанием хоть на ближайшем перекрестке. Он, правда, наверняка где-то существовал, ибо время от времени я читал в газетах сообщения о нем — наполненные описаниями таких смертельных опасностей, лишений и жестокостей, какие не придумал бы и самый искусный шеф рекламной конторы, задайся он целью завлечь бездельников моего пошиба. Я многое бы отдал, чтобы встретиться с одним из вербовщиков легиона, которые будто бы подпаивают и похищают молодых людей и от которых нас столь *соблазнительно* предостерегают; однако такая возможность — для нашего городка, мирно дремлющего в долине Везера, — представлялась мне совершенно невероятной.

Поэтому я думал, что правильнее всего сначала как-нибудь перейти границу, тем самым совершив первый шаг из сферы порядка в сферу *неупорядоченного*. Мне представлялось, что *чудесное*, это царство сказочных случайностей и приключений, будет с каждым моим шагом заявлять о себе все отчетливее, стоит только набраться мужества и вырваться из заурядного существования; что его притяжение ощущается тем сильнее, чем больше ты к нему приближаешься.

От меня, правда, не укрылось, что любому состоянию присуща немалая сила инертности, для преодоления которой одной мысли недостаточно. Конечно, когда — скажем, по вечерам, перед тем как заснуть, — я мысленно рисовал се-

1. "Присягнуть телячьей шкуре" — старинное немецкое выражение, означающее "стать солдатом, наемником" (потому что телячьей шкурой обтягивали полковой барабан). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

бе возможные способы бегства, мне казалось: нет ничего легче и проще, как сейчас же одеться и сесть на вокзале в ближайший поезд. Но стоило мне шевельнуться, и я ощущал в себе свинцовую тяжесть. Несоответствие между безудержными возможностями мечтания и ничтожностью мер, принимаемых для исполнения мечты, очень меня огорчало. С какой бы легкостью я ни бродил — в своих мыслях — по труднодоступным ландшафтам, мне было понятно, что в реальном мире даже покупка проездного билета потребует гораздо больших усилий, чем я рассчитывал.

Когда, не привыкший к прыжкам, стоишь на высоком трамплине, очень ясно чувствуешь разницу между той частью тебя, которая хотела бы броситься вниз, и другой частью, которая этому противится. Когда попытка взять себя за шиворот и швырнуть вниз не удается, находится другой выход. Он заключается в том, чтобы *обхитрить себя*, заставив тело колебаться на самом краю трамплина до тех пор, пока ты внезапно не увидишь, что просто вынужден спрыгнуть вниз.

Я чувствовал, что таким усилиям, направленным на выталкивание себя в мир приключений, больше всего мешает мой собственный страх. Сильнейшим моим противником в данном случае был я сам: инертное существо, которое любит мечтать над книгами и следить за передвижением своих героев по опасным ландшафтам, вместо того чтобы в ночь и туман *самому* убежать из дому и последовать их примеру.

Но во мне был еще и другой, более дикий, дух, который нашептывал, что опасность это не спектакль, каким любуешься из удобного кресла, что ее воспринимаешь совсем иначе, когда отваживаешься ступить в ее реальность; и этот другой пытался *вытащить меня на сцену*.

Во время таких тайных бесед, по ходу которых мне предъявлялись все более суровые требования, меня часто охватывал трепет. Мне не хватало также практической сметки: мысль о том, как много потребуется мелких уловок и хитростей, чтобы осуществить план побега, угнетала меня. Как все мечтатели, я бы хотел иметь волшебную лампу Аладдина или кольцо рыбака Джудара[1], с помощью которых можно вызывать услужливых джиннов.

С другой стороны, скука, точно смертельный яд, с каждым днем все сильнее проникала в меня. Мне казалось совершенно невозможным, что я сумею "стать" чем-то; мне прети-

1. Персонаж "Тысячи и одной ночи" ("Сказка о Джударе", ночи 607–624).

ло само это слово, и из тысячи должностных мест, предлагаемых цивилизацией, ни одно, как я думал, не предназначалось для меня. Скорее меня прельстило бы какое-нибудь из самых простых занятий — труд рыбака, охотника или дровосека. Да только услышав, что лесничие нынче превратились в эдаких счетоводов, работающих больше перьевой ручкой, чем ружьем, а рыбаки пользуются моторными лодками, я решил, что и это мне будет в тягость. В этом смысле у меня не было ни малейшего честолюбия, и разговоры о выборе будущей профессии, какие родители обычно ведут с подрастающими сыновьями, занимали меня так мало, как если бы в ближайшее время мне грозил приговор к каторжной тюрьме.

Отвращение ко всему полезному сгущалось день ото дня. Читать и мечтать было противоядием — но области, в которых я мог бы *действовать*, казались недостижимо далекими. В тех местах, как я представлял себе, существует сообщество отважных мужчин, символ которого — бивачный костер, стихия пламени. Ради того, чтобы быть принятым в это сообщество или хотя бы познакомиться с одним из его достойных всяческого уважения членов, я бы охотно отказался от любых почестей, каких можно добиться в пределах или за пределами четырех традиционных факультетов[1].

Я справедливо полагал, что подлинных *сынов жизни* можно встретить, лишь повернувшись спиной к ее узаконенным порядкам. Конечно, мои примеры для подражания формировались по меркам шестнадцатилетнего юноши, еще не понимающего разницы между героем и авантюристом и читающего плохие книги. И все-таки мне хватало здравомыслия, чтобы искать нечто *чрезвычайное* — за пределами той сферы социальных отношений и нравственных понятий, которая меня окружала. Потому я и не хотел, в отличие от многих своих ровесников, стать изобретателем, революционером, солдатом или каким-нибудь благодетелем человечества: меня больше привлекали зоны, в которых борьба природных — управляющих жизнью — сил являет себя в чистом виде, вне связи с конкретными целями.

Мне представлялось, что, по крайней мере, одна такая зона действительно существует: в тропическом мире — многокрасочном поясе, расположившемся между голубыми ледовыми шапками полюсов.

1. Со времени Средневековья большинство европейских университетов имело по четыре традиционных факультета: философии, теологии, юриспруденции и медицины.

2

Я поставил себе ультиматум, срок которого истекал через неделю после начала школьных занятий. Средство, выдуманное мною, чтобы решительно вывести себя из равновесия, было неплохим: для осуществления своих великих планов я решил использовать деньги на обучение, с которыми после осенних каникул вернулся в маленький город, в школу.

Хотя такое применение денег казалось мне несравненно более осмысленным, чем та цель, для которой они предназначались, я долго медлил с этим серьезным шагом. Ибо хорошо понимал, что, присвоив деньги, я безвозвратно шагну на тропу войны и что этой суммой могу распоряжаться, только рассматривая ее как контрибуцию, наложенную на явного врага. На войне, как известно, позволено все.

Лишь незадолго до истечения срока, в сырой и туманный осенний вечер, я, дрожа от робости, вошел в лавку старьевщика, чтобы купить шестизарядный револьвер и патроны к нему. Револьвер стоил двенадцать марок — сумма, которую я ни при каких обстоятельствах не мог бы возместить. Я покинул магазинчик с чувством триумфа, потом сразу же отправился к книготорговцу и приобрел толстую книгу "Тайны черного континента", которую считал необходимой. Она поместилась в большой рюкзак, который я тоже купил.

После этих покупок я не без удовлетворения почувствовал, что земля у меня под ногами уже начинает гореть. Я вернулся к себе на квартиру, чтобы упаковать обувь, белье и все прочее, что мне казалось необходимым для долгого путешествия.

Уже стоя в полном снаряжении на пороге, я подумал, что моя маленькая комната никогда не представлялась мне такой уютной, как сегодня. Впервые с прошлой зимы в печи горел огонь, постель была призывно расстелена. Даже в школьных учебниках, стоящих на источенной червями полке над комодом, в изрядно потрепанной грамматике Плеца для старших классов и в толстом латинском словаре Георге обнаружилась притягательная сила: своего рода колдовские чары, развеять которые оказалось непросто. Мне вдруг подумалось, что глупо бросить все это на произвол судьбы, променять на неопределенное будущее, в котором уж точно добрая фрау Крюгер не будет по утрам застилать мою постель, а по вечерам приносить в комнату зажженную лампу. Я вдруг понял, что в чужбине есть что-то леденящее... Но это последнее прозрение пришло ко мне не изнутри, а *снаружи*. Ибо я уже ступил за пределы домашнего мирка и теперь чувствовал, что *время раздумий кон-*

чилось, что я обрел независимость и, значит, могу действовать в прежде совершенно не свойственном мне духе...

Стояла ненастная погода, когда я начал свое странствие; в такую погоду лучше лежать в теплой комнате на софе, подогнув колени, и читать, как я привык — предварительно разместив на придвинутом стуле чайничек с заваренным чаем и короткую раскуренную трубку. Ветер и дождь полными пригоршнями бросали зубчатую листву платанов на каменные плиты ведущей к вокзалу аллеи. Газовые фонари отражались во влажной черноте дороги, похожей на мозаичный фриз с изображением желтых листьев. Я накинул поверх рюкзака просторный дождевик, а красную ученическую фуражку — в ознаменование только что обретенной свободы — сменил на шляпу. В окошке кассы я приобрел билет до ближайшего крупного города, давшего этой провинции свое имя.

Мне посчастливилось: поезд уже стоял под парами. Я двигался наугад, поскольку не мог расшифровать загадочные значки железнодорожного справочника и разобраться в вывешенных в залах ожидания таблицах. А понимал только, что Кёльн, Трир и Мец — это где-то недалеко от западной границы, ведь запас моих географических познаний был невелик, и совсем близко для меня начинались неведомые сказочные страны, какими они изображаются на древних географических картах.

Я хотел добраться до Вердена, поскольку читал в газете, что бургомистр одного немецкого городка вступил там в Иностранный легион. Этот случай вызвал большой общественный резонанс, и я вырезáл из газет заметки о нем — что было, пожалуй, единственным делом, существенно связанным с моим планом. То же, что сам я называл *подготовкой*, относилось совершенно к другому: к тому загадочному, мучительному глубинному замешательству, которое внезапно, как водоворот, захватило меня; и к его толкованию — как призыва, пришедшего издалека.

Я сел в вагон четвертого класса, переполненный крестьянами из долины Везера, мелкими коммерсантами и рыночными торговками с огромными корзинами на коленях. И когда поезд тронулся, почувствовал, что теперь нахожусь в новой ситуации — как разведчик во вражеском стане, которому не с кем перекинуться словом. Я был доволен собой, потому что раньше вряд ли бы всерьез поверил, что дело зайдет так далеко. Я только немного боялся, что во мне проснется желание вернуться, и дал себе обещание противиться такому желанию, что бы ни случилось. Перестук колес придавал мне мужества, и я в такт покачиванию вагона бормотал себе под нос короткие фразы, например: “Возврат исключен!”

Вагонное сообщество тоже оказалось для меня новым; люди, не обращая на меня внимания, оживленно беседовали и узнавали от выходящих и садящихся пассажиров разные новости. Иногда в вагоне появлялись странные персонажи: устраивали маленькие, запрещенные здесь представления и, собрав в шляпу деньги, снова исчезали на следующей станции. Например, тощий малый, который, зазывно и красочно воспев чудеса своего искусства, извлек из трости тонкую шпагу и несколько раз по рукоятку засунул ее себе в рот. Общительный толстяк, бывший немного в подпитии и зычным голосом исполнивший на публику несколько песен вроде "Как-то в полночь студент воротился" и "Любви священный алтарь", тоже проехал один перегон. Так что я, зажатый в углу, решил, что путешествие начинается интересно, и два часа до большого города пролетели быстро.

На главном вокзале я спросил плацкарту до Трира, чувствуя себя так, будто совершаю что-то очень курьезное: требую, скажем, билет до Амазонки. Однако мужчина в окошке кассы к моей тайной радости совершенно равнодушно принял деньги и так же равнодушно ответил на мой вопрос о времени отправления. Ближайший поезд уходил только ночью, и я сдал рюкзак в камеру хранения, чтобы пойти в город. По-прежнему лил дождь, но я какое-то время бесцельно кружил по улицам. Это было продиктовано желанием оставаться в движении и как-то убить время, внезапное изобилие которого меня тяготило.

Однако вскоре на меня подействовала та сила притяжения, посредством которой любой большой город подчиняет себе бездомного, чтобы привести его в совершенно определенные точки. Я следовал за еще оживленным людским потоком до главной улицы, пока меня не всосала одна из тех крытых торговых галерей, которые называются *пассажами* и где в любой час наталкиваешься на фланеров, чья единственная задача — слоняться, разглядывая витрины.

Здесь я почувствовал себя более защищенным, более сопричастным окружающему — еще прежде, в поезде, я смутно ощутил, что для человека, ищущего приключений, нет пустого пространства, что он быстро вступает в контакт с неизвестными силами. Только из-за того, что он изменил способ передвижения, ему открывается новый аспект жизни, связанный с праздностью, преступлением, бродяжничеством: с той широкой и вездесущей социальной прослойкой, которая маркирует для бюргеров границу дозволенного, но в то же время стремится установить с ними союзнические отношения.

Это место, где улица обретала что-то от подозрительной гостеприимности освещенной красным светом прихожей, а

магазины напоминали ярмарочные балаганы, показалось мне вполне подходящим для человека, находящегося в бегах и иногда украдкой засовывающего руку в карман брюк, чтобы погладить шероховатую рукоятку шестизарядного револьвера.

Некоторое время я изучал сомнительные почтовые открытки, в огромных количествах развешенные за стеклами витрин. Затем меня привлекла грубо намалеванная вывеска кабинета восковых фигур. Стесняясь своего любопытства, я бродил по лабиринту помещений среди неподвижных образов своих современников, стяжавших добрую или дурную славу, — разнообразных примеров того или другого способа покинуть наезженный тракт заурядной жизни. Перед последней комнатой за вход взималась особая плата: там под стеклянными колпаками, освещенными электрическим светом, было выставлено собрание анатомических экспонатов. Восковые части человеческих тел со следами неслыханных болезней, изображенные в сине-красно-зеленой гамме. Возле особенно ужасных я со страхом и удовлетворением думал: "Такие наверняка встречаются только в тропиках!"

Напротив кабинета восковых фигур, на противоположной стороне пассажа, располагался ярко освещенный ресторан. Войдя в него, я увидел, что обслуживание там происходит автоматически. Самые разные блюда, поражающие глаз своей пестротой, стояли на выбор на круглых подносах либо в маленьких подъемниках, и требовалось лишь опустить монету, чтобы блюдо — с жужжащим звуком часового механизма — было тебе подано. Таким же манером, стоило опустить монетку, из крана в подставленный стакан наливался любой напиток, какой только пожелаешь. Для человека, который, обслуженный незримыми силами, уже наелся и напился, наготове стояли другие аппараты, демонстрирующие пестрые картинки или наполняющие ушные раковины короткими музыкальными пьесами. Не забыто было даже обоняние, ибо через крошечные сопла хитроумных распылителей каждый мог опрыскать себе костюм одной из благоухающих жидкостей с экзотическими названиями.

Такое призрачное обслуживание показалось мне чрезвычайно удобным и будто созданным для человека, у которого есть убедительные причины не привлекать к себе внимание. Я принялся, как фокусник, доставать различные салаты и бутерброды и пил гораздо больше, чем в самом деле хотел: потому что напитки с диковинными названиями возбуждали мое любопытство. Я и картинки смотрел: они откидывались одна за другой, если покрутить ручку, и были

снабжены подписями вроде "Посещение тещи" или "Несостоявшаяся брачная ночь". Потом я еще прослушал несколько музыкальных пьес и привел в действие пульверизаторы с одеколоном.

Эти развлечения доставили мне удовольствие, хотя в них было нечто зловещее, как и во всяком соприкосновении с миром автоматов. Но я тогда не понимал, что именно в таких местах полицейским сподручней всего ловить рыбку в мутной воде.

На вокзал я вернулся чуть ли не в последний момент. Поезд уже ждал на безлюдной платформе, залитой белым светом электрических дуговых ламп. Почти все вагоны стояли пустыми. Я растянулся на сиденье, положил под голову рюкзак и накрылся дождевиком. Ложе было жестким и непривычным, но меня от продегустированных ликеров обуяла сонливость, так что я крепко заснул еще до начала поездки.

Среди ночи я проснулся. Железнодорожник с маленькой лампой потряс меня за плечо и спросил, куда я еду. Он смотрел на меня недоверчиво, потому что мне пришлось достать проездной билет, прежде чем я смог ответить. Наконец он проворчал:

— Здесь конечная станция! Пересадка в пять утра!

Я подхватил рюкзак, выскочил из вагона и уселся в пустом зале ожидания. Теперь я ощущал скверную трезвость, а от ликеров во рту остался неприятный привкус. Мне снова пришла мысль вернуться в привычную жизнь, и я снова пробормотал, но на сей раз заметно слабее, свое заклятие: "Возврат исключен". Всплыли всякие тягостные соображения, какие обычно подкрадываются к нам в утренние часы, во время таких предприятий, — например, что в школе все-таки было не так уж скучно и неуютно.

Беспокоило меня и то, что мое ощущение времени странным образом изменилось. Мне казалось совершенно невероятным, что с момента побега не прошло и суток и что, останься я дома, я мог бы сейчас спать еще целых четыре часа, прежде чем меня разбудила бы фрау Крюгер. Как бы я ни подсчитывал, с несомненностью выходило, что в дороге я нахожусь не год, а всего лишь несколько часов. В этом несоответствии было что-то пугающее; оно больше, чем что-либо другое, убеждало меня, что я уже вступил в совершенно новые сферы.

Некомфортность моего положения еще больше усугублялась присутствием станционного чиновника, который время от времени проходил по залу ожидания, не удостаивая меня даже взглядом, и которого окутывала атмосфера уютной дело-

витости, смешанная с ароматом свежезаваренного кофе. Служебный мундир чиновника был аккуратно застегнут, а красивая трубка на изогнутом мундштуке, из которой он ухитрялся выманивать впечатляющие облака голубоватого дыма, свисала почти до самой груди.

Вид его отчасти наполнял меня завистью, отчасти же странным образом ободрял, как путника ободряет свет, горящий где-то очень далеко впереди.

3

Рано утром я прибыл в Трир. Здесь я закупил провиант: белый хлеб, масло, колбасу и бутылку вина. Приобретя еще в канцелярском магазине "Велосипедную карту дальних окрестностей Трира", я двинулся в поход по одной из дорог, ведущих на запад. Я понял, что до границы (которую я собирался перейти ночью, со всеми мерами предосторожности и, по возможности, на отрезке, где растет густой лес) путь не ближний. Этот переход представлялся мне самой трудной частью моего предприятия.

Шагая с холма на холм по осеннему ландшафту с редкими хуторами, я приободрился. Раскурил короткую трубку и предался приятным грезам.

Правда, эту трубку, своего неразлучного спутника, я всякий раз прятал, прежде чем пересечь очередную деревню, ибо был достаточно самокритичен, чтобы догадаться: она находится в комичном противоречии с моим обликом; а шутливый оклик больно задел бы чувство собственного достоинства, которым я дорожил, как испанец. На самом деле вкус табака мне не нравился и порой, в чем я не решался себе признаться, даже вызывал тошноту. Но хотя наслаждение, стало быть, существовало только в фантазии, курение создавало у меня ощущение уюта. Так, прежде чем подпасть под влияние книг об Африке, которыми я упивался, как Дон Кихот "Амадисом Гальским", я был усердным читателем историй о Шерлоке Холмсе. И никогда не мог прочитать предложение, в котором этот сыщик — уже в который раз — раскуривает короткую трубку, без того чтобы самому тотчас не сделать паузу и не покурить за компанию с ним.

Пока я шел, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать свои новые идеи. Я имею в виду прежде всего два совершенно разных представления, которые в то время очень меня увлекали; сегодня они кажутся мне довольно странными, и, поскольку мое мировидение изменилось, я лишь с трудом могу восстановить их хотя бы в общих чертах.

Первое из них заключалось в сильной склонности к *самовластию*, то есть в желании обустроить свою жизнь, начиная с самых основ, в соответствии с собственными понятиями. Чтобы добиться такой крайней свободы, мне казалось необходимым не допускать никакого нарушения моих интересов и в особенности — избегать любого учреждения, имеющего связь, пусть даже весьма отдаленную, с характерным для нашей цивилизации порядком.

Существовал целый ряд феноменов, которые я ненавидел. К ним относились: железная дорога, городские улицы, возделанная земля и вообще любой проложенный путь. Африка же, наоборот, была для меня воплощением дикой природы, лишенной железнодорожных и прочих путей, — то есть областью, где, вероятно, еще может произойти встреча с чем-то экстраординарным и неожиданным.

Такая антипатия к проложенным дорогам дополнялась другой, не менее сильной, — антипатией к *хозяйственному порядку* населенного мира. В этом смысле Африка была для меня блаженной землей, где человек не зависит от товаров и, в особенности, от денег. Там, думал я, люди живут по-другому: питаются тем, что день пошлет, занимаясь собирательством или захватывая добычу. Этот *естественный* способ существования казался мне предпочтительнее любого иного. Я давно заметил, что все "добытое" в таком смысле — скажем, выловленная в запретном водоеме рыба, миска с ягодами, собранными в лесу, или жареные грибы — воспринимается по-другому, чем прочая пища, кажется более значимым. Подобные продукты земля дарит *от своей избыточной силы* (когда эта сила не расчленена в результате проведения границ), и вкус у них более дикий, приправленный природной свободой.

Я был уверен, что устрою себе великолепную жизнь в тех дальних краях — тем более что рассчитывал на содействие солнца. В стране, которую изо дня в день заливает ослепительный, жаркий солнечный свет, нельзя быть печальным или недовольным, думалось мне.

Я уже знал, на что употреблю эту новую свободу. Сперва мне предстоит опасное приключение, которое — судя по всему, что я слышал и читал, — не заставит себя ждать. Я очертил круг возможных приключений весьма широко и причислил к ним даже голод. Разве в тех краях со мной может случиться хоть что-то, что не было бы приключением? Без развлечений, значит, я не останусь...

Еще я намеревался радовать себя наблюдениями. Я ведь стремился в край, где все *значительнее*, чем здесь. Цветы там наверняка крупнее, их краски ярче, а запахи — более пряные.

Но мне казалось, что люди, имевшие счастье побывать в тех местах, о таких вещах умалчивают. Когда слышишь, например, что человек поймал рыбу, хотелось бы увидеть эту рыбу во всех деталях — вплоть до каждой эмалевой чешуйки, до каждой цветной крапины. Хотелось бы поранить пальцы о колючки на ее голове и крепко обхватить ладонями ее тело, чтобы почувствовать, насколько гладкая и влажная у нее кожа, насколько сильны и эластичны мышцы. Я решил, что не буду оставлять это без внимания, и дал себе зарок: всякий раз, когда предо мной предстанет какая-нибудь странная картина, замереть хотя бы на секунду и постараться ее запомнить — как бы скверно ни складывались в данный момент мои обстоятельства.

Когда я думал о тамошних ягодах и плодах, которые могли бы соответствовать нашим, в голове у меня мелькнула мысль: что лучше сразу по прибытии обособиться и отправиться вдоль дикого побережья. Там можно жить, питаясь моллюсками, которые в изобилии водятся на любом морском берегу. Так в рамках прежнего плана бегства уже тогда начал вырисовываться план *бегства второго порядка.*

Меня занимал и другой вопрос: смогу ли я найти себе товарища. Я полагал, что мне будет нелегко найти спутника: ведь любой человек в возрасте двадцати лет казался мне уже старым и, по сути, неспособным к настоящим переживаниям. Я всегда был склонен предполагать в других людях недостаток участия и равнодушие к волновавшим меня вещам, а главное — ироничное сознание собственного превосходства, которого боялся, как жгучей крапивы. Уже по одной этой причине я так старался скрыть свои приготовления к бегству, хорошо понимая, что любой другой человек усмотрит в них что-то смешное. Именно этого я опасался: мысль, что на границе в меня, возможно, будут стрелять, даже доставляла мне удовольствие; гораздо хуже было бы, если бы меня *буднично* задержал и сдал властям какой-нибудь мирный таможенник.

И все-таки я ощущал потребность разделить свою тайну с кем-то, потребность иногда доверяться сильному и проницательному уму, безошибочно угадывающему тайные корни наших планов и действий. Это подводит меня ко *второму* из двух представлений, которые я упоминал: оно выражалось в том, что я действительно верил в существование незримого собеседника. Я бы охотно утаил это обстоятельство от скептически настроенного образованного читателя XX века, да только рассказать о нем надо — и для полноты картины, и чтобы не нарушилась логика повествования. Предыстория

этого представления относится к раннему детству — к тому времени, когда мой внутренний горизонт еще не начал сужаться в результате овладения навыками чтения и письма.

Поэтому прежде чем мы продолжим мысленное странствие к западной границе, мне придется сделать краткое ретроспективное отступление.

4

Я лежал в своей маленькой комнате, почти полностью заполненной кроватью и двумя большими шкафами, и еще не спал. К нам в гости пришла бабушка, она сидела с мамой в соседней комнате, дверь которой была отворена. Я видел через широкую щель тусклый луч света, падающий от лампы под красным шелковым абажуром, и слышал разговор двух женщин, касавшийся всевозможных хозяйских забот.

Внезапно меня отвлек посторонний шум: едва различимая, медленная и приглушенная барабанная дробь, которая, несомненно, не доносилась из соседней комнаты, а звучала где-то рядом с моей кроватью. Конечно, слово "внезапно" тут не вполне подходит, поскольку шум сначала был очень слабым, как если бы на кожу барабана падали песчинки, однако сила ударов медленно и неуклонно возрастала. Во всяком случае, я нисколько не испугался; звуки походили на увертюру, которая должна перенастроить чувства слушателя, подготовить его к особенному событию.

Я осторожно приподнялся на локте, разговор же в соседней комнате продолжался. Теперь мне стало ясно происхождение странных звуков: они исходили от человека, сидевшего на стуле, который, как обычно, стоял возле моей кровати; и я с удивлением увидел, что человек этот держит в руках большую, расписанную китайскими иероглифами жестянку из-под чая, по крышке которой постукивает костяшками пальцев. Сама жестянка была мне хорошо знакома: мой отец купил ее у солдата, вернувшегося из похода в Китай, а солдату она досталась во время пожара императорского дворца. Жестянка давно опустела, но хранилась — среди прочих вещей на шкафу — как память о несравненном чае, аромат которого в ней еще сохранялся.

Посетитель был крупным, средних лет человеком с неуклюжим телосложением. Его уродливое лицо напоминало свеклу или репу, из которой ребенок пытался грубым ножом что-то вырезать. Тем не менее черты лица не производили отталкивающего впечатления: этому мешало запечатленное в них выражение добродушной меланхолии. В более поздние

годы я порой вспоминал это лицо, когда в старых роскошных книжных изданиях рассматривал офорты Тони Жоанно[1].

Едва увидев этого неожиданного гостя, одетого в серый, невзрачный и грубо скроенный костюм, я ощутил сильное чувство собственного превосходства. Такое зазнайство может охватить городского малыша, который во время летнего пребывания на даче совершает разведывательный рейд по амбарам и конюшням усадьбы и вдруг наталкивается на старого слугу, с которым вступает в беседу. Впрочем, мой посетитель, казалось, вовсе не оскорбился тем, что в оживленном разговоре, сразу завязавшемся между нами, я совершенно откровенно пытался над ним посмеяться; напротив, добродушное выражение на его лице проступало все отчетливее, и он следил за моими шутками, как крестьянин, который смотрит на резвящегося жеребенка. В тот день я впервые в жизни столкнулся с ситуацией, когда я превосхожу интеллектом другого человека — по сути, более сильного духом, чем я, — но он этому только рад; такое отношение всегда меня трогало.

Наш разговор, несомненно, был примечательным, и я сожалею, что не могу его воспроизвести, хотя таинственный посетитель отчетливо сохранился у меня в памяти. Беседа велась так, что я шептал, а он бормотал; ее содержание, скорее всего, показалось бы вам малозначащим, поскольку она вращалась главным образом вокруг *домашней утвари.* Мы беседовали о предметах, находящихся на полу, в погребе и на кухне, — короче, обо всем, что относится к замкнутому мирку домашнего хозяйства.

Все эти вещи я, разумеется, хорошо знал, а вскоре заметил, что и незнакомец досконально о них осведомлен. Комизм разговора заключался в том, что гость воспринимал эти вещи весьма необычно, наделял их особыми, малоподходящими качествами и говорил о них так, будто каждая из них живет самостоятельной жизнью, тогда как я поправлял его и объяснял ему их истинное предназначение.

Такая игра чрезвычайно меня забавляла, и я всякий раз с нетерпением ждал момента, когда мог сказать, например: "Кухонное ведро предназначено лишь для мытья посуды" или "Нет, дедушкин стул здесь для сидения". Каждая моя реплика заставляла незнакомца улыбнуться, как будто я предлагал ему неожиданное решение заданного в шутку вопроса. Тем не менее мне не удавалось его переубедить: выслушав мой ответ, он сразу переходил к какому-то другому предмету обихода...

1. Тони Жоанно (1803–1852) — французский художник, книжный иллюстратор.

Очень жаль, что как раз самая важная часть нашего разговора — объяснения незнакомца, которые без сомнения были странными, — совершенно выпала у меня из памяти. Ведь и в сновидениях есть слой, который быстро тускнеет. Общее представление о том, что он говорил, можно получить, вспомнив гигантские ландшафты преисподней, которыми Иероним Босх создал новую школу в живописи и на которых против человека ополчается чудовищный арсенал озлобившихся рабочих инструментов. Однако разница заключается в том, что незнакомец давал предметам вполне добродушное объяснение: он просто приписывал им какое-то неуклюжесонное бытие. И старался ввести меня *в их круг* — словно в каморку старого слуги, о котором мы однажды с изумлением узнаем, что и у него есть какая-то приватная жизнь.

Наряду с множеством других вещей мы обсудили устройство кладовой и поговорили о двух курочках, которые дожидались там момента, когда попадут в кастрюлю. Я уже заранее предвкушал это пиршество, и тем более меня огорчило, что незнакомец назвал их плохими и несъедобными. Пока мы препирались по этому поводу, я, не дождавшись конца беседы, заснул.

На следующее утро я уже позабыл посетителя, и не воспоминание о нем, а всего лишь детская жадность побудила меня, как только я вошел в кухню, спросить у нашей кухарки о курочках. Тем более я был озадачен, услышав, что за ночь они протухли и что еще на заре их выкинули. Я действительно обнаружил их, уже наполовину засыпанных мусором, в ведерке для золы, и это зрелище вызвало у меня неприятное ощущение. Я тотчас и во всех подробностях вспомнил о незнакомце, предсказание которого, выходит, сбылось, — и лишь теперь почувствовал тревогу. Я тихонько выскользнул из кухни и сделал усилие, пытаясь проглотить застрявший в горле ком. Предчувствие подсказывало, что о случившемся не следует говорить взрослым; более того, воспоминание о нем лучше искоренить даже в самом себе — да так, чтобы и следа не осталось.

Моя добрая матушка, которой я лишь гораздо позже рассказал об этом, заметила, что я, наверное, в полусне услышал, как она с бабушкой говорила о курочках, и такое объяснение кажется мне — если иметь в виду живость детского воображения — вполне убедительным.

Необычной остается, однако, *сила воображаемого*, которая движет нами в не меньшей степени, чем сила осязаемой реальности. В данном случае она выразилась в том, что *серый гость* являлся мне еще много раз, на протяжении длительно-

го времени; и скоро я с ним вполне освоился. Впрочем, он больше никогда не представлялся мне так отчетливо.

Отныне я встречал его преимущественно в *первом сне* и притом всегда в одном и том же месте: в старом просторном здании, отчасти напоминающем замок, отчасти — развалины мельницы. Некоторые помещения этого здания еще были обставлены мебелью, другие почти сплошь состояли из сгнившей древесины: например, крытый двускатной кровлей ход по верху стены, которым я часто пользовался и который был сооружен из влажных позеленевших балок, какие можно увидеть в мельничных ручьях. Иногда я обнаруживал себя уже внутри этой запутанной постройки, иногда я только шагал к ней по мрачному еловому лесу. Едва я достигал ворот, ко мне присоединялся сопровождающий: он оставался рядом все время, пока я — обычно скучая, но часто и пугаясь чего-то — блуждал по лабиринту комнат и коридоров.

После таких снов я просыпался с неприятным чувством и долго, не двигаясь, лежал в темноте, стараясь представить себе это старое здание и снова построить его в своем воображении. Но, как ни удивительно, его формы и контуры тем больше расплывались, чем старательнее я пытался уяснить их себе.

У меня было чувство, что, если бы мне это удалось, появилась бы и разгадка загадочных сновидений, я бы понял их значение для действительности. Однако при каждой новой попытке помещения, казалось, меняли очертания — подобно архитектуре еще текучего и туманного мира, находящегося в процессе становления, — или открывались мне в других частях, и лишь смутное воспоминание подсказывало, что раньше я уже здесь бывал. А временами я думал, будто нахожусь в совершенно другом месте — например, в школе, в чужом городе, куда приехал по делам, или в деревне, — пока какой-нибудь тайный знак не давал мне понять, что я по-прежнему в старом замке.

Этот сон повторялся долгие годы: часто он почти полностью тускнел, но потом снова усиливался до ослепительной четкости. С течением времени образ моего спутника становился все более похожим на тень. Но я еще распознал его, когда в последний раз оказался в заброшенном замке. Этот последний раз отличался от всех прочих тем, что тогда мне удалось покинуть здание, чего прежде никогда не случалось.

Я вошел в еловый лес, деревья в нем были огромной высоты и стояли на большом удалении друг от друга. Каждое распространяло вокруг себя колдовские чары. Будто какая-то незримая сила влила в меня жизненную энергию, я прибавил шагу. Если в

старом замке мне приходилось расшифровывать смутные очертания вещей, словно окутанных зеленоватым туманом, то здесь они вырисовывались очень отчетливо: взгляд мой пронизывал неподвижно покоящееся безвоздушное пространство. Вскоре я заметил, что обладаю теперь сознанием более высокого уровня. Я мог не только разглядеть каждую веточку, каждую деталь шероховатой коры, как если бы смотрел на них в бинокль, но и членение пространства — в общих чертах — было мне понятно, словно я его видел на топографической карте.

То есть я не только видел ландшафт с поверхности, по которой шагал, но и с высоты птичьего полета *наблюдал самого себя внутри этого ландшафта*, протяженность которого была огромной и, казалось, покрывала всю Землю. И вот с большого расстояния — с расстояния во много лет — я увидел другое существо, которое шагало мне навстречу по вымершим, поросшим бело-зелеными лишайниками лесам; я увидел наш путь, будто определенный магнитной стрелкой. В это мгновение я услышал громко прозвучавшее имя: Доротея; только я не услышал его как слово, а *догадался о нем* по четырехтактному звуку, похожему на перезвон двух золотых и двух серебряных колокольчиков.

Я проснулся с необыкновенно радостным чувством. В этом возрасте порой испытываешь особое опьянение, как будто хмель разлит в самом воздухе...

По мере того как первый мой собеседник уходил все дальше в сновидческие глубины, Доротея все отчетливее из них выступала. Черты ее облика, правда, оставались неопределенными, но это лишь усиливало их притягательность. От нее веяло покоряющей молодостью и лесной свежестью, и мне казалось, будто в ее присутствии я слышу легкий треск — так потрескивает кусок янтаря. В отличие от неуклюжего кобольда она блистала умом. Я испытывал к ней безусловное доверие. Все выглядело так, будто во время опасного странствия тебя сопровождает товарищ, вселяющий такое чувство уверенности, что об опасности можно совершенно забыть...

Мало-помалу я добивался все более тесного сближения двух моих жизненных сфер: мысли постепенно втягивали материю сновидений в действительность. Но сейчас, когда я хочу рассказать об этом, я чувствую, что блуждаю в потемках, как если бы попытался точно описать Черного человека[1], каким я его представлял себе в трехлетнем возрасте.

1. Персонаж детского фольклора в немецкоязычных странах: тень, или трубочист, или человек с темной кожей.

Припоминаются все больше разрозненные подробности: например, как в четырнадцать лет я начал со страстью охотиться за бабочками. Тогда же нередко случалось, что я замечал новую для меня форму соцветия, цветочной кисти или зонтичного растения, — и каждый раз бывал поражен и глубоко обрадован, столкнувшись с воплощением творческого замысла неведомой мне, но бесконечно изобретательной силы. В такие мгновения я чувствовал, что Доротея где-то совсем рядом, и медлил несколько драгоценных секунд, прежде чем схватить добычу.

Бабочки, таким образом, играли роль талисмана. Но не только они; меня притягивала красота вообще, в какие бы формы и предметы она ни облекалась. То же можно сказать и о духовной соразмерности: прочитав или услышав удачно сформулированную мысль или попадающее в самую точку сравнение, я часто чувствовал, будто к моему виску прикоснулась чья-то рука... Более того, я привык воспринимать свое телесное самоощущение как мерило, и случалось, что настоящее понимание вспыхивало во мне после того, как я испытывал сильное изумление. Эта способность у меня сохранилась; позднее, когда я начал работать, она помогала мне ориентироваться в библиотеках и галереях — точно в лесах, где ищешь грибы; а также во время разговора *брать собеседника на мушку* — как зверя, вдруг выглянувшего из зарослей слов и мнений.

Такие короткие, молниеносные прикосновения были, однако, не единственным, что связывало меня с Доротеей. Я чувствовал ее близость и в тех случаях, когда — как здесь, на проселочной дороге, — впадал в сомнение. Если я, как теперь, принимал решение просто двигаться дальше, я знал, что Доротея меня понимает, и чувствовал ее согласие как электрическую искру, проскочившую между нами, или как звуковой сигнал, звучащий вдалеке.

Следовательно, меня — тогдашнего — неверно было бы назвать *человеком без средств*, ибо Доротея оставалась моим достоянием. Ее сновидческий образ, как оказалось впоследствии, был даже более ценным, чем я предполагал.

Однако вернемся к действительности.

5

Размышляя о таких вещах, я незаметно для себя отмахал изрядный отрезок дороги. А зарядивший после полудня мелкий, как пыль, дождик не портил мне настроения, поскольку только усиливал приятное ощущение одиночества. Вообще я любил гулять в проливной дождь. Мне это и по сей день нра-

вится, как одна из немногих в наших широтах возможностей без помех предаться под открытым небом своим мыслям. Когда, закутавшись в непромокаемый плащ, ты в непогоду бредешь по лесу, ты, даже находясь поблизости от большого города, остаешься недосягаемым, как ныряльщик на морском дне.

Снова почувствовав голод, я, чтобы сделать привал, свернул к руслу ручья, теряющегося в лесной чаще. Под тесно сгрудившимися соснами земля еще оставалась сухой; здесь я расстелил плащ и насобирал шишек для первого походного костра.

Хлеб уже размяк от сырости; я принялся за колбасу и вино. После трапезы я решил проверить, хорошо ли вооружен, и заодно потренироваться в стрельбе, чтобы обновить револьвер. Я выбрал мишенью ствол маленькой сосенки и с удовлетворением смотрел, как после выстрелов отлетают кусочки красной коры и из царапин каплями проступает смола.

А потом, когда, прислонившись к дереву и грея ноги, я наблюдал за огнем, жар которого постепенно иссякал под слоем белого пепла, мне пришло в голову устроить странную игру. Она заключалась в том, что я приставлял заряженный пистолет к груди и очень медленно нажимал на спусковой крючок. С напряженным вниманием я смотрел, как поднимается курок, пока он не оказывался в огневой позиции, — при этом давление в большом пальце уменьшалось, как у весов, нашедших равновесие. Во время этой игры я слышал, как ветер тихо-тихо шевелит ствол, возле которого я сидел. Чем дальше продвигался мой большой палец, тем громче шумели ветви, но когда я достигал решающей точки, воцарялась, как ни странно, полная тишина. Я бы никогда не подумал, что имеется такая тонкая и значимая градация осязательных ощущений. Повторив эту церемонию несколько раз, я убрал в рюкзак свой маленький музыкальный инструмент, из которого можно извлекать такую — отчасти зловещую, отчасти сладостную — мелодию.

Проверка оружия удовлетворила меня. Но хорошее настроение, к сожалению, сразу было испорчено нежданным открытием. Еще в первой половине дня я отметил карандашом путь, который собирался проделать; теперь же, развернув карту, чтобы убедиться в своих успехах, я обнаружил допущенную мною оплошность. По ту сторону границы — буквами, настолько далеко отстоящими друг от друга, что я их не заметил — было написано слово “Люксембург”. Я, значит, двигался вовсе не к французской границе, а к границе страны, о которой почти ничего не знал. Я решил изменить

план действий и добраться до Меца, чтобы там просто сесть в поезд, идущий через границу.

Перед тем как свернуть к ручью, я проходил мимо маленького полустанка; я вернулся туда и дождался ближайшего поезда. Оказалось, это узкоколейка местного значения, и мне пришлось еще дважды пересаживаться; названия остановок, объявляемые кондуктором, были для меня полной абракадаброй. Заходивший в вагон сельский люд переговаривался неизвестно на каком диалекте; от одежды крестьян исходили влажные, теплые испарения, повергавшие меня в состояние приятной сонливости. Лишь вечером поезд прибыл на большой и нарядный вокзал Меца.

В сиянии дуговых ламп я почувствовал себя неуютно; мне бросилось в глаза, что одежда моя не в порядке. Сапоги покрыты коркой грязи, костюм из-за сырости помялся, воротник намок. Я полагал, что и лицо у меня изменилось, поэтому пристальные взгляды прохожих приводили меня в смущение.

Хоть я и собирался вскоре оказаться в краях, где такие мелочи не играют никакой роли, меня, тем не менее, угнетало новое для меня ощущение *деклассированности*. Здесь я понял, что силу общественного порядка чувствуешь лишь тогда, когда сам из него исключен, и что ты гораздо больше, чем думал, зависим от вещей, на которые обычно не обращаешь внимания.

Впрочем, состояние мое еще не достигло той стадии, когда ничего уже не поправишь. Я нашел баню, размещавшуюся в недрах вокзала и напоминавшую античные катакомбы; и, пока я плескался в горячей воде, банщик привел мои вещи в надлежащий вид. Потом я сразу взял билет до Вердена на поезд, отходящий завтра в полдень, и отправился в город, чтобы подыскать себе ночлег.

Я долго ходил от одной маленькой гостиницы к другой, пока не нашел одну, довольно заброшенную, которая показалась мне подходящим убежищем. Человека, который скрывается, притягивают сомнительные места; это, между прочим, облегчает работу полиции. Комната, где мне предстояло провести ночь, выглядела как разбойничий притон, а кельнер, который ее отпер, вел себя с неприятной, характерной для злоумышленников, фамильярностью.

Несмотря на сильную усталость, я вышел из дому и, блуждая по узким извилистым улочкам, скоро погрузился в то настроение, какое порой охватывает нас в чужих городах. Деловитое оживление, не имеющее никакого отношения к нам, воспринимается как сцены китайского театра или картинки

волшебного фонаря. Так и я чувствовал смутное удовольствие при виде освещенных подъездов или зеркальных стекол кафе, и мне чудилось, что за ними скрываются *логова*, где происходит что-то тайное и диковинное. Люди, которыми кишели улицы, казались мне чужеродными существами, будто я наблюдал за ними в телескоп; в их суете была какая-то сновидческая легкость, как в кукольном спектакле. Такое впечатление возникает, когда ты непричастен к разворачивающейся вокруг повседневной жизни; у меня же оно еще больше усиливалось из-за тысяч солдат, которые сновали по улицам и площадям старого пограничного города. От этих облаченных в синие мундиры толп веяло как стихийной силой, так и игровым началом, что характерно для любого крупного скопления войск.

Я поздно вернулся в гостиничный номер и тотчас провалился в глубокий сон. Среди ночи я проснулся и в полудреме увидел, что помещение озарено ярким лунным светом. Как ни странно, дверь, которую я запер изнутри, теперь была слегка приоткрыта, и я заметил белую руку, которая медленно просовывалась в щель. Эта рука осторожно ухватила стул, на котором лежала моя одежда, и почти неслышно вытащила его наружу. Я приподнялся на локте, но, поскольку еще толком не очнулся от сна, не удивился происходящему, решив, что, наверное, коридорный собирается почистить мой костюм, — и тотчас снова соскользнул в сон.

Проснувшись поздним утром, я смутно вспомнил ночное происшествие. Теперь оно показалось мне несколько странным, и я подумал, что все это мне приснилось. Однако, одевшись, я с досадой и удивлением обнаружил, что у меня пропали серебряные часы, подаренные на конфирмацию. Недоставало также и мелких денег в брючном кармане; кошелек — правда, ненамеренно — я давеча спрятал в рюкзак, лежавший рядом с кроватью.

Задним числом я ощутил неприятное, леденящее чувство, как будто в номер ко мне ночью заползла какая-то тварь, — и торопливо спустился вниз, где кельнер встретил меня подозрительной улыбкой и вопросом, не хочу ли я позавтракать. Но я хотел только расплатиться, и, когда он давал мне сдачу с десяти марок, у меня появилось чувство, что нас безмолвно связывает общая низменная вина.

6

Чтобы впредь не возбуждать подозрений, я придумал себе роль молодого человека, отправляющегося во Францию, что-

бы овладеть французским языком. Когда идешь на такие уловки, важно прежде всего самому в них поверить. Поэтому я купил билет второго класса и решил, что хороший обед поможет мне обрести уверенность.

Исполнить задуманное было тем проще, что французская кухня имеет в Меце свои передовые посты. Вскоре я уже сидел на залитой осенним солнцем застекленной веранде неподалеку от вокзала перед бутылкой сотерна, капли которого застыли на бокале, будто масляные, и поглощал закуску, состоящую из дюжины виноградных улиток, которые на окружающих этот город холмах водятся в изобилии и получаются особенно вкусными.

Угощение было отменным, и после такой гастрономической подготовки к путешествию я ощутил себя достаточно хладнокровным, чтобы пересечь границу без заграничного паспорта. Человека делают человеком не только портные, но и повара, и после обильной трапезы он выходит на улицу с особым чувством уверенности в себе.

Купе было почти пустым: на диване сидели лишь пожилая дама в черном шелковом платье да молодой офицер, разглядывающий карту, покрытую красными и синими знаками. В своем приподнятом настроении я, пожалуй, переусердствовал с публичной демонстрацией этого нового самоощущения — когда запалил трубку и принялся бодро дымить. Я сразу же навлек на себя возмущенный взгляд пожилой дамы, которая открыла окно, с нарочитым усилием опустив стекло, тогда как офицера мое поведение, казалось, позабавило. На следующей станции дама вышла, а вскоре вышел и лейтенант; одновременно в вагон третьего класса сели несколько групп пехотинцев.

Поезд проехал еще немного и надолго остановился. Меня вдруг пронзила мысль, что здесь, вероятно, уже граница. Я подошел к окну, и первый же мой взгляд упал на двух одетых в зеленое жандармов, которые прохаживались вдоль вагона. От испуга я невольно отпрянул — это было моей ошибкой, ибо дверь тотчас отворилась и оба жандарма вошли в купе.

Один, с рыжей окладистой бородой, посмотрел на меня и страшным басом спросил:

— Ну, и куда же мы направляемся?

Очевидно, он удостоил меня таким обращением — в первом лице множественного числа, — потому что не решался сделать выбор между "ты" и "вы". Мой ответ, который я заблаговременно тщательно продумал, звучал так:

— Я еду в Верден, в семью наших знакомых, где собираюсь изучать французский язык.

Рыжебородый повернулся к товарищу — как мне показалось, более добродушному; тот кивнул и коротко буркнул:

— Такое бывает.

Эта философская сентенция, похоже, не вполне удовлетворила рыжебородого, ибо он, осмотревшись в купе, спросил:

— А что же у нас в рюкзаке?

И с этими словами приступил к досмотру моего единственного багажного места.

Такого поворота событий я, разумеется, не предусмотрел — и уже решил, что попытка бегства сорвалась, потому что вспомнил о заряженном боевыми патронами револьвере. Но мне повезло: первым, что попалось на глаза полицейскому, была толстенная книга об Африке, которая, кажется, произвела на него благоприятное впечатление уже одной своей тяжестью, — он взвесил ее на ладони и, не открывая, положил обратно в рюкзак. Наверное, он принял ее за французский словарь и обманулся внешней схожестью с ученым трудом, хотя в силу своей профессии должен был бы знать, что в каждом человеке скрыты резкие контрасты и что порой, исследовав его багаж до самого дна, можно наткнуться на совершенно нежданные вещи... Во всяком случае, вид книги, похоже, убедил его в моей порядочности, ибо он приложил руку к фуражке (чего не сделал, входя в вагон) и даже произнес на прощание:

— Желаю вам хорошей поездки.

Итак, в ходе нашего кратковременного знакомства я одержал победу: провозись он с моим рюкзаком чуть дольше, он с такой же естественностью — и, вероятно, с еще бóльшим удовольствием — перешел бы со мной на "ты". Как только жандармы удалились, поезд тронулся и граница осталась позади.

Эта маленькая интермедия, похоже, имела зрителя; по крайней мере, сразу после отправления в купе вошел кондуктор и передразнил жандарма, проведя руками по серой форменной блузе, как будто гладил окладистую бороду. От него я услыхал первые французские фразы и обрадовался, что понял их смысл. Меньше я обрадовался тому, что он обращается со мной так по-свойски. Я еще не имел представления о разнице между прихотями людей высокомерных и тех, что чувствуют себя униженными, однако уже понял, что, теряя авторитет, человек приобретает все более сомнительных союзников.

В Вердене я прямо на вокзале — из надписи на памятнике, которую кое-как расшифровал, — узнал, что нахожусь в старинном и знаменитом городе. Улицы здесь тоже были узки-

ми и охваченными поясом крепостных стен. Здесь тоже беззаботно фланировали тысячи солдат; все это походило на зеркальное отражение Меца, что подняло в моих глазах значимость воинских формирований, которые я видел по ту сторону границы. И мысль, что я самовольно пересек столь мощный заслон, приятно оттенила ощущение собственного одиночества.

Наученный горьким опытом прошлой ночи, я искал теперь гостиницу, заслуживающую доверия. Из дверей большого дома под вывеской "Cloche d'Or", то бишь "Золотой колокол", струился тот теплый свет, который обещает страннику благо. Я вошел, и пухлая хозяйка тотчас провела меня в комнату, где стояла громадная кровать с балдахином. Сменив белье, я спустился в маленький гостиничный ресторан, где за столиками сидели со своими девушками молодые солдаты в сине-красных мундирах.

Радуясь, что самая трудная часть побега осталась позади, я заказал большой, нежно подрумянившийся омлет, к нему графин красного вина — и выпил за свое здоровье. Вино пришлось мне по вкусу; я заметил, что делаю успехи в искусстве потребления алкогольных напитков, которое можно считать основанной на законах гравитации *астрономией человеческого организма.* Может, мне требовалась какая-то добавка: ведь человек, пускающийся в авантюру, должен заключать в себе нечто не менее весомое, чем тот мир, который он хочет завоевать...

Я решил провести эту ночь с бюргерским комфортом и стал готовиться ко сну. Правда, сперва меня неприятно удивило, что укрыться можно разве что пуховиком размером чуть больше подушки. Но потом я обнаружил, что имеется еще и шерстяное одеяло, края которого заботливо заправлены под матрас — чтобы, протиснувшись в узкую щель, гость оказался как бы в теплом кармане.

Сознавая, что никому на свете не придет в голову искать меня здесь, я заснул спокойно, как зверь в своей норе.

7

На следующее утро, выпив большую чашку кофе с молоком, я сразу отправился в город.

Я хотел навести справки об Иностранном легионе и подготовил несколько соответствующих французских фраз, но стоило мне попытаться их применить, как странное смущение лишало меня дара речи. Мне казалось, что горожан, занимающихся мирными делами, напугают мои вопросы, касающиеся совершенно чуждой для них сферы. Я останавливал

прохожих, однако всякий раз у меня возникало чувство, будто я собираюсь спросить, какая дорога ведет к Луне. Поэтому я ограничивался тем, что спрашивал о какой-нибудь улице, название которой всплывало у меня в голове, и получал любезное разъяснение. День пролетел незаметно, а когда зажглись газовые фонари, я вернулся в "Золотой колокол", как в надежное пристанище.

На другой день повторилось то же самое; я почувствовал, что попал в заколдованный круг. Я провел этот день, обходя казармы и общественные здания и рассматривая вывески, ибо мне представлялось, что должна же найтись такая, на которой написано: "Вступление в Иностранный легион". Но все поиски оставались тщетными. Снова начал моросить мелкий холодный дождь, накрыв крепость серой пеленой. Я впал в уныние и в конце концов пришел к странной мысли, что такого феномена, как Иностранный легион, вероятно, вообще не существует, что его выдумали газетные писаки.

Пухлая хозяйка уже окружила меня трогательной заботой. На мраморном камине рядом с тикающими под стеклянным колпаком часами стояла тарелка с черным виноградом и персиками. Я придумал, как приладить горящую лампу к столбику балдахина и, плотно задернув портьеры, лежал в постели словно в освещенной пещере. Защитившись таким манером от мира, я угощался фруктами, листал большую книгу об Африке и время от времени выкуривал трубку. Размышляя при этом о своем положении.

От денег на обучение оставалось пятьдесят марок — этого мне хватило бы еще на несколько дней скитаний. Но я почувствовал, что обладание наличностью мешает моей свободе и решил завтра же, прямо с утра, от денег избавиться — как отталкивают от себя доску, чтобы научиться плавать. Также я дал себе слово, что остановлю первого встречного полицейского, и потренировался в произнесении нужных фраз.

Оплатив поутру скромный счет и выслушав от хозяйки пожелание счастливого пути, я со свежими силами выступил в поход. Я намеревался взяться за дело безотлагательно.

Ноги сами привели меня к крытому рынку, где уже с утра шла бойкая торговля, о чем я догадался по слышным издали выкрикам. Перед цветочными киосками, блиставшими всеми красками поздней осени, я притормозил. По водосточному желобу тек мутный ручеек, унося с собой головки увядших цветов. Ручеек впадал в канализационную трубу, закрытую железной решеткой. Здесь я остановился и вытащил из кармана пакетик, приготовленный мною в "Золотом колоколе". Он представлял собой завернутые в двадцатимарковую банк-

ноту золотую монету в десять франков и несколько более мелких монет — и был таким тонким, что я без труда протолкнул его между прутьями решетки.

После того как сей жертвенный дар исчез в грязных сточных водах, я выпрямился, и первый же мой взгляд упал на упитанного полицейского, который, словно приветливый страж, стоял среди пестрого скопища астр и далий. На нем была красная, шитая золотом фуражка и короткий черный плащ, небрежно накинутый на плечи.

Это был зримый знак судьбы. Решив при любых обстоятельствах довести дело до конца, я без колебаний направился к полицейскому.

— Прошу прощения, сударь!

Он обернулся с любезным видом, и это дало мне мужество продолжать, хотя я тотчас почувствовал, что начал заикаться:

— Я... Я хотел бы... Я приехал сюда после школы...

— Ах, это очень хорошо. И вы хотите, конечно, спросить меня о коллеже?

— Нет, но я хотел бы получить у вас информацию, где тут можно вступить в Иностранный легион!

Я постарался произнести эту фразу как можно более равнодушным тоном — примерно так, как человек просит прикурить; тем не менее она произвела ошеломляющее воздействие. Недоверие, испуг и затем добродушное сожаление отразились на лице полицейского, который долго молча смотрел на меня, словно впал в ступор. Потом он украдкой огляделся по сторонам и за рукав потянул меня в угол, образованный двумя ларьками.

— Послушайте! — очень настойчиво прошептал он и после короткой паузы продолжил:

— Не вздумайте туда идти! Это место для грабителей и бродяг. А кроме того, вы еще слишком молоды; среди раскаленных песков вы сдохнете, как собака. Садитесь прямо сейчас на поезд и возвращайтесь к родителям.

Именно таких увещеваний я и боялся. Тем не менее я обрадовался, что нашел наконец хоть какую-то зацепку, и время от времени пытался прервать заклинания странного ангела-хранителя, повторяя:

— Нет-нет, я хочу в Иностранный легион.

— Да, но разве вы не знаете, что там с вами будут обходиться грубо и что за жалкие несколько су в день к вам будут придираться по любому поводу?

— Меня это не беспокоит. Я отправляюсь туда, потому что здесь мне противно.

С некоторым облегчением я заметил, что наш разговор, уже привлекший внимание рыночных торговок, мало-помалу приводит полицейского в ярость. Еще раз испытующе взглянув на меня, он произнес изменившимся тоном:

— Ну, ладно. Как хотите. Я провожу вас к рекрутской конторе.

И, не проронив больше ни слова, начал подниматься на гору, которая возвышается в центре города и которую уже не одно столетие венчает полуразрушенная цитадель. Рекрутская контора располагалась в неприметном здании, перед воротами которого прохаживались несколько праздных солдат и мимо которого я в последние два дня проходил, не обращая на него внимания, уже раз десять.

Мы вошли, полицейский велел мне подождать в коридоре, а сам с непроницаемым выражением лица исчез за одной из дверей. Я воспользовался его отсутствием, чтобы выглянуть в маленькое окно, из которого открывался вид на мощную, испещренную амбразурами стену цитадели.

Коротая так время, я обратил внимание, что оконные рамы сплошь исписаны именами. Надписи были однообразны: "Генрих Мюллер, Эссен, легионер. Август Шумахер, Бремен, легионер. Йозеф Шмитт, Кёльн, легионер". Иногда имя сопровождалось коротким сообщением, например:

"Мне все осточертело, я иду в легион", или:

"После года бродяжничества я пришел в Верден, чтобы завербоваться".

Это открытие меня слегка расстроило, как бывает, когда мы воображаем, будто попали в уникальную ситуацию, а потом узнаем, что еще прежде нас точно в таком положении оказывались многие другие. Тем не менее я уже собирался дополнить своим именем этот странный реестр бездельников всех стран, в компанию которых намеревался вступить, но тут полицейский вернулся и пригласил меня в кабинет.

Здесь меня принял офицер с седыми, закрученными кверху усиками и с привычкой жестикулировать. По его обращению я сразу понял, что теперь имею дело с военной властью и что здесь никакие опасения гражданских чинов в расчет не принимаются. Он благосклонно взглянул мне в глаза и, наставив на меня указательный палец, с профессиональным пылом спросил:

— Молодой человек, вы, как я слышал, хотите попасть в Африку. Вы это хорошо обдумали? Ведь там, на юге, каждый день идут бои!

Его слова, разумеется, были бальзамом для моих ушей, и я поспешил ответить, что меня привлекает опасная жизнь.

— Что ж, недурно. У вас будет возможность отличиться. Сейчас я дам вам подписать заявление о вступлении в легион.

И, взяв из стопки бумаг печатный формуляр, он добавил:

— Вы можете выбрать себе новое имя, если прежнее вас почему-либо не устраивает. Документы мы ни с кого не требуем.

Хотя этим предложением я не воспользовался, оно мне очень понравилось, поскольку очевидно противоречило всем принципам, которым нас учили в школе. Поэтому я поспешил поставить свое имя под писаниной, читать которую счел излишним, и удовольствовался тем, что прибавил себе два года. Наверное, в этом я не отличался от своих предшественников, чьи имена прочитал снаружи, на окне этой так просто устроенной ловушки для дураков, — ибо офицер равнодушно взял лист с только что подписанным мною обязательством на пятилетний срок службы и положил его на другую стопку.

Сообщив мне, что до отправки в *землю обетованную* нужно еще пройти медицинское освидетельствование, он вызвал к себе одного из солдат и поручил ему заняться мною.

8

Солдат, которому этого краткого указания, похоже, было достаточно, повел меня в казарму, находившуюся за воротами. И разместил на жительство в голой комнате, вдоль стен которой стояли походные кровати.

Поскольку мы прибыли как раз во время обеда, он сходил на кухню и принес мне глубокую тарелку, наполненную вареной говядиной, а также жестяную миску с вермишелью. Потом он исчез, оставив меня наедине с едой, из которой я одолел лишь малую часть. Еда показалась мне вкусной, хотя, конечно, она не могла сравниться с омлетами из "Золотого колокола".

Периодически мой провожатый появлялся в дверях, чтобы окинуть помещение взглядом — его, очевидно, назначили кем-то вроде ответственного сторожа. Но поскольку я был доволен своим положением, меня это мало беспокоило; я поспешил оккупировать одну из кроватей, растянулся на ней и радовался грандиозному успеху, которым увенчалось мое начинание. Я достиг поворотного пункта, после которого события будут развиваться сами собой, а решение выбросить деньги воспринимал как первую победу над собственной бездеятельной мечтательностью. С гораздо большим удовольствием, чем накануне, я снова углубился в книгу об Африке.

Уже через несколько дней я увижу побережье этого великого континента — границу, за которой, несомненно, скрывается подлинная, более яркая жизнь...

За чтением я, видимо, заснул, ибо внезапно меня напугал голос неслышно вошедшего сторожа.

— Эй, малыш, ты тут не заскучал, совсем один? Я тебе привел компанию!

Речь шла о бледном, более чем жалко одетом молодом человеке, который вслед за ним проскользнул в дверь уже погрузившегося в сумерки помещения.

Я понял, что это, наверное, один из тех неизвестных сотоварищей, чьи имена я недавно изучал на оконном переплете. И очень обрадовался, что передо мной так неожиданно открылась перспектива дружбы. Теплая волна, прилившая к сердцу, подсказала мне, что после своего тайного странствия я больше, чем сам догадывался, нуждаюсь в обществе хоть какого-то человека.

Поэтому я с напряженным вниманием наблюдал за каждым движением прибывшего, который, со своей стороны, не проявлял ко мне особого интереса. Он внимательно оглядывал помещение, — как зверь, угодивший в западню, — пока не остановил взгляд на столовой посуде, все еще стоявшей на столе. Вопросов он не задавал, но сообразив, что я больше не претендую на еду, поспешно набросился на нее и удивительно быстро покончил с огромной порцией. Уничтожив ее до последней крошки, молодой человек отодвинул тарелку и с желчной улыбкой пробормотал:

— Конина!

Потом спросил, нет ли у меня сигареты, а когда я предложил ему табаку, взял щепотку и очень ловко закатал ее в лист папиросной бумаги, извлеченный из грязного кармана. Он курил, растянувшись на одной из кроватей, в качестве подушки подложив под голову перевязанную шпагатом котомку, и попутно сделал несколько скупых сообщений о своей персоне.

Его зовут Франке, ему двадцать лет, он родом из Дрездена и прежде занимался керамикой.

— Керамика, — объяснил он, — это художественное гончарное ремесло, которое в Дрездене монополизировано большой гильдией.

Но ему, видно, у гончаров не особенно нравилось, ибо он вскоре сбежал от своего саксонского мастера и отправился странствовать по проселочным дорогам. Родителям несколько раз удавалось вернуть его с помощью полиции, но потом, когда эта игра стала повторяться слишком часто, они отрек-

лись от него, напророчив плохой конец. Он уже второй год бродяжничает и решил завербоваться в Иностранный легион, потому что боится зимы.

— Им в Дрездене наплевать на меня, — закончил он свою речь, — а подыхать с голоду я могу и в Алжире.

Его рассказ продолжался бесконечно, парень будто убеждал в чем-то самого себя; казалось, ему все равно, отвечаю ли я. Вообще, у меня сложилось впечатление: этого типа не интересует ничего, кроме собственной персоны. Поэтому от него веяло странной пустотой и холодом — вероятно, бесцельное бродяжничество по проселочным дорогам было единственным состоянием, соответствующим его натуре. Вся Африка значила для него не больше, чем прибежище на зиму, а на мой вопрос, какую жизнь он намерен вести там, на юге, он вообще не ответил.

Зато я скоро заметил, что его в первую очередь волнуют два вопроса, к которым он снова и снова возвращался, хотя я на них ответить не мог. Один касался "денежного задатка", о размерах которого у него были самые фантастические представления и который, как он почему-то предполагал, нам должны были выплатить завтра утром.

Не меньше угнетала его и забота о том, дадут ли ему уже завтра пару новых сапог, и он не уставал повторять:

— Они непременно должны выдать мне сапоги — ведь сапоги мне причитаются? Ты как думаешь?

Его сапоги — а он улегся на кровать не разувшись — и впрямь достигли последней степени ветхости, какую только можно себе представить.

Мы еще долго переговаривались в темноте, пока нас не сморил сон.

Проснувшись, я обнаружил, что Франке уже с раннего утра принялся действовать. Он очень ловко разведал обстановку на кухне и не только принес нам кофе и длинный белый батон, но сумел также раздобыть пачку сигарет, которую тщательно прятал от меня. Порассуждав вслух о сапогах и денежном задатке, он с ворчанием растянулся на кровати, я же снова стал листать свою книгу.

Наше молчаливое сосуществование вскоре было нарушено появлением тощего верзилы, который, недоверчиво осмотрев нас, рухнул на одну из кроватей и, свесив через край длинные ноги, погрузился в какие-то мрачные думы. Он производил еще менее приятное впечатление, чем Франке: большие, поросшие черным пушком кулаки и всклокоченная шевелюра, которая на низком лбу почти соприкасалась со сросшимися бровями, придавали ему вид первобытного ди-

каря. К тому же он постоянно дрожал — как мне казалось, от внутреннего буйства.

Пролежав примерно два часа в такой позе, он внезапно испугал нас ужасным ревом. Вскочив и швырнув в угол табуретку, он стал кричать: мол, неужели в этом жалком свинарнике совсем нечего пожрать... Мы поспешили предложить ему остатки белого хлеба и смотрели, как он засовывает в рот большие куски, которые отхватывает складным ножом. Насытившись, он немного оттаял и сообщил нам, что его зовут Реддингер. Присовокупив к этому невнятный намек, из которого я понял только, что он перешел границу туманной ночью и что ему важно представить себя человеком, которому ничего на свете не страшно.

Франке, похоже, мало обрадовался новому товарищу. Когда мы с ним и с нашим солдатом в полдень отправились на кухню за едой, он проворчал:

— Таких субъектов вообще нельзя сюда принимать. С первого взгляда видно, что у него рыльце в пушку!

Когда я спросил, что он этим хочет сказать, Франке лишь насмешливо посмотрел на меня.

Наш обед проходил в очень напряженной атмосфере: мы все отчетливей понимали, что с Реддингером нужно цацкаться, как с сырым яйцом, если не хочешь вызвать у него новый припадок бешенства. Он сидел за столом с видом человека, который ждет только повода, чтобы совершить убийство. И между ним и Франке дело наверняка дошло бы до драки, если бы тем временем в нашей компании не объявился *четвертый* — кряжистый, крепкого сложения парень, который с порога назвался Паулем Эккехардом и сразу очень бодро вошел в комнату.

Вскоре он показал, что мастерски владеет всеми возможными и невозможными искусствами, а в тот день, для начала, хорошо подвешенным языком поведал нам о перипетиях своей судьбы. Он, собственно, был слесарем, но его, как и Франке, одолела страсть к бродяжничеству, и, после того как он несколько раз сбегал, его поместили в приют для малолетних правонарушителей. Там он живо сделался главарем заговорщиков. И в один прекрасный день, когда всех воспитанников построили во дворе на поверку, он (как он тут же нам продемонстрировал) "с громким та-та-ра-та" на глазах у оцепеневшего персонала совершил побег вместе с дюжиной товарищей, просто выскочив через открытые в тот момент ворота.

Продолжая скитаться, он примкнул к труппе бродячего варьете и исполнял там роль партерного акробата. Затем он рассказал нам, как недавно договорился с несколькими дельными товарищами по труппе, что они по отдельности перей-

дут в разных местах границу, чтобы потом всем вместе поискать приключений в Алжире.

— А если нам там не понравится, — добавил он, — мы тем же манером смоемся обратно!

Такая натура была мне куда симпатичнее, чем мрачная холодность Франке или полубезумное поведение Реддингера. И человек этот — Пауль — сразу создал атмосферу общности. Он скинул куртку и, поскольку под ней была лишь безрукавка, обнажил крепкие руки, поиграл мускулами — вероятно, не без тайного намерения, — заставив их змеиться, как это делают атлеты из цирковых балаганов. Мне особенно понравилось, что вытатуированная на одном из бицепсов обнаженная дама при этом двигалась так чувственно, будто исполняла танец живота. Пауль дал нам возможность полюбоваться некоторыми из своих главных номеров: сделал "мостик" между двумя табуретками, исполнил сальто без подкидной доски и стойку на одной руке.

Потом он достал губную гармошку и заиграл на ней так искусно, что даже наш сторож, который с появлением страшного Реддингера почти полностью скрылся из виду, начал снова время от времени просовывать голову в дверь. Складывалось впечатление, что этот музыкальный инструмент особенно соответствует натуре Пауля, который и вообще дышал энергично, раздувая щеки, — о таких людях в народе говорят, что они, дескать, плевать хотели на все неприятности и только знай себе насвистывают.

Завоевав благодаря своей силе и разнообразным талантам неоспоримый авторитет, Пауль принялся прощупывать *нас*, при этом с Франке он держался пренебрежительно, ко мне отнесся доброжелательно, а с Реддингером вел себя осторожно. Пауль, кажется, происходил из той местности в Рейнской области, где еще сохранялось живое воспоминание о Шиндерханнесе[1], которого он несколько раз упомянул как великого и прославленного героя. Пауль и сам, без сомнения, обладал чертами, которые необходимы дельному предводителю разбойников.

Ближе к ночи к нам в комнату тенью проскользнул еще и мелкий парнишка по имени Якоб, весьма истощенного вида; держался он робко и почти все время молчал. Пауль взялся опекать вновь прибывшего и позаботился, чтобы его хоть чем-то накормили. Уже засыпая, я слышал долгий разговор

1. Шиндерханнес (наст. имя Иоханнес Бюклер, 1779—1803) — легендарный предводитель разбойничьей шайки, действовавшей в Рейнской области.

между ними, во время которого Пауль искусно вытягивал из маленького Якоба разные сведения.

— Кобе[1], — начал он строгим голосом, — ты, значит, называешь себя учеником каменщика? Может, ты и впрямь когда-то недельку-другую поошивался на стройке. Но лучше сознайся, что ты удрал из воспитательного дома! Это по твоим глазам видно.

Малыш плаксиво признался в этом и потом, вздохнув чуть ли не с облегчением, рассказал, что до недавнего времени он кочевал по ярмаркам с владельцами качелей.

— Таких людей называют устроителями аттракционов, — перебил его Пауль, который, похоже, был до мельчайших подробностей осведомлен об устройстве бродячего мира, — и они наверняка заставляли тебя делать всякие нехорошие вещи.

Да, и отчасти поэтому их компания поблизости от границы распалась. У человека, взимавшего плату за вход, было кольцо с припаянной к нему монетой в пятьдесят пфеннигов, которое он носил на пальце, повернув монетой внутрь. Когда, например, какая-нибудь служанка или ребенок покупали билет за десять пфеннигов и расплачивались одной маркой, он отсчитывал еще четыре гроша, кладя их на ладонь рядом с припаянной монетой, а с ладони ссыпал вместо девяноста пфеннигов только сорок.

Рассказ о таком мелком мошенничестве, должно быть, доставил Паулю превеликое удовольствие: я видел, как он от смеха буквально катается по кровати. Он, казалось, заинтересовался Якобом, с которым теперь углубился в обстоятельную беседу о радостях и тяготах бродяжничества, — заинтересовался не без причины. Во-первых, им владело стремление ставить других в зависимость от себя; во-вторых, ему, очевидно по натуре, была свойственна потребность оказывать кому-то покровительство, что выгодно отличало его от Франке и Реддингера. Его привлекал вид слабости.

В первой половине дня наш солдат повел нас в домик возле цитадели для медицинского освидетельствования. Пока мы, присев на корточки вокруг большой печки, ждали врача, Франке разглагольствовал о приятной перспективе получения денежного задатка и заражал других своими надеждами.

Однако ему было уготовано горькое разочарование. Как только врач появился, Франке первым поспешил на обследование, но врач, едва приставив слуховой рожок к его впалой груди, сразу сухо сообщил:

1. Уменьшительная форма от имени Якоб.

— Ви имеете плохой сердце!

Точно так же врач с первого взгляда отбраковал маленького Якоба, уставив на него палец и сказав:

— Ви слиском слабы!

В отношении меня у него, похоже, тоже возникло некоторое сомнение, но в конце концов он все-таки признал меня пригодным. Пауль Эккехард и Реддингер, напротив, полностью его удовлетворили. Вся процедура осмотра отняла у врача не больше четверти часа, после чего он удалился, передав солдату формуляры и направив нас в кассу.

Слово "касса" вызвало у Франке последний проблеск надежны. Но там сразу выяснилось, что ни для него, ни для кого-то еще о задатке не может быть и речи — в местах, где не спрашивают документов, деньги обычно экономят.

Чиновник, к которому мы пришли, ограничился тем, что оформил Реддингеру, Паулю и мне по проездному билету до Марселя и в качестве суточных на дорогу выдал каждому из нас по одной серебряной монете. Пауль и Реддингер скорчили кислые мины, Франке же разволновался чрезвычайно, больше всех. Он быстро повернулся ко мне и потребовал, чтобы я спросил у казначея, как же теперь быть *ему*. Казначей, который, видимо, понял вопрос так, что Франке боится трудностей с паспортом или выдворения из страны, вежливо ответил:

— Скажите этому господину, что он может спокойно идти, куда ему угодно.

Однако его ответ совершенно не успокоил Франке.

— Куда мне угодно, это в таких-то сапогах? Этот тип надо мной смеется? Но погоди-ка, — вдруг перебил он сам себя, — переведи ему, что мне угодно отправиться в Марсель!

Он, видимо, надеялся тоже получить билет, однако чиновник с той же любезностью ответил:

— Не имею ничего против — при условии, что вы отправитесь туда за свой счет или пешком.

С этими словами он, пожелав нам счастливого пути, закрыл дверь, и мы поплелись обратно в казарму.

Здесь Пауль устроил военный совет, обсудив сперва судьбу тех двоих, которые, согласно приговору врача, должны были остаться в Вердене. Всегда находивший выход из положения, он посоветовал им добраться до Нанси и там пройти второе — возможно, менее строгое — освидетельствование. Он, наверное, в первую очередь хотел добиться того, чтобы Франке взял на себя заботу о маленьком Якобе, который потерянно сидел на кровати и болтал ногами.

Я, собственно, считал это само собой разумеющимся: хотя бы потому, что одинокое странствие столь неискушенно-

го парня по залитым дождем проселочным дорогам представлялось мне делом весьма рискованным. Но Франке думал иначе; ему, очевидно, были ненавистны любые обязательства. Искоса бросив на малыша презрительный взгляд, он проворчал, что не обязан играть роль няньки и что будет рад, если в это время года и в таких сапогах сам, в одиночестве, добредет до Нанси.

Его замечание навело меня на мысль предложить ему свой дождевик, без которого, как мне думалось, в Африке я прекрасно обойдусь. Франке, уже неоднократно бросавший на сей предмет туалета завистливые взгляды, кинулся на него, как коршун; и, после того как он дал клятвенное обещание взять покровительство над маленьким Якобом, Пауль формально доверил ему паренька. Франке тотчас облачился в дождевик и, хотя в помещении было очень тепло, не снимал его ни за едой, ни перед тем как лечь спать; плащ был отныне так же неотделим от него, как собственная кожа.

Удостоверившись, что этот пункт повестки дня выполнен, Пауль обратился к нам с Реддингером и попросил передать ему наши монеты, поскольку он хотел сам позаботиться о запасах в дорогу. Потом он исчез и вернулся только в сумерках — с буханкой хлеба, банкой говядины и двумя пачками темного табака "Капрал". Все это он выпросил у поваров, для которых устроил в кухне маленький концерт, играя на губной гармошке. Такие способности — натуральный капитал, ни на одной границе не облагаемый пошлиной. Деньги же Пауль целиком употребил на покупку огромной стеклянной бутыли, наполненной желтым вином, — пузатой и с маленьким выгнутым сливом на горлышке.

Увидев этот набор продуктов, нельзя было не вспомнить присказку о "таком крошечном кусочке хлеба к такой прорве вина" — да только нам она не показалась смешной.

Пауль уложил хлеб и мясо в мой рюкзак, который вместе с бутылью предусмотрительно разместил на своей кровати: то ли потому, что не доверял Реддингеру, который, дьявольски ухмыляясь, уже бросал на бутыль алчные взгляды, то ли по какой-то иной причине.

Вечером Пауль незаметно отозвал меня в сторону и сунул мне в руки тонкий пакетик.

— Для тебя, Герберт, я еще прихватил из столовой почтовую бумагу и марку, так что можешь написать домой!

Эта маленькая любезность яснее, чем что-либо другое, показала, что у Пауля действительно сердце прирожденного лидера. Он благодаря своей наблюдательности понял мое

слабое место: то, из-за чего я больше всего мучился. Я и раньше охотно подал бы родителям признаки жизни, да только расстояние между нами еще не казалось мне достаточно большим.

Итак, я уселся за стол в кругу своих новых странных приятелей и, не упоминая конкретных обстоятельств, в которых оказался, карандашом написал письмо; думаю, оно мало чем отличалось от прочих посланий, которые со времен Робинзона пишутся в таких случаях. Если я правильно помню, в нем что-то говорилось о моих надеждах на лучшую жизнь в тропических девственных лесах...

Казначей указал нам два поезда: один отходил среди ночи, другой — на следующий день. Мы решили ехать на втором, и Франке, который, завладев моим плащом, вернулся к характерной для него холодности, немногословно заявил, что тоже намерен отправиться в путь только после того, как отобедает.

Поболтав еще немного о том о сем, мы, полные надежд, легли спать.

9

День нашей памятной поездки в Марсель начался со сцены, сулившей мало хорошего.

Хотя спали мы долго, из-за проливного дождя было еще довольно темно, когда нас вырвал из сна дикий крик. Исходил он от ужасного Реддингера, который, бушуя и размахивая руками, бегал по комнате. Мы не решались заговорить с ним, чтобы не сделаться объектом его ярости, и, только после того как к нам заглянул унтер-офицер, который, видимо, нес караул в этой части казармы, и пригрозил упрятать всех нас в кутузку, мы узнали, что́, собственно, случилось.

Оказалось, что под покровом ночи Франке предательски смылся; он не только бросил на произвол судьбы маленького Якоба, но и подменил собственными развалюхами ладные и крепкие сапоги Реддингера. Между возобновляющимися припадками бешенства Реддингер показывал нам доставшееся от вора наследство: он то швырял сапоги об стену, то вновь пытался натянуть их на ноги. Сапоги эти заслуживали сравнения с *ножом без лезвия и рукоятки*, ибо, как подметки, так и кожаные голенища, состояли, казалось, из сплошных дыр. Но делать было нечего: оставалось лишь обуться в эту рвань. Поскольку оставленные сапоги были ему малы, Реддингеру пришлось извлечь из кармана огромный складной нож и отрезать им носки. Я с тайным удовлетворением вос-

хищался дальновидностью Пауля, который так осмотрительно припрятал наши дорожные припасы: не сделай он этого, Франке, конечно, ни минуты не колеблясь, завладел бы и ими, сочтя их своей законной добычей. Плащ мой, само собой, он тоже прихватил.

В разгар этой бучи появился наш солдат — явно довольный, что скоро от нас избавится, — и под его предводительством мы отправились на вокзал. Пауль бережно нес большую бутыль, я — рюкзак; а Реддингер, изрыгая проклятия, семенил за нами в сапогах Франке, которые при каждом шаге, словно прохудившиеся лодки, черпали воду. Маленький Якоб, которому теперь предстояло добираться до Нанси в одиночку, прошел с нами до вокзала. Следующим местом встречи Пауль назначил ему Марсель; я заметил позже, что он таким манером создает вокруг себя обширную сеть приятельских связей со всякого рода темными личностями.

Наконец мы трое оказались в пустом вагоне поезда, который неспешно катил на юг. Пока мы курили и болтали, а Пауль иногда играл на губной гармошке, Реддингер подбадривал себя изрядными глотками из оплетенной бутыли. Поскольку вино было густым и крепким, как ликер, Реддингер вскоре впал в состояние буйного веселья и со сверкающими глазами принялся бахвалиться перед нами.

Так мы узнали, что родился он в глухой горной деревне и что отец сызмальства нещадно его колотил. Но он довольно рано набрался сил и в один прекрасный день, когда старик снова на него замахнулся, избил его до полусмерти и бросил одного на дворе. А сам подался к ремесленникам, обжигающим глину, которые обитали в уединенной горной долине, и снискал у них уважение как неутомимый работник. Работали ремесленники сдельно, формуя и высушивая под жгучими солнечными лучами большие глиняные трубы. Зарабатывали они, если верить его словам, столько, что прямо-таки купались в деньгах. А по субботам, получив плату, эти измотанные трудяги отправлялись в деревню и возвращались с несметным количеством водки, которую пили потом прямо из ведер. Апогеем этих попоек были ужасные драки, которые иногда заканчивались тем, что их участники в темноте — забавы ради — вслепую палили друг в друга из револьверов.

Пока Реддингер рассказывал это и другое на своем невразумительном диалекте, его веселье принимало пугающие формы. Складывалось впечатление, что он вырос в глуши и чужд человеческому обществу — как какой-нибудь забытый *циклоп*. Он то отхватывал ножом от буханки рваные ломти, то снова двумя руками подносил ко рту бутыль. А под конец

приложился к ней так основательно, что, без сомнения, опустошил бы ее, если бы этому не воспрепятствовал Пауль.

Такое вмешательство, необходимое для нашей безопасности, вероятно, вызвало бы у Реддингера новую вспышку ярости, да только он был уже слишком пьян. Поэтому и ограничился тем, что неуклюже повертел в пальцах нож и с благодушно-угрожающей ухмылкой проворчал:

— Сучий потрох, да я тебя сейчас на месте прикончу, как недавно прикончил такого же. Или ты думаешь, я зря отправляюсь к твоим французским мордам?

Обеспечив себе этим сообщением надлежащее уважение, он растянулся на лавке и вскоре захрапел, как людоед в сказке. Пауль, испытующе взглянув на него, неуверенно произнес:

— А ведь он наверняка сказал правду, ты как думаешь? Во всяком случае, нам бы стоило отделаться от этого громилы, пока он не протрезвел.

Поскольку я целиком разделял такое мнение, мы, шепотом посовещавшись, решили просто незаметно смотать удочки на ближайшей станции, чтобы избавиться от головореза. Как только поезд остановился, мы осторожно вышли и ждали, спрятавшись за пакгаузом, пока состав не покатил дальше.

— Так, Герберт, — сказал Пауль, когда облако дыма исчезло вдали, — мы останемся здесь до следующего поезда. Хотел бы я посмотреть на дурацкое выражение лица нашего черноволосого Геркулеса, когда он очухается...

— Если вести себя как этот хмырь, — пророчески добавил он, — далеко не уедешь. Он бы только выиграл, если бы его упрятали в кутузку еще в Германии: тогда хоть на поездке бы сэкономил.

У Пауля всегда были наготове меткие замечания: ведь ему, как я узнал позже, даже доводилось, помимо прочего, торговать гороскопами на базарах. Короче, с таким человеком не соскучишься.

Место, куда нас забросил случай, состояло, казалось, только из вокзала да нескольких разбросанных крестьянских дворов. Сперва мы немного прошлись по влажным от дождя лугам, а потом уселись в натопленном зале ожидания. Здесь мы углубились в чтение нескольких зачитанных до дыр выпусков "Ринальдини"[1], которые Пауль таскал с собой в сумке, и

1. "Ринальдо Ринальдини" — анонимный исторический роман о разбойниках, публиковавшийся в Германии с 1910 г. Всего было шестьдесят пять выпусков.

за чтением мало-помалу опустошили нашу бутыль, в которой еще оставалось больше литра.

Наши занятия вызвали явную симпатию игроков, собравшихся вокруг потертого бильярдного стола. Это были веселые люди в грубых вельветовых штанах, крупные складки которых топорщились над стесанными деревянными башмаками. За игрой они то и дело подкреплялись из высоких бокалов, наполненных непрозрачной, как молоко, жидкостью. Поскольку они так и сыпали шутками по поводу нашей большой бутыли, между нами и ими завязался разговор. И вскоре Пауль, который, вдобавок ко всем прочим своим достоинствам, оказался искусным игроком в бильярд, присоединился к их компании. Когда бокалы были в очередной раз наполнены, нам двоим тоже налили; напиток представлял собой густую зеленую субстанцию, мутнеющую при разбавлении водой.

От напитка исходил сладкий аромат, и он быстро оказал на нас странное действие. Словно во сне я услышал голос своего товарища, спросившего у меня:

— Эй, Герберт, что творится с моими ногами? У меня ощущение, будто они ватные.

Я не смог ничего ответить, поскольку сам оказался в плену странного ощущения: я все отчетливее сознавал, что нахожусь вовсе не в зале ожидания, а *посреди большого склада ваты.* Все краски начали приветливо светиться, а все предметы превратились во множество сортов мягкой разноцветной ваты. Но больше всего в этом превращении меня веселило то, что на складе ваты движения посторонних людей утрачивали свою чужеродность: я сам, в зависимости от внутреннего настроя, мог в силу какого-то колдовства влиять на них. Если, к примеру, я выдергивал из тюка ваты определенного цвета тампон, то именно по этой причине кому-то из играющих в бильярд удавался искусный удар... или распахивалась дверь и появлялся хозяин заведения, неся поднос, уставленный наполненными бокалами...

Так благодаря очень приятному волшебству я коротал — в зале ожидания — время, и оно пролетело невероятно быстро. Мы, пожалуй, опоздали бы на поезд, если бы новые друзья не проводили нас — под звуки наигрываемой Паулем прощальной мелодии — к нашему вагону (чем немало позабавили других пассажиров). А сбивающая с панталыку сила *абсента*, с которой мы таким образом познакомились, была столь стойкой, что держала нас в своей власти до самого вечера. Во всяком случае, когда мы вышли на перрон в Дижоне, Пауль заметил, что абсент, пожалуй, самое верное средство, чтобы сократить длительность путешествия...

Длинный состав, отправляющийся в Марсель, уже стоял под парами, но нам хватило времени, чтобы пройтись по привокзальной площади. Пауль, который игрой на бильярде добыл несколько мелких монет, купил здесь батон колбасы и кулек жареных каштанов.

Пока мы сидели в поезде и ужинали, нас поджидал еще один, менее приятный сюрприз. Внезапно мы услыхали доносящиеся из коридора проклятия, показавшиеся нам на удивление знакомыми, а в промежутке между ними другой голос произнес:

— Идемте же! Здесь уже сели двое с такими же билетами, как у вас.

Кондуктор отворил дверь, и в проеме показалась фигура страшилища Реддингера, который с ухмылкой уставился на нас. Впрочем, мы заметили, что он значительно сбавил тон: вероятно, вторую половину дня он провел не столь занятно, как мы, — возможно, у него даже были неприятности. Он без лишних слов забился в угол и вскоре растянулся на черной клеенчатой обивке дивана. Его присутствие обеспечивало нам некоторое сомнительное преимущество — в том смысле, что гарантировало монополию на купе. Поезд был переполнен, и часто кто-то из пассажиров открывал нашу дверь, но, увидев храпящего гиганта с внешностью лесоруба и в изодранных сапогах, тотчас снова ее захлопывал. Мне это не понравилось, однако Пауль сказал, что человек, который направляется в Африку, не должен обращать внимание на такие мелочи.

Поезд на полных парах несся сквозь ночь. Я крепко уснул, а когда проснулся, мы уже въезжали в какой-то большой город, черные улицы и площади которого мерцали под дождем. Это был Лион. У меня снова стало муторно на душе, и я обрадовался, когда Пауль повернулся ко мне из своего угла. Он принялся рассказывать длинную историю о легионере Рольфе Бранде[1], одном из героев пестрых брошюр, которого, похоже, очень любил.

Когда снаружи кондуктор прокричал "Тараскон", ужасный Реддингер тоже проснулся. Он был не в духе и озадачил нас сообщением: мол, если кто-то думает, будто в Марселе он, Реддингер, добровольно явится к французским мордам, то человек этот сильно заблуждается... В ответ на наш вопрос, что же он собирается делать, он ограничился отговоркой:

1. Имеется в виду анонимный роман "Рольф Бранд — немецкий Шерлок Холмс", выходивший в Германии (до Второй мировой войны) в виде серии брошюр.

— Не у всех в голове каша вместо мозгов...

Пауль сказал, что для такого громилы это совсем не глупая мысль. Во всяком случае, нам не повредит, если мы сперва поглядим на город и особенно на гавань и корабли. Возможно, когда-нибудь это пригодится.

Пока мы беседовали, поезд взбирался в гору, белые уступы которой светились в темноте. Хотя звезды еще мерцали, уже чувствовалось приближение утра. Я открыл окно и поразился чудному мягкому ветерку: это было дыхание Средиземного моря, уже заявлявшего о себе. Внизу сияли многочисленные огни: они окаймляли маленькие острова и тянулись, подобно ниткам жемчуга, вдоль изогнутых очертаний бухт. Между ними поблескивали красные и зеленые сигналы плывущих по морю пароходов.

Поезд прибавил скорость и в предрассветных сумерках въехал на большой вокзал Марселя.

10

Наш план — на свой страх и риск осмотреться в этом старом портовом городе — был настолько естественным для таких, как мы, путешественников, что власть, с которой мы заключили соглашение, не могла его не предусмотреть. Во всяком случае, когда мы бодро зашагали к выходу, чтобы бесследно исчезнуть, нас задержала небольшая группа патрульных, которые стояли возле заграждения и проверяли билеты. Ими командовал капрал-швейцарец: кажется, он угадал наши намерения и развеселился, увидев, насколько мы изумлены.

Пауль, тотчас взявший с ним дружеский тон, сказал, чтобы его поддразнить, что в следующий раз мы выйдем на предыдущей станции; капрал обозвал его олухом и заметил, что сперва ему придется исполнить, что положено, а это, как ни крути, займет пять лет.

Кроме нас из потока приезжих тем же манером выудили еще двух или трех молодых людей, после чего наше маленькое подразделение пустилось в дорогу. Мы шагали по широкой, ведущей от вокзала аллее, мало чем отличающейся от парадных улиц других больших городов, и потом свернули на прославленную улицу Канебьер. По дороге Реддингер все время вращал глазами, словно угодивший в западню волк: он высматривал скрытые от глаз боковые улочки, но возможности для бегства не находил.

Вскоре нашим взглядам открылась Старая гавань — большой водоем, обнесенный с четырех сторон каменной стеной, по краям которого на якорях стояли рыбацкие баркасы

и мелкие парусные суда. Сутолока здесь царила чудовищная. Толпы людей, крича, передвигались по каменным набережным между лотками торговцев рыбой, корзинами с моллюсками и морскими ежами и выставленными под открытым небом стульями из маленьких рыбацких таверн. Воздух был наполнен запахами чужих рас, больших складов и отбросов моря — дыханием торговой анархии, которая пронизывает и оживляет приморские города.

Наш капрал — который в этой суматохе чувствовал себя как дома и двигался с неспешностью, какую встречаешь всюду, где квартируют солдаты и царит административный порядок, — предпочел углубиться в темный квартал, переулки которого черными шлангами впадали в акваторию порта. Уверенно ориентируясь на местности, он свернул в самый узкий из них, на входе в который стоял огромный негр, угольно-черный, как мавры на иллюстрациях к сказкам, и одетый в лазоревый мундир, расшитый ярко-желтыми арабесками. Пауль развеселил нашего предводителя вопросом, не охраняет ли этот тип гарем, и узнал от него, что негр, "как раз наоборот", — один из сенегальских стрелков.

Проулок, больше напоминающий туннель, змеился, поднимаясь в гору; мостовая была завалена фруктовой кожурой, раковинами моллюсков и всякого рода отбросами. Несмотря на ранний час, уже попадались пьяные; за низкими окошками и в темных дверных проемах сидели накрашенные девушки и с застывшими улыбками смотрели на проходящих мимо. Капрал, уперев левую руку в висящий у пояса штык, развлекался тем, что на ходу балагурил с ними, причем ему, казалось, не составляло никакого труда переходить с швейцарско-немецкого на французский, или испанский, или вообще какой-то неизвестный язык.

Его настоящей целью, однако, оказался глубокий подвал, в котором громоздилось огромное количество бочек. Здесь он остановился и подал вниз походную флягу, которая крепилась к его портупее и отличалась необычайно большим объемом, рассчитанным на длинные переходы по пустыне.

Винодел, определенно знавший любимый сорт своего клиента, с помощью воронки наполнил чудовищную флягу темно-красным — почти черным — вином. С удовлетворением приняв флягу, капрал объяснил нам, что подкрепить себя ранним утром настоящим африканским вином гораздо полезнее и приятнее, чем выпить чашку кофе, — и, чтобы наглядно продемонстрировать этот принцип, он тотчас сделал большой глоток. Его манера пить была такой же экзотичной, как и все его поведение: он поднял флягу высоко над головой

и тонкую струйку вина, полившуюся из сосуда, ловил ртом так искусно, что мимо не пролилось ни капли. Увидев, что мы с удивлением следим за происходящим, он объяснил, что преимущество такого трюка нам скоро станет понятно — как только мы переночуем в палатке с парнями, которые, даже стягивая сапог, опасаются, как бы кто не покусился на палец с их ноги... Преподав нам этот превосходный урок, капрал повел нас по лабиринту улочек и сообщающихся дворов обратно к морю.

Квартал трущоб, который мы пересекли, оказался преддверием обветшалого замка, наконец открывшегося нашим взорам. Замок был сооружен на выступающей из моря скале и со стороны суши имел оборонительный ров. Его красно-бурые стены поднимались из синей воды на огромную высоту, прерываемые лишь зарешеченными оконцами с ржавыми пятнами, въевшимися в кладку под брустверами. Углы замка были скруглены крепкими башнями; вокруг их омываемых морем цоколей плавали пояса из зеленых и коричневых водорослей. Ко входу вел деревянный мост, на котором нес караул солдат в ярко-красном мундире; на голове у него была феска, черная кисть которой спадала почти до бедра.

Над темными воротами, через которые мы прошли, висела табличка с надписью "Форт Сен-Жан". Мы поднялись по винтовой лестнице и оказались на открытой площадке, заполненной людьми.

Средневековый бастион, как мы скоро узнали, служил местом найма и увольнения солдат ближневосточных гарнизонов. Его проходы и сводчатые помещения кишели неспокойным и постоянно сменяемым персоналом. На некоторых парнях, которых мы встретили, были пестрые мундиры; но большинство довольствовалось гражданским рваньем. Еще прежде, чем мои глаза разглядели подробности этой суеты, возникло ощущение, что здесь происходит что-то нехорошее и незаконное.

Прибытие новичков здесь как будто считалось важным событием; во всяком случае, вокруг нас сразу же образовался круг, и зазвучали приветствия на самых разных наречиях. Прежде чем мы поняли, чего от нас хотят, раздался сигнал трубы, о каком Пауль рассказывал нам в Вердене. Сигнал исходил от двух его прежних товарищей, которые тут же с радостными криками куда-то утащили Пауля.

Я собрался было последовать за ними, но тут в непосредственной близости от меня возникла какая-то заварушка. Ужасный Реддингер, которому так и не удалось вовремя смыться, разорвал круг зевак и бросился вдогонку за челове-

ком, улепетывающим со всех ног. Развевающаяся накидка этого человека показалась мне подозрительно знакомой. Реддингер в несколько прыжков настиг его и повалил на землю; и тут я понял, что *лежащий на земле*, на которого обрушивает удары Реддингер, — не кто иной, как Франке, видимо, добравшийся сюда ночным поездом, без билета.

Хотя он орал благим матом, никто и пальцем не пошевелил, чтобы ему помочь. Наконец крики привлекли внимание двух патрульных, которые совершали обход по валам и внутри форта. Однако их попытка вмешаться привела лишь к тому, что Реддингер окончательно озверел. Размахивая длинными ручищами, как крыльями ветряной мельницы, он в один миг обратил обоих патрульных в бегство.

Швейцарский капрал, с полным самообладанием наблюдавший за этой стычкой, дал Реддингеру добрый совет: как можно скорее испариться, если он не хочет "расхлебывать скверный супчик". Однако Реддингер, который лишь теперь, казалось, слегка оттаял, ни за что не хотел отступать, а грозил этому "песьему хрену и прохиндею", который так подло дал деру из Вердена, "повыдергивать ноги, если он тотчас же не отдаст сапоги"... Но так получилось, что Франке, воспользовавшись суматохой, успел улизнуть.

Между тем поднявшиеся снизу охранники уже беглым шагом пересекали площадку. Командовал ими сержант с тонкими усиками: вылитый злобный бесенок; ткнув пальцем в грудь Реддингеру, он приказал ему следовать за ним. Тот ответил, что его здесь ничто не интересует, кроме сапог, и без них-де он и шага не сделает...

Я подумал, что теперь его точно арестуют; однако сперва сержант послал одного рядового в караулку, и тот почти сразу вернулся с какой-то книгой. Воцарилась тишина, и сержант зачитал из книги длинный отрывок. Даже лицо швейцарского капрала приняло встревоженное выражение; только Реддингер, которому эта декламация, собственно, и была адресована, слушал ее с пренебрежительной ухмылкой — очевидно, он ни слова не понимал.

После окончания странной церемонии события начали разворачиваться в ускоренном темпе. Сержант подошел к Реддингеру, чтобы схватить его за грудки, но получил такой удар кулаком, от которого длинный козырек съехал ему на глаза. Тут возникла большая свалка, но, хотя удары сыпались градом, понадобилось еще много времени, прежде чем буяна усмирили и уволокли. Маленький сержант самолично подготовил финал: он, как матадор перед решающим поединком с быком, велел своим людям податься назад и оказался лицом к

лицу с Реддингером. Тот, видимо, умел наносить удары только сверху вниз; и замахнулся... но сержант, отпрыгнув назад, коротким, натренированным движением ноги ударил его... Коварный удар вышколенного фехтовальщика пришелся чуть ниже желудка и опрокинул охнувшего Реддингера на песок. Его схватили и отбуксировали в одну из больших башен, которую еще долгое время окружала улюлюкающая толпа.

Швейцарский капрал заметил, что наш парень держался молодцом, но военного трибунала ему, видно, не избежать.

11

Поскольку наше маленькое сообщество путешественников так неожиданно распалось, я решил побродить по форту на собственный страх и риск, чтобы поближе с ним познакомиться.

Потасовки и злоупотребления были здесь делом обычным: то тут, то там образовывалось скопление людей, и в дело вмешивались патрульные. Основная причина столкновений заключалась в том, что отслуживших легионеров отпускали восвояси в изношенном до дыр синем обмундировании, и они всеми правдами и неправдами пытались пополнить свой гардероб. Это были, по большей части, *тертые калачи*, чьи глаза так и рыскали по сторонам в поисках добычи. Едва высмотрев человека, у которого еще сохранялся хоть какой-то остаток приличной одежды, ветераны старались затащить его в угол и там — отчасти уговорами, отчасти угрозами — принудить к обмену. Хотя бы ради того, чтобы от них отвязаться, стоило согласиться на сделку. Я в результате выменял пару солдатских ботинок и синий фланелевый мундир, да еще получил несколько франков.

Приспособившись таким образом к окружающей среде, я мог теперь спокойно передвигаться и для начала взобрался на *отвернувшийся от суши* бруствер стены, чтобы полюбоваться морем.

Моим глазам открылся великолепный залив. Он был охвачен широким полукругом белых гор, а в середине из воды вздымались скалистые острова. На одном из островов высился старый замок, построенный в том же стиле, что и наш форт.

Вид этого ландшафта привел меня в необычайно приподнятое состояние духа. Да и солнце начало припекать так приятно, что из трещины в кладке даже высунулась маленькая ящерка — ярко-зеленое существо с красной полосой на спине. Следуя решению, принятому мной на проселочной доро-

ге у Трира, я схватил ящерицу и спрятал в пустую пачку от сигарет, чтобы позднее спокойно ее рассмотреть.

Занимаясь этим, я выпустил из поля зрения рюкзак, лежавший на камнях у меня за спиной. А когда обернулся, с изумлением обнаружил, что он, как и моя шляпа, бесследно исчез. Меня испугала, собственно, не столько сама пропажа, сколько почти волшебный способ исчезновения вещей: ведь я не слышал шагов, не увидел даже тени приближающегося человека... Но вскоре я понял, что этот форт — сборный пункт самых искусных карманников со всей Европы.

Вскоре оказалось, что понравившаяся мне площадка с прекрасным морским видом имеет и другие негативные свойства. Служащие гарнизона постоянно шныряли здесь в поисках рабочей силы; пока я горевал над пропажей рюкзака, меня окликнул какой-то каптенармус и повел в грязный двор между двумя башнями. Там он прихватил еще маленького итальянца и сунул каждому из нас по метле, объяснив знаками, что нужно вымести этот двор до блеска. Мы, хочешь не хочешь, принялись за работу; правда, в первый же миг, как остались без надзора, бросили метлы и отправились своей дорогой. Однако сразу угодили в лапы повара, который привел нас в подвал, велел наполнять там мешки репчатым луком и оттаскивать их к нему на кухню. После он еще всучил нам большой котел, из которого нужно было раздать обед арестантам.

Во время одного из таких вынужденных походов я встретил Пауля, который с двумя товарищами шатался без дела и, услышав о моих злоключениях, вдоволь посмеялся над ними. Он сообщил, что наверху, за большой башней, основательно рассчитался с Франке за маленького Якоба и даже забрал у него плащ (что я вполне одобрил). Поскольку Пауль сразу же продал эту добычу какому-то старому вояке, он выдал мне два франка в качестве моей доли. В таких вещах он был человеком честным, как и полагается настоящему вожаку.

Кроме того, он дал мне несколько полезных советов, из которых следовало, что он не только уже вполне освоился в форте, но и изучил все уловки, с помощью которых можно уклониться от работы. Здесь прежде всего нужно притворяться глухим, потому что парни, которые тебя окликают сзади, слишком ленивы, чтобы пересечь весь плац и всегда лишь издали жестом подзывают тех, кто настолько глуп, чтобы обернуться на оклик. Здесь также имеется два укромных местечка: одно на валу, где написано "Проход запрещен" и где можно безмятежно лежать на солнышке. А если завелись деньжата, можно сходить во второе такое место, в столовую: там платежеспособный гость чувствует себя как у Христа за

пазухой. И еще Пауль познакомился с несколькими *ловкими парнями*; меня он пригласил заглядывать по вечерам в их общую спальню, да и в столовке подсаживаться к ним за стол — тогда, дескать, мне не придется скучать и чем промочить горло тоже найдется.

— Потому что я назначил себя *главным за столом*, — пояснил он, видимо, имея в виду, что стал председателем одной из тех разношерстных компаний, которые по удару колокола собирались на трапезу в нижних помещениях форта.

Эти советы — как и все другое, что говорил Пауль, — показались мне вполне практичными, и я не преминул ими воспользоваться, при первой же возможности укрывшись в столовой. Там я уселся за стол в оконной нише, которая была устроена в толще стены и располагалась так низко над морем, что я чувствовал, как волны ударяют о стену.

За тем же столом сидели два парня. Один — совершенно павший духом ландскнехт с лицом, напоминающим череп. Его, похоже, лихорадило: глаза у него блестели, а руки дрожали так сильно, что он едва мог пригубить стакан. Другой, в костюме из дорогой тонкой ткани, безучастно что-то бубнил себе под нос.

Решив, что сейчас самое время рассмотреть пойманную на бруствере ящерицу, я извлек маленькое существо из сигаретной пачки и посадил себе на ладонь. Мое действие тотчас привлекло внимание хорошо одетого молодого человека, который до сих пор, казалось, не замечал меня, — он сказал, что это очень красивый экземпляр, который почти не встречается по ту сторону Альп.

— Но, — добавил он с печальной улыбкой, — от такого хобби вам теперь придется отказаться.

Я ответил, что не вижу для этого причин, ведь тут требуются лишь хорошие глаза, — и между нами завязался разговор.

Леонард — под этим именем представился мне новый знакомый — ощущал себя, очевидно, в положении человека, который вдруг проснулся в каком-то жутком окружении и чья последняя надежда заключается в том, что все это окажется сном. Рассказ его был путаным и бессвязным, но он очень радовался, что нашел хоть кого-то, с кем вообще можно поговорить, и после многочисленных повторений я все-таки кое-что понял.

Леонард учился во Фрайбурге. Родители его умерли, но у него был старший брат, с которым, как он выразился, его связывали тесные дружеские отношения и в семье которого он обычно проводил каникулы. Он верил в эту дружбу и во время последних осенних каникул, пока — несколько дней назад —

не случилось событие, которое выбило его из привычной колеи и, кажется, полностью изменило свойственное ему прежде отношение к жизни. О сути происшедшего он умолчал, а из его намеков я понял лишь, что он собирался из темной прихожей открыть дверь в столовую, где его ждали к ужину, как вдруг — снаружи — услышал слова, которые его насторожили. Оставшись стоять за дверью, он подслушал весь разговор между братом и его женой; и услышанное подействовало на него так, словно его нежданно ударили обухом по голове.

Я возразил, что чья-то беседа, сама по себе, все же не может быть настолько значимой. Леонард бросил на меня такой взгляд, будто я на мгновение пробудил в нем проблеск надежды, и потом сказал:

— Знаете ли, в каждом человеке есть, позволю себе так выразиться, *последняя правда*, которую он сам не знает или не признает и даже никогда о ней не догадывался. И если эта правда случайно открывается вам, у вас будто почва из-под ног уходит. Вы словно обрушиваетесь в пропасть, как лунатик, которого неосторожно окликнули. Такое со мной и произошло в тот вечер: я слышал, что они говорили, как в страшном сне. И я, в чем был, поспешно схватил деньги и без пальто и шляпы выскочил из дому. Потом поймал первую попавшуюся машину, пересек границу и поехал дальше, в Париж; там я провел несколько безумных ночей. И если вы спросите меня, как я попал в это вот место и в эту компанию, я не смогу вам ответить. Я сам не знаю.

Взгляд его задержался на старом пропойце, которого сотрясал очередной приступ лихорадки, и я испугался, что сейчас увижу, как он расплачется. Он, казалось, пребывал в том состоянии нереальности, которое размещается между двумя моментами опьянения. Здесь, стало быть, я столкнулся с примером вербовки, какой она описывается в книгах.

У Леонарда было умное, но расслабленное лицо, в чертах которого выражалась болезненная чувствительность; лица такого типа нередко можно встретить на юге нашей страны. В нем ощущалось чрезвычайное добродушие, и вместе с тем, как я заметил позднее, — подспудный жар, свойственный баденскому вину. Он, безусловно, получил хорошее образование — правда, такого рода, какое приобретается в тепличных условиях и которое в трудных ситуациях, вместо того чтобы защитить от боли, только усиливает ранимость. Хотя Леонард часто употреблял слова, которые меня раздражали (например, "гармония", "родство душ" и тому подобное), мне его все-таки было жаль, и я решил взять его под защиту. Мы расстались, договорившись встретиться вечером.

Теперь я попытался отыскать то место на верхнем валу, о котором говорил Пауль, и мне удалось это сделать, не попавшись надсмотрщикам в форме, которые рыскали по форту в поисках послушных рабов. Пройдя по узкому проходу, я попал к обращенной в сторону моря бойнице, которая представляла собой скрытый наблюдательный пост. Здесь я вернул ящерице свободу. Отсюда открывался еще лучший вид, нежели с нижнего бруствера, а изгиб вала заслонял остальную часть форта. Это уединенное место, казалось, предназначено именно для того, чтобы я мог без помех погружаться в свои грезы: и я представил себе, что весь мир обезлюдел. При этом чудесным образом проступило Безмолвное. Чему способствовали, пожалуй, здешние обнаженные горы и море, на недвижной поверхности которого не сверкал ни единый парус. Медленно и с нарастающим наслаждением разглядывал я каждую складку горной породы, каждую деталь очертаний островов и бухт.

Этот ландшафт обладал большой духовной силой и, закругляясь, образовывал волшебное кольцо, с помощью которого я без труда вызвал Доротею. У меня, с тех пор как в Вердене я подошел к полицейскому, не было возможности сосредоточиться, и я чувствовал, что нуждаюсь в ободрении. Особенно ослабил меня разговор с Леонардом. До встречи с ним события носили характер какого-то веселого приготовления, и даже то обстоятельство, что швейцарский капрал задержал нас на вокзале, воспринималось как часть игры. Однако после недавнего соприкосновения с чужим горем меня на мгновение охватил неведомый прежде страх: будто земля внезапно утратила твердость, и мне мешает уверенно шагать по ней опасение, что здесь начинается трясина...

В тот день Доротея показалась мне более близкой, более телесно-осязаемой, чем обычно, и жаль, что разговор, состоявшийся между нами (как и все связанные с ним обстоятельства) сохранился в моей памяти столь неотчетливо. Я удивился, что она сразу заняла позицию *против Леонарда*, потому что ждал скорее обратного. Тем не менее она посоветовала мне избегать общения с ним, более того, относиться к его переживаниям с иронией — как и вообще я заметил в ней стремление укрепить мою гордость. Часто у меня возникало чувство, что она подталкивает меня к *чудовищному*. В любой дружбе, в любой любви одновременно заключена и жестокость — заключена попытка ограбить мир. Как можно расстраиваться из-за Леонарда, убеждала она меня, если он оказался здесь лишь потому, что спасовал перед дулом пистолета. *Близость смерти* пугает его — и именно с этим, а вовсе не с положением, в ко-

тором он оказался, связан постоянно испытываемый им страх. Именно по этой причине усилия высших сил, которые уже спешили ему на помощь, оказались тщетными.

Когда Доротея упомянула пистолет, я сразу догадался, что она, помимо прочего, намекает на мою первую пробную стрельбу; и она в самом деле велела мне в будущем избегать подобных игр, поскольку-де в них скрыто опасное колдовство. Но еще более примечательным, чем упоминание моих личных обстоятельств, мне показалось конкретное сообщение, которое она к нему присовокупила:

— Выбрось револьвер в море — старьевщик продал тебе оружие с негодным предохранителем!

Такое предупреждение чрезвычайно меня обрадовало, и на то имелась причина. Я страстно желал, чтобы Доротея приобретала связи с предметным миром: мне казалось, что каждое ее соприкосновение с ним будет повышать надежность наших с ней отношений. Я сунул руку в карман и вытащил револьвер. Поставив его на предохранитель, я спустил курок — и тотчас действительно грянул выстрел, громкий звук которого эхом отозвался в узком крепостном рву.

Странно, что до сих пор еще не стряслось беды с этим оружием, которое я теперь швырнул вниз со стены, словно какую-то опасную тварь, и оно, взметнув фонтанчик брызг, погрузилось в синюю воду.

12

Как было сказано, я лишь неясно помню подробности этого разговора. Позже, когда я размышлял о нем, мне иногда казалось, будто он с самого начала *подводил меня к выстрелу*.

Во всяком случае, непосредственно после выстрела из-за изгиба вала вынырнул невысокий, изящный человек в офицерском мундире. Очевидно, его привлек шум, ибо он сразу спросил на беглом, хотя и чужеродном немецком:

— Молодой человек, вы что здесь — в стрельбе упражняетесь?

Услышав вопрос, я смутился, решив, что офицер хочет привлечь меня к ответственности. И пробормотал, что выстрел, дескать, "случился по недоразумению".

Однако пришелец, похоже, преследовал другие цели, ибо он сел напротив меня на край амбразуры и завел разговор о ландшафте.

— Вы выбрали, — сказал он, — наилучшее место для созерцания залива. Правда, с колокольни собора Нотр-Дам де ля Гард, которая служит ориентиром для кораблей, вы могли

бы обозреть более широкую панораму, но тогда упустили бы из виду детали. В своих плаваниях я посетил много красивых гаваней, однако здешняя, думаю, ни в чем им не уступает. Эта гряда гор, которая охватывает бухту, напоминая выпуклый край раковины, представляет собой отроги Приморских Альп... А белая крепость вон на том маленьком острове, напротив нас, называется Замок Иф. Вам, наверное, знакомо это название?

Мой ответ — что я помню его по "Графу Монте-Кристо", — кажется, обрадовал офицера.

— Ага, вы начитанный человек... я почему-то сразу так и подумал. Позвольте взглянуть на ваши руки!

Не дожидаясь ответа, он схватил мою правую ладонь и принялся с большим вниманием ее изучать. При этом он продолжал:

— Граф Монте-Кристо, конечно, всего лишь литературный персонаж. И все же вам там покажут даже подземный ход, прорытый аббатом Фарина. А дальше вы можете видеть еще один литературный остров — на нем стоит форт Ратоно[1].

Я и на сей раз угадал, что он имеет в виду, и незнакомцу это, кажется, понравилось.

— Как я вижу, вы хорошо информированы; правда, делами, от которых грубеют руки, вам до сих пор заниматься не приходилось. Если не возражаете, я бы хотел пригласить вас на чашку чаю; я живу в нескольких шагах отсюда.

Хотя особого желания идти с ним у меня не было, я счел невежливым отклонить это приглашение. Я последовал за незнакомцем, и мы, перебравшись через крепостной ров, попали в сводчатое помещение, в котором хранились всевозможные зеркала и инструменты. К нему примыкала небольшая жилая комната, обстановка которой состояла из множества книг и нескольких предметов мебели в мавританском стиле.

Мой хозяин возился с самоваром, стоящим на табурете, а мне предложил тем временем выкурить сигарету и осмотреть его книги. Он продолжал беседу и вместе с тем наблюдал, какие книги я беру с полки. Попутно я услышал от него ряд любопытных суждений: например, что во Франции особенно ценят "Путешествие по Гарцу"[2], что у Гёльдерлина французов восхищает "clarté"[3], а у Гофмана, наоборот, — нарочитая искусность повествования. Увидев, что я листаю ла-

1. Имеется в виду новелла Ахима фон Арнима (1781—1831) "Одержимый инвалид в форте Ратоно" (1818).
2. "Путешествие по Гарцу" (1826) — путевые заметки Генриха Гейне.
3. Здесь: ясность изложения; прозрачность (*франц.*).

тинский перевод Гиппократа, он попросил меня прочитать ему вслух один абзац и вовлек меня в разговор о том, следует ли произносить occiput[1] или occipút, как принято во французских гимназиях. Таким манером он осторожно меня прощупывал.

Когда я уже сидел за столом напротив него, он стал угощать меня засахаренными фруктами, которые, по его словам, выписал из Константинополя.

— Париж и Стамбул: единственные места, духовная атмосфера которых мне по душе... Ну, может, еще южная часть Сицилии и Испании и лежащее напротив них африканское побережье. В вашем возрасте я некоторое время болтался по Средиземному морю на небольших парусных судах, которые с грузом вина и оливкового масла плывут от одного острова до другого; работая на них, можно узнать это море со всеми потрохами.

Пока он все это рассказывал, продолжая искусно меня проверять, я смог наконец присмотреться к моему новому знакомому. Я обратил внимание, что его манера вести себя, двигаться и говорить находится в явном противоречии с мундиром — несоответствие было настолько сильным, что человек этот производил впечатление ряженого. На вид ему было лет около сорока пяти, он сутулился и, хотя сидел сейчас в теплой комнате, мучился от озноба. На его худом лице мое внимание в первую очередь привлекли глаза: они были почти совершенно черные и словно покрытые лаком; зрачки же, казалось, реагировали не на изменение освещения, а на перепады тепла и холода. То, что он говорил, звучало очень определенно, и, хотя ему часто приходилось подыскивать слова, получалось так, что благодаря вынужденному переводу на неродной язык его речь только выигрывает. С этим левантийским умением легко преодолевать всяческие границы сочеталась странная и симпатичная мне меланхолия, которая вновь и вновь овладевала моим собеседником и лишала его сил в тот самый момент, когда он замолкал. Он, между прочим, отрекомендовался доктором Гупилем и сказал, что зачислен в гарнизон военным врачом.

Я подумал, что, приглашая меня на чай, он, очевидно, преследовал какую-то цель; так оно и оказалось. Но он не пожалел времени, чтобы основательно меня расспросить, и ему это мастерски удалось — по крайней мере, он узнал обстоятельства моей жизни и дальнейшие планы.

1. Затылок (*лат.*).

Уяснив себе наконец мой случай, он с видом врача, который, уже отложив инструменты, выписывает рецепт, сделал предложение, изумившее меня:

— Дорогой господин Бергер, вы сейчас в том возрасте, когда переоценивают реальность того, о чем говорится в книгах. География чудесна, но поверьте мне: прогулки такого рода удобней всего предпринимать, уютно устроившись на диване и покуривая турецкую сигарету. Вы ожидаете удивительных приключений? Причастности к волшебству, к изобилию экзотической природы? Так вот, там, на юге, вы ничего этого не найдете... Если, конечно, не сочтете приключениями феномены, которые распространены повсеместно: лихорадку, скуку и тоску — одну из худших форм горячечного бреда. Вы не найдете никого, кто мог бы лучше, чем я, рассказать вам о таких вещах. Я здесь обследую каждого, кто впервые отправляется на службу, и каждого, кто возвращается. Поверьте мне: тот, кто оттуда возвращается, настолько изношен — изнутри и снаружи, — что *перелицевать* его не под силу никакому портному.

При этих словах он сделал одно из движений, свойственных представителям его расы — как будто растер что-то между пальцами, — и потом продолжил:

— Вы еще слишком молоды, чтобы понять: вы оказались в мире, сбежать из которого невозможно. Вы надеетесь открыть в нем для себя необыкновенные вещи, но не найдете ничего, кроме убийственной тоски. Сегодня в мире нет ничего, кроме эксплуатации, а для человека, который обладает особыми наклонностями, придуманы еще и особые формы эксплуатации. Эксплуатация — вот подлинная форма, великая тема нашего столетия, а тот, кто еще имеет другие идеи, становится ее жертвой легче, чем все прочие. Колонии — это тоже Европа, маленькие европейские провинции, где сделки совершаются чуть более открыто, с меньшими околичностями. И вам, дорогой Бергер, не удастся проломить стену, о которую уже разбился Рембо. Поэтому возвращайтесь-ка к своим книгам и сделайте это поскорее, прямо завтра!

Гупиль произнес эти фразы очень убедительно и с интонацией, которой в нашем языке не существует.

— Обратите особое внимание на то, что я вам скажу сейчас: завтра с утра в большой казарме состоится последнее освидетельствование в присутствии коменданта — чистая формальность, просто чтобы заполнить графу в документах на транспортировку. Когда очередь дойдет до вас, я поставлю под сомнение вашу пригодность; тогда вы сразу же громко объявите, что вам еще не исполнилось восемнадцати, и буде-

те на этом настаивать. Таким образом, отпадет законное основание удерживать вас здесь; но стоит вам оказаться в Африке, и до вас больше никому не будет дела.

Пожалуйста, помните: вы сейчас в опасном положении, и я понимаю это лучше, чем вы сами. Я смотрю на вас как на человека, который вот-вот исчезнет в темных воротах; я окликаю вас, пока не поздно; вы еще поблагодарите меня за это.

Он протянул мне руку, и я пожал ее.

13

Попрощавшись с ним и спустившись во двор, я стал раздумывать над его словами.

Больше, чем его предложение, меня удивила сама наша встреча: ибо участие, которое проявляет к нам незнакомый, случайно встреченный человек, характеризует прежде всего его самого; в докторе, выходит, еще сохранялся последний остаток старого доброго гостеприимства.

Должен признаться, что данное мною обещание с первой же минуты не давало мне покоя. Я не хотел, чтобы мое начинание закончилось столь примитивным образом.

Погрузившись в мысли об этом, я совершенно забыл о необходимой здесь бдительности и угодил в лапы того самого унтер-офицера, ответственного за кухню, от которого сбежал утром. Я и подумать не успел о путях спасения, как он уже зацапал меня и поволок за собой в кухню, где нагрузил котлом, полным чечевичной похлебки. Повязав мне еще и грязный фартук, он повел меня в одно из нижних помещений форта, откуда доносился страшный гвалт.

Здесь мы встретили настоящую банду разбойников, переговаривающихся на всех языках мира. Во главе длинного стола, между двумя подозрительного вида итальянцами, восседал Пауль, который откровенно высмеял мое облачение; на противоположном конце я углядел Леонарда, отрешенно сидящего перед ржавой миской.

После того как унтер-офицер раздал хлеб из большой корзины, я должен был каждому налить в тарелку по полному половнику супа, и поднялся крик, поскольку парни были требовательными, как князья, а порции — скудными. Когда очередь дошла до Леонарда, я, чтобы хоть немного его подбодрить, отвалил ему два половника с верхом, так что чуть не переполнил тарелку. Тотчас возник такой переполох, будто кого-то прикончили: куски хлеба, миски и обглоданные кости так и летали по воздуху, и даже унтер-офицеру с Леонардом перепала часть этих зарядов. Я воспользовался дождем

из объедков, чтобы сорвать с себя фартук и дать дёру. Поскольку после такой бучи мне показалось небезопасным оставаться в столовой, я купил бутылку вина и осторожно пробрался на свое место у бруствера.

Тем временем уже взошли звезды; они были крупнее и ярче всех звезд, какие я когда-либо видел, и их мерцание отражалось в глубинах моря. Вино придало мне решимости, и я почувствовал нарастающее желание послать к черту предостережения Гупиля: я их воспринимал теперь как посягательство на мою свободу. Наверное, все-таки возможно, думал я, *жить, как живут животные и растения*: без чьей-либо помощи, без денег, без хлеба, безо всего, что создавала или к чему прикасалась рука человека, — только благодаря собственной внутренней силе. Как любому подростку, мне всегда было непонятно, почему Робинзон вернулся со своего острова. *Нужно жить, как корабль*: иметь на борту все, что нужно, и всегда находиться в боевой готовности. В приступе мальчишеской заносчивости я допил вино до последней капли, а бутылку зашвырнул в море.

Когда я соскочил с бруствера, чтобы вернуться в форт, взгляд мой упал на какой-то белый предмет, мерцающий в лунном свете. Я поднял его и увидел, что это моя африканская книга. Вырванная из переплета, помятая, она валялась на камнях. Тот, кто так ловко избавил меня от забот о моем рюкзаке, наверное, не нашел для нее никакого применения. Я мгновение подержал ее в руках и затем бросил в воду вслед за бутылкой.

В форте уже все затихло, и мне было нелегко отыскать дорогу к той общей спальне, где меня ждал Пауль. Когда я шел по крытому проходу, через который утром мы выбрались наверх, в неверном свете фонаря я заметил маленькое оконце, прорубленное почти у самого основания большой башни. Отверстие было забрано решеткой, каких нынче уже не куют: толстые четырехгранные пруты в местах пересечения для прочности еще и скреплялись железными кольцами.

Эта нора была обитаемой: остановившись, я увидел две вцепившиеся в прутья руки. Тотчас вынырнуло и лицо узника, который там, внутри, подтянулся на руках. Хотя лицо от напряжения исказилось, я узнал ужасного Реддингера, который, точно второй Михаэль Кольхаас[1], сидел здесь под замком из-за истории с сапогами. Самоуверенность быстро привела его к плачевному финалу, что неудивительно, если ты не

1. Персонаж одноименной повести Генриха фон Клейста (1777–1811), барышник, ставший предводителем разбойников.

знаешь другого средства общения с людьми, кроме как колошматить их по голове.

И все же он не казался очень подавленным, поскольку продолжал изрыгать угрозы; он обвинял также Пауля и меня за то, что мы не бросились вместе с ним в атаку, и, явно преувеличивая наши возможности, заявил, что вместе мы бы обратили французов в бегство — как Блюхер[1] под Ватерлоо. Я, конечно, считал, что он не совсем неправ — мы, по крайней мере, могли бы попытаться его поддержать; но сказал себе в оправдание, что в своем буйстве он зашел слишком далеко. Это вызвало у него одобрительную ухмылку.

Чтобы сделать ему приятное, я попросил его подождать и притащил из столовой две бутылки вина, сигареты и спички, которые просунул через решетку. Мне было его отчасти жаль, а отчасти положение, в котором он оказался, представлялось мне не лишенным притягательности, потому что к особым желаниям, издавна меня занимавшим, относилось и такое: чтобы когда-нибудь меня посадили в темницу (чем древнее она будет, тем лучше), из которой я потом сбегу через подземный ход. Что касается этой средневековой тюрьмы, то пришлось бы долго рыскать по всей Европе, чтобы найти другую, лучшую, — вот только я полагал, что Реддингеру в его теперешнем положении не хватает чувства собственного достоинства. Я предпочел бы увидеть его предающимся благородной скорби. На мой вопрос, как там внутри, он вдруг опять взъярился и заявил, что, дескать, нет здесь ничего, кроме крупных, как морковки, клопов. Но вскоре нам пришлось оборвать разговор, потому что долго висеть, подтянувшись на слабеющих руках, он не мог.

В столовой я увидел Леонарда, который с неподвижным взглядом сидел перед очередной бутылкой. Он был недоволен моей недавней выходкой и показал мне синяк — результат попадания в руку бараньей кости. У меня создалось впечатление, что он охотно втянул бы меня в долгий ночной разговор о своих злоключениях; можно сказать, он уже начал подготавливать для этого почву, но у меня не было желания участвовать в столь тягостном ритуале. Мне скоро удалось уговорить его проводить меня в общую спальню, хоть он и заявил, что там вечно творятся всякие безобразия, которые портят ему настроение.

1. Гебхард Леберехт фон Блюхер (1742–1819) — прусский фельдмаршал, участник наполеоновских войн, командующий прусскими войсками, победитель при Ватерлоо (1815).

Он привел меня в длинное, голое помещение, почти полностью занятое двумя рядами деревянных нар, с узким проходом между ними. Мы застали там давешнюю застольную братию: большинство парней сидели на нарах; другие уже спали, закутавшись в одеяла.

Было тихо, поскольку Пауль как раз разыгрывал перед сидящими одно из своих представлений, обычно помогавших ему утвердить себя, когда он оказывался в новой компании. Когда он закончил, снискав громкие аплодисменты, начали выступать и другие умельцы, внося свой посильный вклад в создание уютной атмосферы. Так, один фламандец с прыщавым лицом чрезвычайно развеселил собравшихся, прочитав пародийную проповедь, из которой вряд ли можно было понять хоть что-то, кроме часто повторяющейся формулы: "Godverdimme, Godverdomme, Godverdamme" ("черт побери, черт подери, черт возьми"). При этом он так искусно передавал сакральную интонацию, что в нем безошибочно угадывался сбежавший семинарист.

Потом начались разговоры, и меня поразило, что речь идет почти сплошь о таких вещах, о которых в других местах умалчивают. По ходу этих разговоров будто проглядывала *подкладка человеческого общества*, и я присутствовал при своеобразном саморазоблачении, какое в обычной среде можно наблюдать очень редко. Например, в этой компании был почтальон, который потешался над людьми, вкладывающими деньги в конверты, и бахвалился, что от его чувствительных пальцев не ускользнет ни единый пфенниг.

Этот почтальон также выразил мысль, что надо бы раздобыть выпивки, и, встретив всеобщее одобрение, безотлагательно отправился за добычей. Похоже, он умел подбираться не только к письмам, но и к любому замку, ибо не успели мы досчитать до ста, как он вернулся с огромным жестяным бидоном, полным вина, похищенным из запертой кухни, а в качестве закуски раздобыл еще и мешок сухарей, который волок за собой.

Хотя мне не было жаль унтер-офицера, надзирающего за кухней, я решил, что сейчас самое время подумать о собственной безопасности. Леонард исчез еще во время дурацкой молитвы. Поскольку все кинулись к бидону с вином (и оба итальянца, прибывшие, кажется, прямиком из Абруццо, сразу сунули туда свои отросшие за время путешествия бороды), на нарах освободилось достаточно места. Я отыскал себе уголок у самой дальней стены и там закутался в одеяло.

Укрытие оказалось тем более удачным, что я смог спрятаться за спиной кого-то другого, кто уже приготовил себе

удобное лежбище. Это был человек лет двадцати пяти, одетый в полосатый холщовый костюм, какие во время работы носят каменщики. Он лежал на спине и, не обращая внимания на шумную попойку, читал французское издание "Отверженных" Виктора Гюго. Когда он приподнялся, чтобы скрутить себе папиросу, я вспомнил, что заметил его лицо еще утром, во время рукопашной схватки. Он, должно быть, относился к числу *старослужащих*, поскольку у него было опустошенное, похожее на череп лицо, как у них всех. Тем не менее черты этого лица показались мне чрезвычайно привлекательными: в них чувствовалась открытая и дерзкая мужественность. Такие лица с первого взгляда нравятся детям и служанкам.

Прежде всего меня поразили его глаза: они отличались необычной голубизной. Хотя голубые глаза, как правило, менее выразительны, чем темные, иногда встречаются исключения: голубые глаза, обладающие глубинной, властной силой. Так было и в этом случае: когда он взглянул на меня, мне сразу представился грот, освещенный внутри и неодолимо привлекательный.

С лицами дело обстоит как с картинами: хотя они часто нравятся нам с первого взгляда, мы лишь позднее распознаем заложенные в них закономерности. Сегодня мне кажется: притягательная сила, свойственная этому человеку, основывалась на том, что в нем совершенно не чувствовалась склонность к подчинению. А такое встречается крайне редко — если, конечно, не учитывать детей, еще не научившихся говорить. *Склонность к подчинению* не имеет ничего общего с социальным положением; она есть не что иное, как утрата изначально присущей человеку стихийной силы — и, соответственно, его потребность любой ценой обрести зависимость от какой-то высшей инстанции. Человек капитулирует так же, как крепость: после того как стены ее проломлены, она вскоре становится *общедоступной* в каждой своей точке, и в ней уже не найдешь ни силы, ни тайны.

Мне хотелось втянуть соседа в разговор, и я поинтересовался, что это сегодня утром сержант нам зачитывал. Сосед сунул книгу себе под голову, повернулся ко мне и ответил, не вдаваясь в подробности:

— Ничего особенного: тому, кто пылает праведным гневом, на все вокруг наплевать.

Воспоминание о той сцене, видимо, развеселило его, ибо он вдруг от души рассмеялся.

— Забавно смотреть, как двое столь разных партнеров колошматят друг друга. А то, что учинил коротышка, называет-

ся *фехтованием ногой* — это искусство практикуется в здешних предместьях, где для него и придумали такое название.

Из его коротких замечаний я сделал вывод, что мой собеседник — человек, обладающий жизненным опытом. Поэтому я воспользовался случаем, чтобы обсудить с ним идею, которую до сих пор утаивал от других своих новых знакомых, и спросил напрямик: можно ли там, на юге, жить, питаясь только *дикими плодами земли*. Хотя сперва он не понял меня, он все-таки внимательно слушал то, что я начал говорить о моллюсках, грибах и ягодах.

— Ах, вот ты о чем! — прервал он наконец мой рассказ, поудобнее вытянувшись и с любопытством меня разглядывая. — Ты, верно, решил составить конкуренцию святому Антонию? Мысль действительно недурная. Однако дело обстоит не так просто. Я тоже однажды худо-бедно продержался неделю на виноградных гроздьях и арбузах, которые таскал из садов, принадлежащих маврам, но в конце концов человеку от такой пищи становится худо. Саранчу там, правда, едят еще и сегодня: если ее поджарить, она довольно вкусная — что-то вроде приправленного перцем соленого миндаля.

Я с удовольствием отметил, что он тоже обдумывал такую возможность, и попытался разговорить его.

— Мы могли бы попробовать осуществить это вместе, когда окажемся там. Правда, я собирался на сей раз дослужиться до капрала, но, в конце концов, такое желание — чушь собачья. Нам придется кое-что прихватить с собой: без огня, соли, табака и огнестрельного оружия далеко не уйдешь.

Я тут же возразил, что табак — это лишнее; что соль можно добывать из морской воды, а вот для разведения огня нужно взять в дорогу какой-то инструмент, лучше всего — зажигательное стекло.

Мысль о зажигательном стекле ему, кажется, понравилось. Но табак он считал даже более необходимым, чем пища.

— Соль тоже так просто не добудешь. Конечно, между утесами соли сколько угодно. Однако к берегу можно подойти далеко не везде. Повсюду могучие горы обрываются вертикально в море, а раскаленные камни имеют такие острые грани, что твоя обувка быстро превратится в лохмотья. Там ведь не найдешь, как здесь, проезжих дорог.

Эти замечания — после всего, что днем говорил мне Гупиль, — были для меня как бальзам на душу, и я тотчас постарался уточнить: вообще ли там нет нормальных дорог или мой собеседник сам видел, как в каком-то месте дорога заканчивается тупиком. Моя настойчивость удивила его меньше,

чем я опасался; он начал подробно отвечать на вопрос и рассказал мне еще и о других, не менее странных вещах.

14

— Ты не думай, что придешь там к столбу, на котором написано: "Здесь дорога кончается". Дороги там, конечно, тоже есть, а в Бель-Аббесе[1] даже имеются автомобили и электрический свет, как в Париже. Но существуют местности, совсем недалеко оттуда, где дороги становятся все хуже и хуже, а потом их и вообще больше нет. Я тоже раньше часто думал, как было бы здорово очутиться в месте без дорог: мне казалось, это как когда ты ребенком прячешься в зарослях бузины... Ты бежишь на самый край света — но, в конечном счете, приходишь к выводу, что везде уже кто-то побывал.

Было и в моей жизни время, когда я много ходил пешком, каждый вечер устраивался на ночлег под новым кустом или в новом сарае. У моих родителей — в западной части этой страны — было маленькое садовое хозяйство, хорошее семейное дело, и я тоже им помогал, когда возвращался из школы. А еще мы заботились о кладбищенских насаждениях; я в основном занимался могилами.

Поначалу это доставляло мне удовольствие; работа садовника особенная: ты много времени проводишь в одиночестве и можешь предаваться своим мыслям. На кладбищах масса птиц: дрозды, малиновки, даже соловьи, которые устраивают гнезда в живых изгородях и на туях.

Потом вдруг настроение мое изменилось: появилось беспокойное и странное чувство, будто, оставаясь при своих живых изгородях и клумбах, я что-то упускаю, а что именно — трудно сказать. В ту пору я многое пересаживал: мне казалось, цветы и деревья располагаются не там, где нужно. Растения быстро замечают такое — и уже не растут, как обычно, не доставляют тебе настоящую радость.

В то время я водился с типами, которые носят короткие штаны и береты и распевают старинные песни ландскнехтов — это скучные парни, как из паноптикума. Потом я начал выпивать и проводить ночи с молодыми торговцами в маленьких задних комнатах ресторанов, где за бутылку плохого вина с тебя дерут три марки, зато ты можешь хватать за грудь официанток. Не знаю почему, но на душе у меня становилось

1. Сиди-Бель-Аббес — город на северо-западе Алжира, административный центр одноименных провинции и округа.

все муторней. Наконец, в одно прекрасное утро я перебросил через кладбищенскую стену заступ и садовые ножницы и пустился в путь, куда глаза глядят.

Странствуя, я время от времени заглядывал к какому-нибудь садовнику и спрашивал, не найдется ли для меня работы. Потом перекапывал землю, заботился о деревьях и теплицах — но лишь до тех пор, пока в кармане у меня не заводилось нескольких марок. Иногда мне вообще никакой работы не предлагали, зато подкидывали малость деньжат на пропитание — меня и это устраивало.

Однажды я пересек границу, сам того не заметив, поскольку у нас в Эльзасе дети сызмальства учатся говорить на обоих языках. Я взял себе новое имя, назвавшись Бенуа, Шарлем Бенуа — это имя попалось мне на старом спичечном коробке. Я присвоил его, потому что оно мне понравилось.

В первое время у меня часто случались неприятности с жандармами: свободный человек для них что красная тряпка. Поэтому я опять стал работать, на сей раз у аптекаря, для которого собирал дубовый мох. Этот мох используется в парфюмерии. Заработав двадцать франков, я спрятал деньги за подкладку пиджака и зашагал по проселочным дорогам на юг. Как правило, я под вечер намеренно попадался на глаза какому-нибудь жандарму в треуголке. Он задерживал меня и отправлял в кутузку, а там я частенько находил подобных мне *перелетных птиц*. Я спокойно выхлебывал свой супчик, натягивал на голову одеяло и ждал, пока снова не взойдет солнце.

В первой половине следующего дня задержанных бродяг ведут к мировому судье, так уж положено. Я всегда вежливо выслушивал судью, пока он не заканчивал свою проповедь. Когда же он собирался произнести приговор — восемь суток ареста за бродяжничество, — я спокойно извлекал из-за подкладки пиджака свой золотой и показывал его. Золото — волшебное средство; глупец, кто над этим смеется. В зале всегда возникало волнение, словно в театре, собравшиеся взирали на меня чуть не с умилением, а жандарм в треуголке получал причитающийся ему нагоняй: "У этого месье есть законные средства к существованию; месье вправе идти, куда ему заблагорассудится".

Так я ушел далеко на юг, живя на проценты со своей золотой монеты. Этот край походил на музыку, которая становится все прекраснее, и сам я тоже радовался все больше и больше. Однажды вечером, недалеко от Экса, я, как обычно, высматривал жандарма, чтобы он задержал меня, но ни одна треуголка в поле моего зрения не попадала. Между тем я обогнал одного субъекта, который передвигался с помощью двух палок — я еще издалека слышал, как он пыхтит и свистит,

точно паровой котел, у которого вышли из строя вентили. Калека обратился ко мне и спросил, далеко ли до Марселя — он, дескать, хочет лечь там в больницу, да только боится, что раньше окочурится. Я показал ему дорогу и прошел еще какой-то отрезок пути в поисках куста, под которым мог бы переночевать. Здесь на юге теплые ночи: ты до самой осени спишь на земле с бóльшими удобствами, чем в кровати.

Проснувшись поутру, я опять услышал где-то позади пыхтение и хрипы. Тот субъект, видно, шагал всю ночь, но еще не успел догнать меня. Приблизившись, он тут же начал жаловаться и стонать, а меня замучил вопросами, как я думаю — достанется ли ему койка в больнице... Всегда происходит одно и то же: сперва тебе целого света мало, а под конец ты рад-радешенек, если нашел спокойное местечко, где можешь околеть. Теперь я разглядел, что лохмотья этой старой развалины украшены полудюжиной медалей на выцветших лентах: старик отличился в Марокко, в Сахаре, на Мадагаскаре, на Дальнем Востоке.

"Я состарившийся на службе солдат: я отдал Иностранному легиону пятнадцать лет жизни, больше у меня ничего не осталось. Коли они начнут к тебе приставать, бери ноги в руки и сматывайся: чем попасть к ним, лучше уж сразу — к черту в лапы!"

А мне будто только того и надо было: я давно хотел найти человека, который покажет мне дорогу в ад. Я направился прямиком в Марсель и завербовался сразу же, в день прибытия...

После я часто задавал себе вопрос: почему этот старый ворчун перебежал мне дорогу и оставил в наследство свою жизнь. Ведь времени, чтобы думать, у меня было предостаточно, пока я утрамбовывал камни на самом юге Алжира. Бывают такие дороги, что вымощены человеческими костями...

Тогда-то я и совершил прогулку по садам мавров. Но, подхватив дизентерию, вынужден был вернуться и потом несколько месяцев провел в лазаретах и тюрьмах. Там я познакомился с тоской и со скукой. В ту пору я еще не знал, что мыслями можно обклеивать стены, как обоями. Теперь-то мне никакая тюрьма не страшна...

Потом они решили от меня избавиться и посадили на транспортное судно, идущее в Аннам[1]. Это страна, располо-

1. Аннам (Протекторат Аннам) — область, занимавшая самую узкую центральную часть современной республики Вьетнам в период французской колонизации Индокитая (1874–1949).

женная между Китаем и Индией, — с болотами, тиграми, рисовыми полями и бамбуковыми рощами. Во время плавания мы проходили Суэцкий канал, там удобнее всего дать деру. Ты просто падаешь в воду и оказываешься на нейтральной территории. Пятнадцать легионеров тогда смылись таким способом — правда, один из них не умел плавать и утонул. Потом они выбрались на берег, вежливо отсалютовали начальству... и больше их никто не видал.

В Сайгоне нас высадили на сушу и разделили на маленькие спецотряды. Там орудовали разбойники, доставлявшие французам много хлопот; их называли *черные флаги*. Их очень трудно обнаружить в джунглях и болотистых местностях, они мгновенно исчезают, а потом неожиданно появляются — как комары. Я там и в вооруженных столкновениях участвовал, это отмечено в моих бумагах, — не один раз. Дурацкая работа: ты стреляешь по кустам, но никого не видишь. Потом сжигаешь две-три деревни и возвращаешься на базу.

В остальном делать было особенно нечего: мы по большей части валялись на кроватях и предавались мечтам. А когда жара спадала, отправлялись в деревню, чтобы выпить вина; у каждого легионера была и своя подружка из местных, стиравшая ему белье. Тамошние женщины ростом не выше наших двенадцатилетних девчушек; они легко покачивались у нас на коленях, когда по вечерам мы сидели в саду, курили и пили рисовую водку, пока из кустов не вылетали большие светляки. Я даже выучил местный язык — это язык сверчков и крапивников.

Однажды вечером, когда я, как обычно, шел с нашей базы к деревне (а идти приходилось по полям, продираясь сквозь зеленые стены), мимо меня промчался какой-то аннамит, а вслед за ним — другой, с тяжелым тесаком в руках, какими здесь рубят сахарный тростник. Тамошних людей, когда они накурятся конопли, порой охватывает кровожадное бешенство, и тогда они бросаются на любого, кто им подвернется, пока их не пристрелишь. Когда этот *бешеный* пробегал мимо меня, я так ткнул его штыком в предплечье, что он мигом выронил тесак и удрал в кусты.

Таким образом, я завел полезное знакомство. Человек, которому я помог, оказался большой шишкой. Ему в той местности принадлежала половина всех рисовых полей. Эти *желтолицые* — вероломная банда, которую уже много столетий допекают китайские наместники. И все-таки кое в чем им можно доверять, ибо они не лишены чувства благодарности. С ними просто надо уметь обращаться. Мой новый знакомый пригласил меня отужинать и накрыл стол по-царски: рагу из различных сортов мяса, с рисом, каракатицы, бамбук и семена лото-

са, имбирь и консервированные фрукты, даже цветы, запеченные в разноцветном сахаре. "На десерт" хозяин курил опиум и предложил покурить мне, как требуют законы гостеприимства. Это там так же принято, как у нас — потчевать гостей после трапезы вишневой водой или лимонадом. Я улегся на циновку и забавы ради выкурил две или три трубки.

Трудно описать, как хорошо стало у меня на душе. Представь себе, что на пути, который ты проходил уже сотни раз, перед тобой вдруг открывается вход в пещеру. Со страхом и любопытством ты входишь внутрь и видишь сокровища, какие можно увидеть разве что на дне моря или в китайском дворце. Ты слышишь там незнакомую музыку, распознаешь значение чуждых слов, встречаешь духов, которые дают тебе объяснения. Ты видишь малое *бесконечно увеличенным*, а большое — *бесконечно малым*; можешь часами рассматривать один цветок или созерцать весь мир — как яблоко, лежащее у тебя на ладони. Ты бродишь по вымершим городам, заполненным дворцами и памятниками, но города эти не по-настоящему вымерли, они только оцепенели. В каждом дворце — тысячи комнат, и в каждой комнате, когда ты туда входишь, оживает свой мир. Куда ни бросишь взгляд, там начинается кишение живых существ. И эти существа — твои слуги, ведь ты вызвал их к жизни своим волшебством. Ты учишься презирать все богатства этого мира, славу, женщин, деньги и человеческую власть, ибо стал *духовным владыкой* в тех царствах, где можешь со своего трона управлять ходом небесных светил и мельчайшими пылинками...

Я бы никогда не подумал, что на Земле имеется такая волшебная травка. С тех пор я каждую ночь курил опиум, деля циновку со своим другом. Потом наше подразделение перевели на другую позицию — дальше, во внутренние районы. Там я завел собственный чайный домик: один из маленьких бамбуковых павильонов, сдаваемых внаем китайцем, который сам тебя и обслуживает. За это ты даешь ему опиум, и он выскабливает твою трубку. Каждая трубка выкуривается за одну затяжку, и в ней всегда остается немного несгоревшего вещества. Я теперь нуждался в деньгах и начал торговать вином, а также собирать бабочек для Штаудингера[1] в Дрездене и для Cabinet Le Moult[2] в Париже. В джунглях летают такие насекомые, за каждого из которых тебе платят по пять фран-

1. Отто Штаудингер (1830–1900) — известный немецкий энтомолог, коллекционер и торговец насекомыми.
2. Кабинета Ле Мульта (*франц.*). Эжен Ле Мульт (1882–1967) — французский натуралист и энтомолог, специалист по бабочкам; коллекционер и один из крупнейших дилеров по продаже насекомых для коллекций.

ков. Я работал с утра до ночи, как машина, пока остальные дрыхли; опиум придает человеку сверхъестественную энергию. Главным образом потому, что ты начинаешь по-другому воспринимать время: оно несется так быстро, будто его больше не существует.

Я замечал это, когда не мог провести ночь в чайном домике, потому что нес службу или стоял в карауле. Тогда я расхаживал по двору нашей базы, взад и вперед, предварительно выкурив пятнадцать или двадцать трубок, — ты видишь, что еще и сегодня щеки у меня совсем впалые. Пока я погружался в свои грезы, могли пройти миллионы лет. Потом я слышал трубу и думал: "Вот играют вечернюю зорю". Но на самом деле это была побудка — миллионы лет для меня пролетали как один миг.

Находясь в своей хижине, я тоже прогуливался по двору и лишь время от времени заходил внутрь и ложился на циновку, чтобы покурить или выпить чаю. Перед верандой летали большие летучие мыши, чуть не касаясь моего лба. В Аннаме их почитают как животных, приносящих счастье. Я также гулял по дорогам, которые ведут через джунгли и по ночам опасны. Однако опиум дает власть: это чует даже тигр и обходит курильщика опиума стороной.

Хочу тебе рассказать, как я проводил эти ночи. Когда я появлялся в своем павильоне, чай и маленького размера утварь, необходимая для курения, были уже готовы. Я переодевался и вдыхал содержимое первой трубки — как человек, которого долго томила жажда. Гораздо легче, скажу я тебе, обходиться без хлеба, чем без опиума. Скоро мною завладевали диковинные мысли. Я ощущал себя мельничным колесом, которое вдруг само начало крутиться, или кораблем, в паруса которому подул ветер.

Между тем я пребывал в раздумьях, как человек, которому принесли много блюд, но он хочет заказать еще и другие, по собственному выбору. Я придумывал себе истории — более красивые и реальные, чем те, что описаны в книгах. Во всем Марселе не хватит бумаги, пожелай я эти истории записать. Ты не думай, что я просто грезил — как дети, которые воображают себя королями. Если уж я придумывал себе царство, то такое, что ничего похожего во всем мире нет. Сперва я изобретал особый язык и правила, согласно которым расставляешь слова. А также единицы меры и веса, одежду и военную форму, законы и церкви, дома и города, людей и учреждения (и все это было лучшим и более толковым, чем можно увидеть где-либо еще). В своем царстве я проводил собрания и устраивал праздники с играми и процессиями.

Потом я снова все это демонтировал и просто размышлял о словах, таких как "власть", "богатство" и "счастье". Тотчас, словно подвластные мне духи, являлись разные мысленные картины, которые, будто нити, сплетались в пестрые ковры. Так я становился могущественнее и богаче, чем ты способен себе представить. Если в этой жизни у тебя в кармане окажется миллион, ты все равно достигнешь немногого. Ты употребишь свои деньги на разные глупости, а когда истратишь их, навсегда остаешься ни с чем. Ко мне же деньги притекали снова и снова — я овладел *духом денег*, как можно владеть джинном, запертым в кувшине. У меня были более подлинные монеты — *квинтэссенция золота*, — и так же дело обстояло со всеми вещами на свете. Есть что-то *над* наслаждением — как слой сливок на молоке, но незримое. Я вволю полакомился этими сливками: они дают мне силу еще и сегодня...

Под конец, ближе к утру, когда на улице уже кричали павлины, я больше ни о чем не мог думать. Тогда наступал черед фигур (треугольников, четырехугольников и кругов), различных узоров, как на раковинах и шахматных досках, а также красок, какими ты их видишь в чашечках цветов. Это были фигуры, на которых построен мир, и я рассматривал их. Таких фигур очень немного — даже, может быть, только одна. Вообрази ее себе в виде кирпича. Весь кирпич происходит из *одной* формы, но из него можно строить дома и города. Так же дело обстоит и со временем: оно — кусок вечности, которому придана определенная форма. Вечность коротка, она как задержанное дыхание. Я довольно часто оказывался в этом промежутке, с тех пор как у меня отказало легкое; представь, что, находясь в церкви, ты зашел в маленькую боковую капеллу. Так и тут: ты попадаешь в точку, где заканчиваются все дороги.

Я уже давно не курю опиум. Он был лишь кораблем, на котором плывешь в неизведанные края. В последнее время я жил в Лионе как обычный бюргер: весь день работал каменщиком, по вечерам выпивал свой литр вина и вел хозяйство вместе со славной девчонкой, которая поддерживала у меня порядок. Но теперь я снова хочу на юг, здесь мне не хватает солнца.

15

Хотя кутилы продолжали буянить, я внимательно слушал своего соседа и время от времени даже задавал вопросы. Последних фраз я не понял, но они сохранились у меня в памяти. Я передаю здесь их общий смысл. Бенуа умел сказать больше,

чем можно выразить в слове. Он был простой человек, однако ему довелось видеть поразительные вещи. Он заглянул в *кристаллический мир.* И если бы он владел языком философов, он мог бы на основании своего жизненного опыта описать такое, к чему они лишь пытаются приблизиться путем умозрительных рассуждений.

Его похвала опиуму пробудила во мне любопытство — но лишь в той мере, в какой иногда хочется отведать экзотического кушанья, увиденного на чужом столе. По сути же, я думал, что не для того уехал так далеко от дома, чтобы на новом месте отгораживаться от реальности пеленой грез. Я, правда, мечтал пережить *удивительное,* но переживать что-то подобное хотел так, чтобы в любой момент, укусив себя за палец, можно было удостовериться: то, что я вижу, не сон.

Как бы то ни было, Бенуа обладал внутренней силой, которая не может не воздействовать на молодых людей. Наверное, в жизни любого человека хоть раз да появлялся чужак, посланец Фантазии, и демонстрировал искусство волшебства. В Бенуа было что-то от магов, которые на ярмарках зазывают прохожих в завешанный драпировками балаган, — однако шарлатанство в нем отсутствовало. Возникало, как я уже говорил, впечатление, что он знает больше, чем может выразить словами; он возмещал эту недосказанность интонацией и взглядом. Он располагал языком, в котором имелись *окна.* Некоторые его фразы вызывали у меня ассоциацию с искусственно освещенной руиной, другие — с извивами змеи. Он был не будничного склада человек и охотился за картинами, к которым обыденное сознание не причастно. Чувствовалось также, что есть некая точка, откуда он может управлять своими движениями, и что если он потерпел крушение, то лишь потому, что сам отправил свой корабль на дно. Без сомнения, он был самой значительной личностью в этом форте.

Ранним утром пришел кухонный унтер-офицер со своими помощниками: он искал бидон, который, конечно, давным-давно канул в морские глубины. Увидев наших парней, которые лежали на нарах, словно наполненные под завязку бурдюки, и при его появлении принялись нарочито громко храпеть, он сразу уразумел, куда девалось вино. Проклиная все на свете и хватая себя за волосы, унтер-офицер велел помощникам заблокировать дверь и объявил, что отправит нас чистить отхожее место под большой башней, после чего, дескать, нас не узнают даже собственные родители.

Тут-то и выяснилось, что знакомство с Бенуа имеет свои преимущества. Он живо подхватил меня под руку и, обменяв-

шись шутками с постовым, вывел в коридор через запретную для других дверь. Он умел ладить с людьми, и это качество, по его словам, часто заменяло ему пропуск.

Мы с ним отправились в столовую, позавтракали, после чего — до часа медицинского освидетельствования — прогуливались вдоль валов. Бенуа рассказывал мне о бабочках в джунглях и о маленьких аннамитских женщинах; он также заговорил о различии между европейской и китайской манерой ругаться, и я понял, что имею дело со знатоком не только языков, но и бездн человеческой души.

В большом зале казармы мы застали вчерашнюю вечернюю братию: эти парни, всячески дурачась, стояли вдоль стен под присмотром швейцарского капрала и нескольких часовых. Вскоре появился комендант — сухопарый колониальный чиновник с желтым угрюмым лицом. Его сопровождали доктор Гупиль и писарь; все трое уселись за длинный стол, стоявший у окна.

Писарь начал зачитывать по списку имена, и вызванные подходили к столу, где от них очень быстро отделывались. Первым вызвали того фламандца, который накануне пародировал молитву и вообще, похоже, нравился себе в роли паяца. Комендант, мельком взглянув на него, спросил, говорит ли он по-французски. Фламандец, наверняка превосходно владевший этим языком, ответил отрицательно — но изъяснялся так легко и красноречиво, что чем больше старался убедить всех в своем незнании французского, тем вернее себя разоблачал.

— О, тут и говорить не о чем, господин комендант. Я лишь подхватил на улице кое-какие словечки, не понимая их смысла. Я знаю совсем немного, совсем чуть-чуть!

И, беспрерывно повторяя это “un tout petit, tout petit peu”, он на потеху своим собутыльникам запрыгал перед столом, как большая обезьяна, прищелкивая пальцами.

— Хватит, хватит! — оборвал его комендант. — Убирайтесь прочь!

И когда фламандец, поклонившись с преувеличенной учтивостью уголовника, уже возвращался обратно, комендант злобно крикнул ему вслед:

— Вам предоставят возможность усовершенствовать свои познания!

Следующим выкликнули Леонарда. Он, похоже, за ночь продумал свою речь и теперь произносил ее таким тоном, каким школьник отвечает вызубренный латинский урок.

— Вы, конечно, удивлены, видя меня в таком месте! — обратился он к коменданту (который смотрел на него скорее со

скукой, нежели с удивлением) и потом продолжил: — Это связано, как я вам сейчас объясню, со злосчастным недоразумением.

И он принялся очень путано рассказывать о своих семейных обстоятельствах и о парижских студенческих эксцессах, не замечая, что комендант оценивает его как какого-нибудь *дрозда-рябинника* — интересуясь не тем, хорошо ли поет эта птичка, а тем, достаточно ли она упитанная[1]. Обменявшись взглядом с доктором Гупилем и подав знак писарю, комендант отпустил Леонарда.

— Стало быть, вы студент? Очень хорошо, у вас будет случай отличиться — с вашими-то знаниями вы наверняка дослужитесь до капрала!

Таким манером сортировка быстро продвигалась вперед. Я, впрочем, заметил, что для переправы на африканский континент отбирают не всех. Выбраковывались именно те, кто возлагал на нее наибольшие надежды или видел в ней последнюю возможность обрести какое-никакое пристанище, — в первую очередь пожилые, потрепанные жизнью легионеры, которые явились, чтобы во второй или в третий раз принять на себя все тяготы службы. Гупиль разглядывал их, как оценщик на римском невольничьем рынке, и потом с сухим "Usure générale" отвергал. Такой диагноз ("Общая изношенность организма") в самом деле лучше всего передавал впечатление, вызванное обликом этих бедолаг, ибо трудно было сказать, из-за какого недуга они выглядят столь плачевно: недуг заключался, скорее всего, просто в нехватке жизненной силы.

Наконец, когда список был прочитан почти до конца, я услыхал свое имя и вышел вперед. Я думал, что Гупиль уже позабыл о своем вчерашнем настрое, но я ошибался. С нарочитой задумчивостью склонившись над бумагами, доктор пробормотал:

— Этому парню, сдается мне, еще рановато служить! — Он, очевидно, ждал, что я подхвачу его реплику. Я бы охотно сделал это, но странный дух противоречия на время лишил меня дара речи. Мне казалось, что не я, а доктор Гупиль попал в неприятное положение, и я был бы рад помочь ему выпутаться; однако ничего подходящего мне в голову не приходило. Возникла долгая пауза, комендант барабанил по столу костяшками пальцев. Наконец Гупиль, бросив на меня уко-

1. Мясо этих птиц употребляют в пищу.

ризненный взгляд, обратился к коменданту: — К тому же он физически очень слаб.

Комендант, не удостоив доктора ответом, заглянул в список и пробормотал, повернувшись к писарю:

— Обследован еще в Вердене и признан годным. Впишите его и зовите следующего!

Гупиль меланхолично посмотрел на меня и пожал плечами, а я вернулся в шеренгу ожидающих. Освидетельствование закончилось, и все устремились к выходу. В коридоре я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо; это был Гупиль, который торопливо зашептал мне на ухо:

— Что же вы, дурак, даже рта не раскрыли? Я, по крайней мере, надеюсь, что персональные данные, внесенные в ваши бумаги в Вердене, правильны. Остерегайтесь теперь прежде всего вина и баб — с ними за один час можно себя погубить.

Сказав это и ни разу больше не обернувшись, он зашагал к верхнему валу. Я охотно навестил бы его еще раз, чтобы попрощаться, да только нас сразу после освидетельствования повели к пароходу, пришвартованному совсем рядом с фортом. Что я мог так подвести доктора, обескуражило меня самого. И смущенно-меланхоличное выражение лица, с каким он посмотрел на меня в тот момент, когда полковник повернулся к нему спиной, останется одним из самых неприятных моих воспоминаний, иногда всплывающих из глубин прошлого. Позднее я еще не раз имел случай убедиться, что дух противоречия заставляет меня доставлять страдания именно тем людям, которые стараются сделать мой жизненный путь *более гладким*. Не исключено, что такого рода содействие я воспринимал как нарушение тех правил игры, которые только и делают жизнь волнующе-увлекательной: вероятно, непрошеных помощников я относил к *царству проторенных дорог*, из которого хотел убежать. Но довольно об этом.

Мне также не удалось еще раз поговорить с ужасным Реддингером, и этот дуралей, в наши дни продолжающий жить по законам кулачного права, навсегда исчез у меня из виду. Некоторые люди, которых мы когда-то встречали, когда мы вспоминаем о них, кажутся лучше, чем были, — так же получилось и с ним. Мне нравится воображать, что до того, как встретиться мне, Реддингер тысячу лет спал в своей горной долине: потому что в поезде он похвалялся убийством (которое, может, действительно совершил), а это архаичная черта, напоминающая о временах, когда убийца мог восстановить свою честь, заплатив выкуп или искупив вину изгнанием в лес.

Вместе с Леонардом, Бенуа, Франке, Паулем, почтальоном, обоими итальянцами и многими другими я с большим удовольствием шагал к пароходу и предавался своим африканским грезам, которые нынче, наконец, были близки к осуществлению. Нас разместили в трюме, где снова началась шумная попойка, поскольку большинство парней перед отплытием на последние деньги запаслись вином, на которое тут же и налегли. Многие (в их числе и Леонард) уже давно *не просыхали*: они пребывали в состоянии перманентного опьянения.

Время, пока мы еще стояли в гавани, я использовал, чтобы осмотреться; и нашел на верхней палубе, за дымовой трубой, кипу парусины, которая, как мне подумалось, больше подходила для ночлега, чем мое место в трюме.

К вечеру мы снялись с якоря и, обогнув маленькие белые острова, вышли в открытое море. Ночь была тихой и теплой; созвездия — крупнее и ярче, чем обычно. Я заснул счастливым, а когда проснулся, провел еще несколько часов в мечтательной полудреме. Пароход, казалось, отправился в плавание лишь ради меня: он по моей воле двигался к чужому побережью.

На рассвете я увидел — далеко впереди — единственное бледное облако над синим морем. Пришел Бенуа; он позвал меня выпить кофе, а позже — съесть обед, который нам раздавали в плоских мисках. Мы с ним немного поболтали об Индокитае и Африке, но вскоре я снова занял свое место, скрытое от посторонних глаз, и вытянулся на солнышке.

Одинокое облако мало-помалу увеличивалось в размерах; в конце концов я догадался, что это дымка, окутывающая круто вздымающуюся из моря гору. К полудню контуры этого скалистого острова, вид которого поразил меня как нежданный подарок, стали более отчетливыми: я увидел белое кольцо прибоя и отвесные каменные стены, а между ними, в ущельях, — редкий кустарник. Я тщетно высматривал дома или следы человеческой деятельности, и их отсутствие наполняло меня счастьем.

Только белая конусообразная башня поблескивала в солнечном свете, на одном из самых высоких зубцов. Посреди светлого и пустого простора она напоминала волшебные замки Ариосто: казалась построенной скорее духами, чем людьми.

Всю вторую половину дня мы плыли вдоль острова; часто так близко, что я, казалось, слышал удары волн, разбивающихся об утесы. Этот берег представлялся мне преддверием более прекрасного и рыцарственного мира, а шум прилива —

увертюрой к чудесным приключениям. Особенно меня занимали тайны, которые, как я предполагал, скрывались по ту сторону башни, и я испытывал все большее искушение добраться до острова вплавь. Я надел на себя пробковый пояс — из тех, что висели на поручнях, — и с нетерпением ждал наступления темноты. Однако еще прежде, чем стемнело, наш курс начал все дальше отклоняться от острова, который в конце концов растворился в туманной дымке. Бенуа, которому я рассказал о своей неудаче, посмеялся надо мной и заметил, что я недооценил расстояние, а также силу прибоя.

Тогда я еще не знал, что закон повторения, определяющий столь многие ситуации в нашей жизни, через несколько лет снова приведет меня на этот остров, относящийся к Балеарскому архипелагу. Я прожил там несколько недель в небольшой гостинице, где обычно останавливались английские офицеры, возвращающиеся из Индии, — даже не догадываясь, что нахожусь по другую сторону одинокой башни. Лишь в последние дни пребывания на острове я снова узнал ее, когда, пройдя через нагретые солнцем кустарниковые заросли, поднялся на гребень. Подобное зрелище всегда вызывает у нас чувство головокружения: кажется, будто время имеет дыры, в которые мы проваливаемся, возвращаясь к своему подлинному состоянию. Ничто не трогает нас сильнее, чем воспоминание о собственных безрассудствах, и потому я не мог не подняться на верх башни (в старые времена, очевидно, служившей наблюдательным постом против мавританских пиратов). Словно в зеркале, мне тут чудесным образом открылась *другая сторона*, мимо которой я когда-то проплыл, так и не увидев ее. Положение, в котором мы однажды оказались, обязательно повторится: время снова и снова набрасывает на нас свою сеть.

Окончание следует

Жан Фоллен

“Тоскливый голос взывает беззвучно”

Стихи

Перевод с французского и вступление Александра Давыдова

Жан Фоллен (1903—1971) практически неизвестен в России. Нельзя сказать, что и во Франции у него широкая слава. Во французской литературе XX века, обильной громкими именами, вообще трудно выделиться. Но дело еще в том, что поэзия Фоллена (и его поэтическая проза) будто неуловима, ускользает от каких-либо трактовок и филологического инструментария, сам же он избегал комментировать собственные сочинения. Однако тихое, при этом настойчивое, и с годами, пожалуй, все более заметное, присутствие Фоллена во французской культуре никогда не позволяло отнести его к писателям второстепенным.

Фоллен чуть опоздал к расцвету французского авангарда, вошел в литературу на самом излете 20-х годов, когда иссяк его революционный порыв. Авангардная поэзия, понятая или недопонятая, уже стала не скандальна, а привычна, отметавшая все обыденное, она почти превратилась в литературную обыденность. Молодежь искала иные пути. Создавались новые сообщества, которые, однако, смотрятся вяловатыми, не вдохновленные буйной агрессией поэтов предшествующего поколения — дадаистов и сюрреалистов. Совсем юным Фоллен примкнул к группе парижских писателей и художников “Sagesse”, основанной поэтом Фернаном Марком, одно наименование которой не предполагало дерзких манифестов и скандальных перформан-

© Gallimard 1969
© Александр Давыдов. Перевод, вступление, 2014

сов: его можно перевести, как "мудрость", но и как "умеренность" или "скромность". Впрочем, оно также отсылает к одноименному сборнику Верлена. Можно сказать, что, в какой-то мере, участники группы через голову предыдущего поколения обращались к их учителям, включая Лотреамона, Рембо, Малларме. Но это сообщество — все-таки скорей дружеская компания, чем творческая группа, — не предполагало строгой дисциплины и вовсе не декларировало разрыва с литературой начала века. Причастность к нему, а позже к так называемой Рошфорской[1] школе, гораздо решительней отмежевавшейся от наследия сюрреалистов, опробовав термин "сюрромантизм", отнюдь не помешала близости Фоллена с Максом Жакобом, его многолетним корреспондентом, и Андре Сальмоном, написавшим предисловие к его раннему сборнику "Теплая рука" (1933).

Да и вообще, по мнению французской критики, какие-либо эстетические теории мало повлияли на творческое становление Фоллена. Однако при всей творческой самостоятельности, Фоллен вовсе не был принципиальным эскапистом. Этот провинциал, уроженец нормандского городка Канизи, получивший и вполне провинциальное образование, — в коллеже соседнего Сен-Ло, в котором преподавал его отец, и Канском университете, где изучал право, — очень быстро освоился в Париже. Не отказавшись ради поэзии от юридической карьеры — сперва адвокат, затем судья, — он всегда находился в эпицентре культурной жизни. Долгие годы был связан дружеским общением не только с Жакобом и Сальмоном, но, в большей или меньшей степени, и с другими писателями их генерации — Андре Бретоном, Пьером Реверди, Блезом Сандраром, Пьером Мак-Орланом, а также сверстниками — Жаном Тардьё, Эженом Гильвиком, Рене Шаром... Да собственно едва ль не со всеми наиболее значительными писателями своего времени. Не только писателями, но и художниками. Кстати, был женат на дочери Мориса Дени, художнице Мадлен Дине.

Можно сказать, что Фоллен стяжал все атрибуты признания, такие как Большая премия Французской академии, премия Малларме, еще несколько литературных премий, а теперь во Франции вручается и премия Жана Фоллена. Однако его поэзия задает едва ль не более изощренную задачу теоретикам и читателям, чем поэзия авангарда, как раз и стремившаяся озадачить. Сочинения Фоллена, в ранних книгах проникнутые впечатлениями его нормандского детства, постепенно сошли (или взошли) к полному аскетизму, избавленные также и от временных и территориальных примет. Не только ничего похожего на цветистые грезы сюрреалистов, их могучие образы, но весьма вольный стих зрелого Фоллена, не скованный просодией, будто вовсе лишен формальных признаков поэзии, даже метафор. Но тревожные, ранящие образы его сочинений всегда поэтичны. Как и его литературные

1. Рошфор-сюр-Луар — городок на западе Франции, где во время оккупации собрались поэты из разных регионов страны. Отвергая политическую ангажированность сюрреалистов, они не участвовали в Сопротивлении, предпочитая творческое противостояние правительству Виши.

предшественники, Фоллен стремился к "непредвзятому пониманию мира", правда, в отличие от них, трезвому — не обогащенному алкогольно-наркотическими фантазиями и не искаженному душевной экзальтацией. Не сказалась ли тут юридическая закваска Фоллена, его уважение к установленному факту? Но свидетельства Фоллена будто обращены в пустоту, коль, по словам самого автора, поэт "одинок на этой странной земле". И все ж угадывается его затаенная надежда быть понятым.

Попытки раскрыть тайну "непоэтичной" поэтики Фоллена предпринимались неоднократно. Сальмон, не только поэт, а и проницательный критик, назвал Фоллена "создателем нового реализма". Этот "реализм" можно понять примерно в том смысле, который ему придавали средневековые схоласты, то есть как веру в реальное существование универсалий, общих понятий. Поскольку внятно чувствуется, что образы Фоллена, зримые, плотные, хотя они будто существуют вне времени и пространства, — эмблемы, знаки, отсылающие к начальным истинам. Еще его стихи сравнивают с живописью, уподобляют натюрмортам, а иногда — с фотографиями. Однако они подвижны — чаще не картинки, а эпизоды, скорей перекликающиеся с интеллектуальным кинематографом.

Столь доступный дружескому общению и в то же время сокровенный, загадочный Фоллен, наверно, все-таки в первую очередь писатель для писателей. Ими он не только не забыт, но посмертно обращен в легенду. Тардьё ему благоговейно нашептывал:

Вот ты стоишь возле мольберта
к нам обернувшись спиной
но будто всегда у окна где Вермеер
внимал исподволь благовещенью света...

...надо чуть подождать
грядущего пополнения пространства
где все разрешится
где нагроможденье предастся Спасительной пустоте
где мы достигнем тебя Жан Фоллен.

Шепот для Фоллена из цикла *Три надгробия*

"Достичь" Фоллена не теряют надежды и поэты следующих поколений, включая таких известных, как Ги Гоффет, автор стихотворного диптиха "Повадка Фоллена", или Жак Реда, сочинивший ему эпитафию :

Жан Фоллен,
неугомонный,
тут отбросив за ненадобностью привычки
праздношатающегося топографа
выкроил из времени вневременное пространство.

Недаром сказано, что поэзия Фоллена не современна, но актуальна.

Единственный человек

Муха полирует крылышки
банка полна горелых спичек
в закругленном стекле отражаются лица,
будто покрытые шрамами
друг в друга вперившиеся бесстрастно.
На просторах
унылой деревни
движется человек
словно чтобы явить себе одному
не напоказ
целиком человечество.

Погоня

Ржавчина разъедает
самый кончик пики
кони замерли
притом что длится погоня
за единственным человеком
ускользающим лабиринтами
и руинами
поскольку так и не сумел
свыкнуться с этим временем.

Завладеть земным шаром

Житель уехал
ржавая лопата и щербатые грабли
уже не восстановят аллею
со следами здешнего зверья
ребенок приносит глобус
на бронзовой подставке
и медленно крутит его в сторону мрачных взгорий
осенний ветер
овевает его нежные кисти
он сразу зажмурится
лишь только взметнется
сухая красная
пыль.

Завязать распустившийся шнурок

Когда сумерки поигрывают
своей облачной плотью
заметно что пламя трав
дымками курится
цветами порастают лощины
остается довольно света
чтобы мальчик
в серенькой блузе
уткнувшись в колею
завязал распустившийся шнурок
без лености проживанья жизни
безо всякого легкомыслия.

Дверь

Батрак горбится за прополкой
до самой ночи,
уверяет, что давно
замкнута дверь амбара
на задвижку со свиным хвостиком,
дверь уже изнурена до смерти,
ему слышится ее стон.
Какое будущее, произносит он,
нас ожидает.
У ног его дремлют
цепные псы.

Колесо

Железо наводит скуку
каретник думает
если б вдруг пропало бы колесо
я познал бы истинный покой
созерцал бы тень от столешниц
не шатался б из стороны в сторону
будто пьяница
ощутил бы силы земли
речь втулки и обода позабудется
мне откроется морской ветер
как и нежнейшее сиянье.

Обручи

Длинноволосые женщины
принарядили своих детей,
гоняющих обручи
по каменистой дороге.
Первая звезда
себя явила саду.
Покой низошел на те веси,
где привыкли наблюдать светила
в неустанных поисках
разгадки.

Статуи

Статуи нагих существ
с их длинными ногами
в античных позах поруганы
иногда поранив грудь
удавалось их столкнуть
рукой ли камнем ли в закатную слякоть
конечно не со зла
но столько губ
лепетало у хрупких постаментов
столько лиц
принимали нежные руки
бьют все разом колокола
невесть по какой причине
тоскливый голос взывает
беззвучно.

Поджигатели

Встретились два поджигателя старый и молодой
разглядели друг друга в зеркалах
низринутых магазинов
их память угасла
груда осколков
упорно метала блики
на дереве ни единый лист
не подобен другому
они скопом трепещут
чтобы выжить.

П*ротивостоять зверю*

Не так-то легко
противостоять зверю
даже если он на вас глядит спокойно без ненависти
вглядывается пристально
кажется высокомерным
он будто хранит
глубочайшую тайну
непредвзятого понимания мира
которая дни и ночи
терзает и ранит душу
громогласно ли, тишком ли.

Джордж Сондерс

Десятого декабря

Рассказ

Перевод с английского и вступление Светланы Силаковой

От переводчика

Американский писатель Хунот Диас так описал "эффект Джорджа Сондерса": "Он, как никто, метко подметил абсурдные и обесчеловечивающие параметры нашей нынешней 'культуры капитала'. Но есть в его произведениях и другая грань: холодная строгость уравновешивается глубочайшим состраданием". Это относится и к сборнику "Десятого декабря", где присутствуют все любимые жанры Сондерса: душераздирающая антиутопия, чистый реализм, социальная сатира. В США сборник стал одним из самых заметных литературных событий 2013 года. 3 января "Нью-Йорк таймс" категорично заявила в заголовке: "Джордж Сондерс написал лучшую книгу из тех, которые вы прочтете в наступившем году". А уже в апреле Сондерс был включен в список "Сто самых влиятельных людей мира", регулярно составляемый журналом "Тайм", и удостоен премии для крупных мастеров короткой прозы "ПЕН/Маламуд" (среди лауреатов прошлых лет — Сол Беллоу, Джон Апдайк, Джойс Кэрол Оутс). Давние поклонники писателя были приятно удивлены этим ажиотажем. Сондерс далеко не дебютант. В 1996 году Томас Пинчон похвалил его первую книгу, заметив: автор "рассказывает именно те истории, которые помогают выжить в наше время". Собратья по цеху давно ценят Сондерса за виртуозную работу со словом. Зэди Смит поставила его рядом с Марком Твеном. "Сондерс слов-

© 2013 by George Saunders
© Светлана Силакова. Перевод, вступление, 2014

но бы играючи решает почти непосильные задачи. Нам очень повезло, что он у нас есть", — написал Джонатан Франзен. Почему же широкий читатель открыл для себя Сондерса именно в 2013 году? Рассказы из новой книги "пробирают сильнее, чем ранние" — как пишут в отзывах в интернете. С другой стороны, на фоне экономического кризиса и затяжных войн в каких-то непостижимых странах легче понять проблемы любимого персонажа Сондерса — измученного безденежьем "маленького человека", потерявшегося в жестоком и абсурдном мире.

В 2001 году "ИЛ" опубликовала рассказы "Стопудовый шеф" и "Приморские дубы", где Сондерс предстает как мастер социальной сатиры с элементами сюрреализма. На сей раз мы предпочли вещь, написанную в ином ключе, — венчающий книгу рассказ "Десятого декабря".

БЛЕДНЫЙ мальчик — злополучная стрижка "под пажа", ухватки медвежонка — подошел к вешалке и реквизировал папин белый пуховик. И еще реквизировал сапоги, которые сам покрасил белой краской. А пневматическое ружье не разрешили покрасить. Подарок тети Хлои. Тетя приходит в гости и каждый раз требует продемонстрировать ружье и трындит, трындит: "Ах, ах, натуральное дерево, ах, фактура".

Боевое задание на сегодня: поход на пруд, осмотр бобровой плотины. Учесть, что по пути его наверняка попробуют перехватить. Эти, которые живут под старой каменной оградой. Они мелкие, но, когда вылезут, сразу здорово увеличиваются. И бросаются в погоню. Их обычный метод. Им досадно, что он — неробкая десятка. Он знает все их уловки. И только рад. Обернется, вскинет ружье, вскричит: "Вы в курсе, для чего служит это человеческое орудие?"

Пиф-паф!!!

Они — подземлянцы. Или просто подзы. У него с ними довольно странные отношения. Иногда он целыми днями лечит их раны. А бывает, возьмет и просто для прикола стрельнет в одного, когда тот удирает. Подз останется хромым на всю жизнь. А жизнь у него длинная-предлинная — еще девять миллионов лет.

Забившись глубоко под стену, раненый говорит: "Ребята, посмотрите, что у меня с задницей".

И все рассматривают раненую задницу Гзимона и хмуро переглядываются: так и есть, бедолага Гзимон охромел на девять миллионов лет. Грустно, очень грустно, невыносимо грустно!

Не удивляйтесь: подзы обычно разговаривают, как тот дядька из "Мэри Поппинс". И, несомненно, этот факт отчас-

ти сдирает покров с тайны их изначального происхождения на нашей планете.

Подзам нелегко его перехватить. Он хитрый. Плюс — он слишком большой, чтобы втиснуться в лаз под ихней стеной. Ну, они его скрутят, уйдут под стену варить свое специальное уменьшательное зелье, а он — р-раз! — порвет их допотопные веревки одним из приемов боевого искусства, которые разработал сам. "Туа-фуа" называется, "Разящие предплечья". И привалит к их порогу беспощадный камень-удушитель — замурует их в стене.

Позднее, представив себе, как они бьются в агонии, он сжалится, вернется, отодвинет булыжник.

И тогда какой-нибудь подз возопит из внутристенья: "Счастье привалило! Премного благодарны, сэр. Вы воистину достойный противник".

Иногда доходило до пыток. Его валили на землю, и он смотрел на полет облаков в высоте, пока подвергался мучениям, вообще-то терпимым. К его зубам подзы не притрагивались. Уже повезло: он даже чистить зубы терпеть не может. Но подзы вообще тупые. Никогда не трогают его письку, никогда не трогают его ногти. А он спокойно валяется себе на снегу, словно играет в "снежных ангелов"[1], и этим дико бесит подзов. Они пытаются как-нибудь его допечь. Пробуют задразнить до смерти. Типа: "Робин, Робин, где твой Бэтмен?" И хихикают своим особым подзовским смешком, дураки. Не понимают, что насчет имени его подкалывают с незапятнанных времен, а ему хоть бы хны.

Сегодня у него предчувствие, что подзы похитят Сюзанну Блидсоу, новенькую из их класса. Сюзанна раньше жила в Монреале. Ему очень нравится ее манера говорить. И подзам, наверно, тоже: Сюзанна нужна им, чтобы восполнить убыль их популяции и испечь кое-что, чего они сами не умеют.

— НАСА, НАСА, докладываю: к выходу готов. Делаю попытки развернуться, чтобы выйти из люка. Прием.

— *Вас понял. Мы знаем ваши координаты, Робин. Не теряйте бдительности в открытом космосе.*

Фу, черт, холодрыга.

На утенке-термометре — минус двенадцать. И это без поправки на коэффициент резкости погоды. Что ж, так даже интереснее. Все взаправду. В тупике, где улица Пул утыкается в футбольное поле, стоит зеленый "ниссан". Будем надеяться, что его хозяин — не какой-нибудь педофил, от которого придется спасаться хитростью.

1. "Снежные ангелы" — зимнее развлечение. Нужно лечь на снег так, чтобы отпечатался силуэт. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

И не подз, замаскированный под человека.

День ясный. Ясный, синий, холодный. Скрип-скрип — снег под его подошвами на футбольном поле. Почему у бегунов болит голова на морозе? Наверно, из-за скорости розы ветров.

В лес ведет тропа шириной с одного гуманоида. Неужели подз и впрямь похитил Сюзанну Блидсоу? Чтоб он пропал! И все его племя тоже. Отпечатки только двух ног — значит, подз тащит Сюзанну на себе. Мерзкий шельмец. Если он не только тащит на себе Сюзанну, но и непристойно пристает к ней, пусть пеняет на себя. А Сюзанна, конечно же, сопротивляется с неукротимой яростью.

Ситуация тревожная, крайне тревожная.

Он нагонит их и скажет:

— Послушай, Сюзанна. Я знаю, ты не знаешь, как меня зовут, ты недавно назвала меня Роджером... помнишь, как ты сказала: "Роджер, подвинься"? И все же я должен признаться: по-моему, в нас с тобой что-то есть. Разделяешь ли ты мое чувство?

У Сюзанны удивительные карие глаза. Но сейчас они заплаканные, от испуга и от внезапного осознания.

А Подз, деловой такой:

— Брось с ней трепаться, старина.

А он:

— Фиг тебе, не брошу. — И снова Сюзанне: — Знаешь, Сюзанна, даже если ты не думаешь, что в нас с тобой что-то есть, поверь, я все равно убью этого негодяя и верну тебя домой. Напомни, где ты живешь. В Эль-Сирро? Где водокачка? У вас там дома красивые.

— Да, — сказала Сюзанна. — У нас и бассейн есть. Приходи летом. Захочешь, купайся прямо в футболке — это дико круто. Кстати, в нас с тобой правда что-то есть. Ты самый проницательный мальчик в нашем классе, сто очков вперед остальным. Даже если присчитать моих знакомых ребят из Монреаля, ты просто... ну никаких сравнений.

— Что ж, приятно слышать. Спасибо на добром слове. Я, конечно, понимаю, что не самый стройный в классе.

— Между прочим, мы, девочки, — сказала Сюзанна, — больше ценим контент, чем дизайн.

И тут Подз:

— Не пора ли заткнуться? Потому что уже пробил час твоей смерти. Смертей. Ваших.

— Гм. Час чьей-то смерти точно пробил, — сказал Робин.

Вот ведь свинство: человеку никогда не дают хоть кого-нибудь по-настоящему спасти. Прошлым летом вот тут, на этом самом месте, лежал умирающий енот. Он думал было отнести

его домой, чтобы мама вызвала ветеринара. Но вблизи енот выглядел слишком страшным. Еноты в жизни крупнее, чем в мультиках. А этот, похоже, был кусачий. Робин рассудил: надо ему хотя бы воды принести. Сбегал домой. Когда вернулся, увидел только следы на земле — там, где енот, должно быть, бился в агонии. Печальная картина. А он плохо переносит печаль. Возможно, он даже впал в предрыдательное состояние. Но это не считается — вокруг никого не было, только лес.

— Просто у тебя доброе сердце, — сказала Сюзанна.

— Ой, ну я даже не знаю, — заскромничал он.

Вот и старая покрышка от грузовика. Тут обычно собираются старшеклассники. Посередине, как в раме, — три пустые пивные банки и скатанный плед, припорошенные снегом.

— Признавайся: тусоваться любишь? — несколько минут назад съязвил в этой точке Подз, обращаясь к Сюзанне, которую волок на себе.

— Не-а, — сказала Сюзанна. — Я люблю играть. И еще обниматься.

А Подз:

— Фу-у-у... Скукотища!

А Сюзанна:

— Где-то на свете есть человек, который любит играть и обниматься.

Лес кончился, открылась самая красивая панорама из всех, какие Робин видел. Пруд — чистая ледяная белизна. Что-то такое швейцарское. Когда-нибудь он увидит своими глазами и сравнит. Когда швейцары устроят в его честь парад, например.

Тут Подз, судя по следам, сошел с тропы — вроде как замешкался, заглядевшись на пруд. Может, этот Подз не такой уж плохой. Может, его парализовал укол совести, оттого что Сюзанна у него на закорках продолжает отважно сопротивляться? По крайней мере, он, наверно, природу любит.

Затем следы вернулись на тропу, обогнули пруд, начали взбираться на холм Ликсоу.

Что за странный предмет? Куртка? На скамейке? На скамейке, где подзы приносят людей в жертву?

Куртка не присыпана снегом. Дотронулся: подкладка еще чуточку теплая.

Следовательно, куртку только что снял с себя Подз.

Что за чертова чертовщина. Что за интригующая головоломка — если он хоть что-то понимает в головоломках. А эта — уже не первая на его веку. Однажды он увидел лифчик, свисавший с руля велосипеда. В другой раз, на задворках ресторана

"Фресно", — тарелку, а на ней — нетронутый стейк с гарниром. Он посмотрел, но не притронулся. Хотя выглядело аппетитно.

Тут что-то назревает.

И в этот миг его взор уперся в человека на полдороге к вершине Ликсоу. Человек с лысой головой, без куртки. Очень-очень тощий. Одежда похожа на пижаму. Карабкается еле-еле, терпеливый, как черепаха, голые белые руки торчат из рукавов пижамы, похожие на две голые белые ветки, торчащие из рукавов пижамы. Или из могилы.

Кто станет гулять без куртки в такую погоду? Психический, вот кто. Серьезно, дядька похож на психического. Вроде тех, из Освенцима. Или бедных дедушек, которые все забывают.

Однажды папа сказал: "Роб, прислушивайся к своим мозгам. Если что-то пахнет дерьмом, но сверху написано 'С днем рождения!' и воткнута свечка, что это такое?"

Он спросил: "А глазурью оно покрыто?" А папа не ответил и уставился куда-то вдаль — словно сам толком не знал, что сказать.

Хорошо, а что подсказывают мозги сейчас?

Что-то здесь не в порядке. Человек не может без куртки. Даже взрослый. Пруд покрыт льдом. На утенке-термометре — минус двенадцать. Если этот человек психический, ему тем более надо помочь. Христос ведь говорил: блаженны помогающие тем, кто сам себе помочь не может, потому что слишком психический, или шатается на ходу, или вообще инвалид, верно?

Он подошел к скамейке, взял куртку.

Это спасательная операция. Наконец-то настоящая спасательная операция. Хоть какая-то.

Десятью минутами ранее Дон Эбер остановился на берегу пруда, чтобы отдышаться.

Ничего себе усталость. Это ж надо. Вот те на. Когда-то он выгуливал здесь Йети, и они нарезáли шесть кругов у пруда, взбегали на холм, метили валун на вершине и неслись обратно.

Давай, шевелись, произнес один из двух мужских голосов, споривших в его голове все утро.

Конечно, если ты еще не задвинул свою идею с валуном, вставил другой. *А мы как считали, так и считаем: это просто чистоплюйство.*

Похоже, один из голосов — папаша. А другой — Кип Флемиш.

Два идиота. Два предателя. Поменялись между собой женами, бросили выменянных жен, вместе сбежали в Калифор-

нию. Кто они — геи, что ли? Или просто свингеры[1]? Геи-свингеры? Папа и Кип в его голове признали свои прегрешения, и все трое договорились: он их прощает за то, что они, возможно, геи-свингеры и не пришли за него болеть на "Гонках юных автоконструкторов"[2], только мама пришла... короче, он их простил, а они взамен помогут дельным мужским советом.

Он хочет, чтоб было красиво.

Папин голос. Похоже, папа хоть в чем-то его понимает.

Красиво? — голос Кипа. — *Ну и ну... Я бы так не сказал.*

Сквозь сияние дня промелькнула красная птица. Кардинал.

Удивительно. Просто удивительно. Он же молодой. Пятьдесят три года. Ему уже не суждено обратиться к стране с речью о сострадании. А спуститься на байдарке вниз по Миссисипи? А поселиться в домике у ручья под сенью ив, вместе с двумя хипушками из сувенирной лавки, где Аллен купил ему коллекцию окаменелостей? 68-й год, поездка в Озарк, Аллен — его отчим — в дурацких очках-"консервах"... Одна хипушка говорит, что из него, Эбера, вырастет кайфовый чувак: "Обязательно позвони мне, когда станешь совсем большой!" И хипушки, почти сцепляясь медными кудрями, захихикали, заранее предвкушая его кайфовость. Но это так и не...

Почему-то так и не...

Его учительница, сестра Вэл, говорила: "Может, попробуешь стать следующим Дж. Ф. К.?" И он выдвинул свою кандидатуру в президенты класса. Аллен купил ему пластиковую шляпу-канотье. Они вооружились фломастерами, вместе вывели на ленте шляпы красивые буквы: ЭБЕР ЗНАЧИТ УСПЕХ! Это спереди, а сзади: ЭБЕР — ПРОСТО БЛЕСК! Аллен помог ему записать кассету. Кассету с короткой речью. Куда-то съездил, размножил запись в тридцати экземплярах: "Для раздачи избирателям".

"У тебя хорошая программа, — сказал Аллен. — Ты блестящий оратор. Своего добьешься".

И он добился. Победил на выборах. И Аллен устроил в его честь прием. Ужин с пиццей. Пришли все ребята из класса.

Ох, Аллен.

Не было человека добрее. Аллен водил его на плавание. И в кружок декупажа. А как терпеливо вычесывал ему волосы в

1. Свингеры — любители свободной любви, практикующие обмен половыми партнерами и/или партнершами.

2. Соревнования, которые проводятся в США с 1934 г. под названием "Дерби ящиков из-под мыла". Дети самостоятельно конструируют "автомобили" без моторов и съезжают на них с горки.

тот день, когда он принес из школы вшей. Ни разу грубого слова не сказал... и так далее, и тому подобное.

Но только пока не начались страды. Страдания. Проклятье. Все чаще и чаще слова. Мимо. Все чаще и чаще он говорит не что хотит.

Не то, что хочет.

Когда начались страдания, Аллен словно белены объелся. Выдавал такое, чего ни в коем случае нельзя говорить. Срывался на ком угодно, без разбора: на маме, на Эбере, на рассыльном, который привозил бутилированную воду. Из застенчивого тихони, который всегда ободряюще похлопывал тебя по плечу, превратился в иссохшего бледного дистрофика на кровати, выкрикивающего "Паскуда!"

Причем с каким-то странным акцентом — получалось "Пашкуда!"

Когда Аллен в первый раз выкрикнул "Пашкуда!", был смешной момент — они с мамой переглянулись, не понимая, кого из них обозвали "пашкудой". Но Аллен повторил, разъяснил: "Пашкуды!"

Очевидно, он подразумевал их обоих. Какое облегчение.

Обхохотаться можно.

Черт, сколько он уже здесь торчит? Шевелись, пока весло.

Пока светло.

Я уж и не знала, что теперь делать. Не стану лукавить. Но он все уладил.

Взял все на себя.

Ничего удивительного: он всегда так поступал.

Именно-именно.

А это голоса Джоди и Томми.

Привет, дети.

Сегодня великий день.

В смысле, да, конечно, как было бы хорошо, если бы мы смогли попрощаться с ним, как полагается.

Но какой ценой?!

Именно. И он это осознал, понимаешь?

Наш отец. Так поступают отцы.

Отцы облегчают бремя своих родных и любимых.

Оберегают родных и любимых от тягостного зрелища последних дней, которое может врезаться в память на всю жизнь.

Скоро Аллен превратился в ЭТО. И никто никого не посмел бы упрекнуть за попытки держаться от ЭТОГО подальше. Иногда они с мамой прятались на кухне, прижавшись друг к дружке. Боялись прогневать ЭТО. Даже ЭТО понимало условия сделки. Приносишь, ступая маленькими шажками, стакан воды, ста-

вишь на тумбочку, спрашиваешь, вежливо-вежливо: "Еще что-нибудь, Аллен?" И читаешь мысли ЭТОГО: "Люди, столько лет я делал вам только хорошее, а теперь я просто ЭТО?" Иногда другой Аллен, добрый, выглядывал изнутри, говорил беззвучно, одними глазами: "Послушай, уходи отсюда, пожалуйста, уходи, я еле сдерживаюсь, не хочу обзывать тебя Пашкудой!"

Худой, как щепка, все ребра пересчитать можно.

К члену прилеплен катетер.

Запах нечистот — не продохнешь.

Ты сам по себе, Аллен сам по себе.

Так ему Молли сказала.

Ну, а доктор Спайви не мог ничего сказать. Не соизволил. Был очень занят рисованием незабудок в блокноте. А потом все-таки обронил: "Гм, если начистоту... Когда эти штуки растут, они иногда толкают к странным выходкам. Странным, но необязательно страшным. Один мой пациент всего лишь чиканулся на 'Спрайте', пил его бутылками. А в остальном — ничего".

А Эбер подумал: "Как же так, дорогой доктор/спаситель/последняя надежда? Вы, светило медицины, и вдруг — 'чиканулся'"?

Вот на этом тебя и ловят. Думаешь: "Может, я всего лишь чиканусь на 'Спрайте'?" И не успеваешь опомниться, как ты больше не ты, а ЭТО, кричишь "Пашкуда!", срешь под себя, отбиваешься от тех, кто пытается кое-как тебя подмыть.

Нет уж.

Держите карман шире.

В среду опять свалился с медицинской койки. Тут-то, на полу, в темноте, его осенило: я же могу их избавить.

Избавить нас? Или себя?

Изыди.

Изыди, брысь, кыш.

Ветер сшиб с дерева несколько снежных комьев. Слетели гуськом. Красиво. Отчего люди так устроены — отчего мы видим красоту во всяких будничных пустяках?

Он снял куртку.

Господи ты боже мой.

Снял шапку и перчатки, засунул шапку и перчатки в рукав куртки, оставил куртку на скамейке.

Чтоб догадались. Найдут машину, пойдут по тропе, найдут куртку.

Вообще чудо. Что он доковылял так далеко. Но он всегда был сильным. Однажды с переломом стопы пробежал полумарафонскую дистанцию. А сразу после вазэктомии запросто очистил гараж от хлама.

Он лежал на койке и дожидался, пока Молли уйдет в аптеку. Вот что было самое трудное — просто сказать ей нормальным голосом: "До скорого".

Его душа рванулась было к Молли, но он одернул душу, прикрикнул на нее, начал молиться:

"Господи, дай мне провернуть это дело, помоги не провалить. Не дай опозориться. Дай продеть все галко.

Проделать. Дай мне проделать все галко.

Глядко.

Гладко".

За сколько он может догнать Подза и отдать ему куртку? Минут за девять, примерно. Шесть — чтобы обогнуть пруд по тропе. Плюс три минуты — взбежать по склону, как спасительный дух или милосердный ангел, неся незатейный дар — куртку.

НАСА, это только приблизительные выкладки. В принципе, я их почти что высосал из пальца.

Знаем, Робин, знаем. Мы давно уже знаем, какие дерзости вы позволяете себе на службе.

Однажды вы пукнули на Луне.

А как подговорили Мела объявить: "Господин президент, приятный сюрприз: наш зонд держит курс на Вашанус!"

Сегодняшние выкладки — вообще на редкость приблизительные. А этот Подз — на удивление проворный. А сам Робин — не лучший скороходец. У него телосложение расширяется к середине. Папа говорит, что это добрый знак: со временем ширина перекочует с поясницы на плечи, и он станет здоровенным, как штангист. Робин надеется, что предсказание сбудется. Но пока у него выросли только титьки — правда, почти незаметные.

— Скорее, Робин, — сказала Сюзанна. — Мне так жалко этого бедного дедушку.

— Дурак он, — отрезал Робин, потому что Сюзанна молодая еще и не понимает: дураки создают проблемы другим людям, которые поумнее.

— Ему недолго осталось, — воскликнула, на грани истерики, Сюзанна.

Он попытался успокоить ее: тихо, тихо.

А она: мне просто очень страшно.

А Робин: но, на его счастье, рядом оказался такой, как я: я дотащу его куртку на вершину этого немаленького холма, хотя крутизна склона не совсем в моем вкусе.

А Сюзанна: наверно, это и называется "геройство".

— Наверно.

А Сюзанна: ты только не подумай, что я нахально тебя учу. Но, по-моему, он уходит все дальше.

А он: и что бы ты посоветовала?

— При всем моем уважении, — проговорила Сюзанна, — и только потому, что я знаю: ты считаешь нас с тобой разными, но равноправными, и потому, что мой профиль — интеллектуальные усилия, оригинальные изобретения и всякие апочемубынет...

— Ну да, да, продолжай.

— В общем, если взглянуть на дело, как математик, на базе элементарной геометрии...

Он понял, к чему она клонит. Она абсолютно права. Не зря он в нее влюбился. Надо пройти через пруд напрямик, диаметрично, и тогда он выгадает время, и нагонит Подза поскорее, каждая секунда на счету.

— Погоди, — сказала Сюзанна. — А это не опасно?

— Не-а, — возразил он. — Я так уже сто раз переходил.

— Прошу тебя, будь осторожен, — взмолилась Сюзанна.

— Если честно, один раз.

— Не каждый рискнет, — проговорила Сюзанна.

— А если совсем честно, ни разу, — тихо сказал он, боясь ее разволновать.

А Сюзанна: твоя храбрость безразмерна.

Он зашагал через пруд.

А вообще-то круто ходить по воде. Летом здесь плавают на байдарках. Если бы мама увидела, задала бы ему жару. Мама над ним трясется, как будто он стеклянный. Потому что в младенчестве он вроде бы перенес несколько операций. Мама пугается, если он всего лишь потянется за степлером: "Поранишься!"

Но вообще-то мама молодчина. Всегда даст добрый совет, подскажет верную дорогу к цели. У нее пышная копна длинных серебристых волос и хрипловатый голос, хотя она не курит и вообще веганка. И она никогда не гуляла с байкерами, хотя некоторые дебилы из класса утверждают, что она вылитая байкерша.

Если честно, мама ему очень импонирует.

Он преодолел примерно три четверти, или шестьдесят процентов пути через пруд.

Между ним и берегом сероватое пятно. Летом здесь в пруд впадает ручей. Пятно какое-то сомнительное. Он стукнул прикладом по льду в месте, где пятно начинается. Спокуха: прочный.

Зашагал дальше. Лед под ногами слегка просел. Ничего, тут, наверно, неглубоко. Будем надеяться. Вот черт.

— Ну как? — воскликнула Сюзанна трепетно.

— Могло быть и лучше, — сказал он.

— А не стоит ли повернуть назад? — спросила Сюзанна.

Но ведь это и есть то самое чувство страха, которое все герои должны побороть еще на заре жизни? Над настоящими героями страх не властен, правда?

Назад путь заказан.

Или все-таки не заказан? Все-таки можно повернуть? Не только можно, но и нужно.

Лед проломился, мальчик провалился.

В "Степи смирения" даже походя не упоминалось о тошноте.

"Чувство блаженства овладело мной, когда я прикорнул на дне расселины. Ни страха, ни дискомфорта, только смутная печаль при мысли обо всем, что осталось несделанным. И это смерть? — подумал я. — Это просто ничто".

Автор, не припомню вашу фамилию, позвольте вам кое-что сказать.

Вы сволочь.

Дрожь неудержимая. Вроде тремора. Голова вихляется на шее туда-сюда. Постоял, немного поблевал на снег: желтовато-белое на голубовато-белом.

Нехороший признак. Нехороший в данных обстоятельствах.

Каждый шаг — победа. Вот о чем надо помнить. Каждый шаг — побег все дальше и дальше. Все дальше от отца. От отчима. Какая великая победа его ждет. Победа из последних пил.

К горлу, как комок, подступил приказ выговорить правильно.

Из последних сил. Из последних сил.

Ох, Аллен.

Даже когда ты был ЭТО, для меня ты оставался Алленом.

Пожалуйста, не забывай.

Падаешь, сказал папа.

Некоторое время — измеримый промежуток — он выжидал, гадая, куда упадет и сильно ли ушибется. Затем в живот уперлось дерево. Он обнаружил, что обвился в позе эмбриона вокруг какого-то дерева.

Ой бля.

О-ой. Ой-ей-ей. После операций не плакал, во время химии не плакал, но теперь — еще немножко и, кажется, заплачет. Так же нечестно. Теоретически это происходит со всеми, но сейчас это происходит с ним лично. Он все ждал какого-то особенного Божьего промысла. Но нет. То, что больше него/тот, кто больше него — сплошное безразличие. Только отмахивается. Тебе всю жизнь твердят: то, что больше тебя/тот, что больше тебя, любит тебя особенной любовью, но в итоге понимаешь: фигушки. То, что больше/тот, кто больше, сохраняет нейтра-

литет. Ты его не волнуешь. Оно/он просто бредет куда-то и, безо всякого злого умысла, давит людей на своем пути.

Много лет назад, на выставке "Иллюстрированное тело", они с Молли видели срез мозга. Срез мозга, подпорченный изъяном — бурым кружочком не больше пятицентовой монеты. Этого бурого кружочка хватило, чтобы убить человека. Человека, у которого, верно, были какие-то свои мечты и надежды, и полный шкаф брюк, и так далее, и драгоценные воспоминания детства: скажем, в тени ив в Гейдж-парке японские карпы сбиваются в стаю, или бабушка ищет носовой платок в своей сумочке, пахнущей "Ригли"... всякое такое... Если бы не это бурое пятно, человек, возможно, шел бы сейчас мимо них, шел бы обедать в кафе в атриуме. Но нет. Он уже покойник, где-то гниет с выпотрошенной головой.

Тогда, глядя сверху на срез мозга, Эбер испытал чувство превосходства. Бедняга. Вот ведь не повезло, надо ж было такому приключиться.

Они с Молли спаслись бегством, заказали в атриуме горячие оладьи, смотрели, как белка колупается с пластиковым стаканчиком.

Эбер, полуобвитый вокруг дерева, нащупал шрам у себя на голове. Попытался привстать. Не вышло. Попытался ухватиться за дерево. Пальцы не сгибались. Поднял руки, завел их за ствол, скрестил в запястьях, сам себя подтянул кверху, привалился к дереву.

Ну как?

Отлично.

Точнее, на "четверку".

Может, хватит? Может, дальше и не надо? Он думал, что усядется по-турецки рядом с валуном на верхушке холма... но какая, в сущности, разница?

Все, теперь у него одно дело — усидеть на месте. Усидеть, силком втюхивая в голову те же самые мысли, которыми он заставил себя встать с койки и забраться в машину, и пройти через футбольное поле, и через лес: МоллиТоммиДжоди сбились в кучку на кухне, распираемые жалостью/отвращением, МоллиТоммиДжоди бьет дрожь от его жестоких слов, Томми приподнимает его иссохший торс, чтобы МоллиДжоди могли протереть мокрым полотенцем там, ниже пояса...

Дело будет сделано. Он предотвратит назревающее озверение. Все его страхи перед тем, что ждет в ближайшие месяцы, растянут.

Растают.

Вот и все. Все? Нет еще. Но скоро. Час? Сорок минут? И я это сделаю? Взаправду? Сделаю. Да? А до машины дойду, если

вдруг раздумаю? Вряд ли. Вот он я. Я здесь. Подвернулся отличный шанс достойно подвести черту.

Даже делать ничего не надо — просто сиди на месте.

Я не буду воевать больше никогда[1].

Сосредоточься на красоте пруда, на красоте лесов, красоте, в которую ты возвращаешься, красоте, которая повсюду, куда ни глянь...

Тьфу ты.

Ну и подлянка.

На пруду какой-то мальчик.

Толстый мальчишка в белом. С ружьем. Несет куртку Эбера.

Ах ты, засранец, положи куртку, а ну, вали домой, не смей лезть не в свое де...

Проклятье. Будь все проклято.

Мальчишка стукнул прикладом по льду.

Нехорошо, если на тебя наткнется ребенок. Травма на всю жизнь. Правда, дети часто находят всякую жесть. Ему как-то попалось фото папаши с миссис Флемиш — оба нагишом. Жуть. Хотя, конечно, не сравнить с чьей-то искаженной рожей у валуна на хол...

Мальчишка поплыл.

Плавать не разрешается. Четко ведь написано. КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО.

А пловец он никудышный. Молотит руками почем зря. Проламывает вокруг себя черную лужу, которая быстро расширяется. Каждым ударом руки мальчишка в геометрической прогрессии отодвигает границу черн...

Он не успел опомниться, как начал спускаться с холма. *Ребенок в воде, ребенок в воде*, выкрикивал внутренний голос снова и снова, на каждом шагу. Шел еле-еле, от дерева до дерева. Когда стоишь и пытаешься отдышаться, очень много узнаешь про каждое дерево. У этого три сучка: глаз, глаз, нос. Другое снизу одинарное, сверху двойное.

И вдруг он сделался не просто анонимным умирающим, который по ночам просыпался на койке с мыслью: "Пусть все это будет понарошку, пусть все это будет понарошку", — вдруг он снова, отчасти, превратился в человека, который клал бананы в морозильник, потом ломал на кусочки и поливал расплавленным шоколадом; который однажды, стоя под проливным дождем, подглядывал в окно класса: беспокоился за Джоди, один рыжий паршивец вечно отнимал у нее книжки; который, когда

1. Слова из знаменитой речи, которую "Вождь Джозеф" (1840?—1904), предводитель североамериканского индейского племени не-перс, произнес в 1877 г., будучи вынужден сдаться армии США.

учился в колледже, раскрашивал вручную птичьи кормушки и на выходных торговал ими в Боулдер-сити, надев шутовской колпак и помаленьку жонглируя, жонглировать он выуч...

Снова начал падать, сам себя удержал, замер, накренившись вперед, пошатнулся, растянулся на снегу во весь рост, ударился подбородком прямо об корень.

Ну прямо комедия.

Была бы комедия, если б не...

Он встал на ноги. Переупрямил себя и встал. Правая рука — как кровавая перчатка. Вот беда, вот ведь угораздило. Однажды, играя в футбол, он потерял зуб. Он потерял, Эдди Блендик нашел. Он отобрал зуб у Эдди, зашвырнул подальше. Да, это тоже был он.

Вот и развалка. Недалеко уже. Развелка.

И что делать? Когда дойдешь, что? Вытащить ребенка из воды. Заставить ребенка шевелиться. Заставить ребенка пройти через лес, через футбольное поле, довести до улицы Пул, стучаться в каждый дом. Если никто не откроет, засунуть ребенка в "ниссан", врубить печку на полную, отвезти... Куда — в "Скорбященскую"? В "Экстренную помощь"? Как быстрее доехать до "Экстренной помощи"?

Пятьдесят ярдов до фиша.

Двадцать ярдов до финша.

Господи, благодарю Тебя за то, что дал мне силы.

В пруду у него остался только звериный разум, ни слов, ни "я", слепая паника. Он решил попытаться, изо всех сил. Схватился за кромку льдины. Обломилась. Его потянуло вниз. Нащупал ногами илистое дно, оттолкнулся. Схватился за кромку. Кромка обломилась. Потянуло вниз. Казалось, это же легко, легко вылезти. Но у него никак не получалось. Это как в луна-парке. По идее, легко сбить с жердочки трех собак, набитых опилками. И правда легко. Легко, будь у тебя уйма мячей, — а так не особо.

Он хотел на берег. Он знал: его место на берегу. Но пруд твердил: нет.

А потом пруд сказал: ну, посмотрим, ну, может быть.

Ледяная кромка каждый раз обламывалась, но, ломая ее, он подтягивал себя к берегу, понемножку, и, когда его утаскивало вниз, ноги быстрее нащупывали ил. Покатый уклон. Вдруг прорезалась надежда. Он очумел. Совсем одурел. И выбрался, а вода лилась с него струями, а на рукаве осталась плоская, как крохотное оконное стекло, ледышка.

Трапецевидная, подумал он.

Ему представилось, что пруд не конечный, не круглый, не за спиной, а бесконечный и везде — окружает его со всех сторон.

Он почуял: надо залечь, затаиться, иначе то, неведомое, которое только что попыталось его убить, попытается еще раз. То, что пыталось его убить, оно не только в пруду, но и здесь, повсюду, во всем, что есть в природе, — и нет ни его, ни Сюзанны, ни мамы, вообще ничего нет, только голос какого-то мальчишки — ревет, точно перепуганный младенец.

Эбер выскочил хромой рысцой из леса и обнаружил: мальчика нет. Только черная вода. И зеленая куртка. Его собственная куртка. Его бывшая куртка — далеко, валяется на льду. И рябь на воде уже разглаживается.

О, черт.

Из-за тебя.

Ребенок вышел на лед только потому, что...

Внизу, на берегу, около перевернутой лодки — какой-то обалдуй. Лежит ничком. На работе. Лежит на своем посту. Наверно, полеживал здесь и в тот момент, когда несчастный ребенок...

Стоп. Отмотаем назад.

Это и есть ребенок. Слава тебе, Господи! Лежит ничком, как трупы из фоторепортажей Брейди[1]. Ногами все еще в пруду. Словно полз, но по дороге изнемог. Ребенок весь мокрый, белый пуховик так пропитался водой, что кажется серым.

Эбер вытащил ребенка. Потребовалось четыре рывка с передышками. Перекатить на спину не сумел, сил не хватило, но голову набок повернул: теперь, по крайней мере, рот не в снегу.

Мальчишка здорово влип.

Вымок до костей в двенадцатиградусный мороз.

Злой рок.

Эбер встал на одно колено и сказал ребенку, сказал строгим отеческим тоном: надо вставать, надо шевелиться, а то тебе ноги отрежут, и вообще замерзнешь досмерти.

Мальчик посмотрел на Эбера, моргнул, остался лежать, как истукан.

Эбер вцепился в пуховик, перевернул мальчика, грубо усадил на снег. Мальчик дрожал — и как дрожал, дрожь самого Эбера по сравнению с этой — просто ерунда. Мальчишка словно невидимым отбойным молотком орудует. Его надо согреть. Как? Обнять, лечь на него? Ага, конечно, ледышка греет ледышку.

1. Имеются в виду снимки погибших во время Гражданской войны в США солдат, сделанные фотографами из студии Мэтью Брейди.

Эбер вспомнил о своей куртке: далеко, на льду у черной воды.

Тьфу ты.

Найти ветку. Нигде ни одной. Куда деваются все нормальные обломанные ветки, когда...

Ладно, ладно, и так сумею.

Прошел пятьдесят футов по берегу, ступил на пруд, описал широкую петлю на этой тверди, развернулся лицом к берегу, зашагал к черной воде. Колени дрожали. Отчего? От страха провалиться. Ха. Олух. Пижон. До куртки — пятнадцать футов. А ноги не слушаются. Отказываются категорически.

Доктор, ноги меня не слушаются.

Ничего-ничего, мы пришьем им уши...

Крохотными шагами. Остается десять футов. Опустился на карачки, пополз, чуть приподняв голову. Лег на живот. Вытянул руку. Скользнул вперед на животе.

И еще немножко.

И еще немножко.

Уцепил двумя пальцами самый краешек, скользнул обратно — какой-то брасс наоборот, встал на карачки, распрямился, вернулся по своим следам. Снова в пятнадцати футах от того места. В полной безопасности.

После этого все было, как в старые времена, когда он укладывал в постель Томми или Джоди, осоловелых от усталости. Говоришь: "Руку", и ребенок поднимает руку. Говоришь: "Другую руку", и ребенок поднимает другую. Сняли белый пуховик, и Эбер увидел, что рубашка на мальчике обросла ледяной коркой. Эбер сорвал с него рубашку. Бедный малыш. Человек — это просто немножко мяса на костях. В такой мороз ребенок долго не протянет. Эбер снял с себя пижаму — пока только верхнюю часть, надел на ребенка, засунул детскую руку в рукав своей куртки. В рукаве оказались шапка и перчатки Эбера. Надел шапку и перчатки на ребенка, застегнул "молнию" куртки.

Джинсы на мальчике смерзлись, затвердели. А сапоги — два ледяных памятника сапогам.

Сделать все, как полагается. Эбер присел на лодку, разулся, снял носки и пижамные штаны, усадил мальчика на лодку, встал перед ним на колени, стащил сапоги. Начал легонько поколачивать по заледеневшим штанинам и вскоре частично высвободил одну ногу мальчика. Ага, раздеваем ребенка догола на двенадцатиградусном морозе. А если так вообще нельзя? Вдруг он совсем его заморозит? Как знать. Ничего-то он не знает. В отчаянии еще несколько раз стукнул по джинсам. Мальчик вылез из них сам.

Эбер надел на него свои пижамные штаны, и носки, и сапоги тоже.

Мальчик стоял в одежде Эбера, покачиваясь, с закрытыми глазами.

— А теперь пойдем, хорошо? — сказал Эбер.

Ноль реакции.

Эбер ободряюще шлепнул мальчика по плечу. Как по мячу, по неодушевленному мячу.

— Сейчас отведем тебя домой, — сказал он. — Ты где живешь — идти далеко?

Ноль реакции.

Он шлепнул посильнее.

Мальчик озадаченно разинул рот.

Шлеп.

Мальчик тронулся с места.

Шлеп-шлеп.

Наконец-то зашевелился.

Эбер гнал мальчика перед собой. Как ковбой — корову. Поначалу мальчиком руководил, видимо, страх перед шлепками, но затем включилась здоровая паника, и он бросился бежать. Эбер больше не мог за ним угнаться.

Мальчик уже у скамейки. У начала лесной тропы.

Молодец, давай беги домой.

Мальчик исчез в лесу.

Эбер опомнился.

Ух ты. Вот это да.

Раньше он не знал, что такое настоящий холод. Что такое настоящая усталость.

Он стоял в одних трусах на снегу около перевернутой лодки.

Доковылял до лодки, сел в сугроб.

Робин бежал.

Мимо скамейки, на тропу, в лес, старой привычной дорогой.

Что за фигня? Что за фигня вдруг случилась? Он, что, свалился в пруд? И джинсы затвердели от мороза? Джинсы больше не синие. Стали белые. Он покосился на свои ноги, проверил: и теперь белые?

На нем пижамные штаны, заправленные в какие-то гигантоидные сапоги. Ну прямо клоун.

Кажется, он только что плакал?

— А я считаю, плач — здоровая реакция, — сказала Сюзанна. — Она означает, что ты не подавляешь свои эмоции.

Фу. Он это перерос, какая глупость — мысленные беседы с девчонкой, которая в жизни называет тебя "Роджер".

Блин.

Силы на исходе.

Вот пенек.

Он сел. Отдохнуть приятно. Ему не отрежут ноги. Они ведь вообще не болят. Он их вообще не чувствует. Он не умрет. Рановато еще, смерть не входит в его планы. Чтобы отдохнуть оптимальнее, он прилег. Небо синее. Сосны качаются. Не все в одинаковом ритме. Он приподнял одну руку в перчатке и понаблюдал, как она дрожит.

Можно закрыть глаза, ничего, скоро открою. Иногда наступает жизненный момент, когда хочется уйти. Чтоб все поняли. Тогда все поймут, что дразниться нехорошо. Иногда его так задразнивали, что школьные дни были маловыносительны. Иногда становилось почти невмоготу, и он думал, что не переживет еще одной большой перемены, когда кротко забиваешься в угол спортзала, к сломанным брусьям, и сидишь там на скатанном мате. Его никто не заставлял сидеть в углу. Он сам выбрал это место. В любом другом была бы вероятность услышать одно-два высказывания. Над которыми пришлось бы размышлять до конца дня. Иногда высказывались о беспорядке у него дома. Спасибо Брайсу, который один раз к нему зашел. Иногда высказывались о его манере говорить. Иногда высказывались насчет маминых нарядов. А мама, надо признать, одевается, как на дискотеку в 80-х.

Мама.

Он не любил, когда его дразнили из-за мамы. Она даже не догадывается, как низко его ставят в школе. Для нее он — образец, Золотой Мальчик.

Однажды он провел секретную рандеву — записал мамины телефонные разговоры, надо же было добыть разведданные.

В основном — скучища, проза жизни, а про него — ни слова.

Кроме одного маминого разговора с Лиз, ее подругой.

Я даже не подозревала, что способна так сильно любить, сказала мама. Вот только я переживаю, что не сумею оправдать его надежды, понимаешь? Он такой хороший, так меня за все благодарит. Мой маленький заслужил... он все на свете заслужил. Школу получше нынешней, но нам такая не по карману, и путешествия, в смысле, за границу, но это тоже... э-э-э... не по нашим деньгам. Страшно боюсь его подвести, понимаешь? Вот все, чего я прошу от судьбы, понимаешь? Лиз? Чтобы под конец я могла себе сказать: я сделала для моего чудесного сыночки все, что нужно.

В этот момент Лиз, похоже, начала пылесосить, не отходя от телефона.

Чудесный сыночка.

Наверно, пора идти, засиделся.

Чудесный Сыночка — типа как его индейское имя.

Он встал и, придерживая свои одежды, громоздкие, как королевская мантия, зашагал к дому.

Вот покрышка, вот место, где тропа ненадолго расширяется, вот место, где деревья скрещиваются над головой, тянутся друг к другу. Мама говорит: "кружевной свод".

Вот и футбольное поле. За полем разлегся его дом, точно большой ласковый зверь. Поразительно. Он все преодолел. Свалился в пруд и ушел живым. Он едва не разревелся, что было, то было, но потом просто посмеялся над этим приступом банального малодушия и добрался-таки домой, и теперь на его губах играет мудрая усмешка... Надо признать, он прибег к весьма ценной помощи некой престарелой осо...

Он содрогнулся, вспомнив про старика. Вот ведь фигня какая. Перед ним промелькнула картинка: синий от холода, старый, одинокий и голый, стоит в одних белых трусах, как военнопленный, которого бросили у колючей проволоки, потому что в грузовике не хватило места. Или как грустный подбитый аист, прощающийся с птенцами.

Он слинял. Бросил старика. Даже ни разу о нем не вспомнил.

Гром и молния.

Поступил, как распоследнее трусливое чмо.

Надо вернуться. Немедленно. Помочь старику выковылять из леса. Вот только сил совсем нет. А если не дойду? Наверно, у старика все в порядке. Наверно, у старика был какой-то свой план, старики — они себе на уме.

Но он слинял. Как с этим жить? Мозги подсказывают: единственный способ аннулировать постыдный побег — немедленно вернуться, спасти ситуацию. Тело протестует: слишком далеко, ты еще маленький, зови маму, мама что-нибудь придумает.

Так он стоял, точно парализованный, на краю футбольного поля. Вылитое пугало в хламиде с великанского плеча.

Эбер сидел, привалившись к лодке.

Как переменилась погода. По парковым лужайкам гуляют под бумажными зонтиками и тому подобное. Карусель, оркестр, беседка. На спинах определенных карусельных лошадок люди жарили себе еду. Но на других лошадках катались дети. Как они определяют? Которые из лошадок горячие? Снег вообще-то еще не сошел, но разве снег долго продержится в такой злой.

Зной.

Если ты закроешь глаза, это конец. Ты ведь в курсе, да?

Ну прямо комедия.

Аллен.

Его голос, точь-в-точь. Спустя столько лет.

Где он? Возле утиного пруда. Сколько раз приезжал сюда с детьми. Пора идти. Прощай, утиный пруд. Хотя, погоди-ка. Что-то никак не встать. И вообще, как бросить двух малышей. Тем более у воды. Четыре года и шесть лет. Господи ты боже мой. Где моя голова? Бросить двоих несмышленышей у пруда. Они послушные детки, они подождут, но ведь они соскучатся? И пойдут купаться? Без спасательных жилетов? Нет, нет, нет. Даже подумать мерзко. Надо остаться. Бедные дети. Бедные брошенные...

Стоп. Отмотай назад.

Его дети прекрасно плавают.

Его детей никто не бросал, никогда ничего даже отдаленно похожего не случалось.

Его дети уже взрослые.

Томми исполнилось тридцать. Красавец-мужчина. Усердно овладевает самыми разными знаниями. Но даже когда ему казалось, что он в чем-то разбирается (в боях воздушных змеев/в кролиководстве), Тома вскоре выводили на чистую воду: милейший, славный парень, осведомленный о боях воздушных змеев/о кролиководстве не больше, чем всякий, кто за десять минут нахватался сведений в интернете. Но не подумайте, что Том глупый. Том умница. Все схватывает на лету. О, Том, Томми, Томмикинс! Добрая душа! Так старался, так старался заслужить отцовскую любовь. Ох, сынок, отец тебя любил, отец тебя любит, Том, Томми, я ведь даже теперь о тебе думаю, ты не выходишь у меня из головы.

А Джоди. Джоди далеко, в Санта-Фе. Сказала, что возьмет отпуск и прилетит домой. Как только понадобится. Но не понадобилось. Он не хотел обременять. У детей своя жизнь. Джоди-Джод. Носик в веснушках. Теперь беременна. Не замужем. Даже ни с кем не встречается. Ларс — идиот. Кем надо быть, чтобы уйти от такой красавицы? Такая лапочка. Только-только начала делать карьеру. Разве можно надолго бросать работу, когда только начинаешь...

Воссоздаешь детей в своем сознании, и они снова становятся для тебя реальными. Это ты зря, лучше не ночевай. Джоди ждет ребенка. Не начинай. Он мог бы потерпеть еще чуть-чуть, увидеть ее ребенка. Подержать на руках. Ну да, грустно. С его стороны это необходимая жертва. Он все разъяснил в записке. Разъяснил ведь? Нет. Записки не оставил. Не

смог. Помешала какая-то причина. Так ведь? Он почти уверен, была какая-то прич...

Страховка. Чтоб не подумали, что он сознательно.

Легкая паника.

Его охватывает легкая паника.

Он кончает с собой. Кончал с собой и втравил в беду какого-то мальчишку. Который сейчас бредет по лесу обмороженный. Он кончает с собой за две недели до Рождества, любимого праздника Молли. У Молли чего-то там с клапаном, ей чего-то там нельзя, нельзя пугаться, а вдруг он ее....

Это же не... это не он. Он так бы не поступил. Никогда не поступил бы так. Вот только... взял и поступил. Прямо сейчас так поступает. Дело на мази. И если он немедленно не тронется с места, дело... дело будет сделано. Свершится.

Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Надо сопротивляться.

Но он не может, кажется, даже удержать глаза открытыми.

Попробовать послать Молли некий последний телепатический привет. Прости меня, голубка. Я идиот, каких мало. Забудь эту страницу. Забудь, что я так кончился. Ты же меня знаешь. Ты знаешь, что я не нарочно.

Он у себя дома. Нет, он не дома. Сам знает, что нет. Но может разглядеть каждую деталь. Вот пустая медицинская койка, и студийный портрет ЯМоллиТоммиДжоди — позируют у бутафорской загородки как бы на родео. Вот тумбочка. Его таблетки в коробочке. Колокольчик, в который он звонит, чтобы позвать Молли. Это ж надо. Это ведь жестокость. До него вдруг дошло, какая это жестокость. И эгоизм. О Господи. Кто он после этого такой? Дверь дома распахнулась. Молли позвала его по имени. Он спрячется в гостиной. Выскочит, сделает ей сюрприз. Когда это они переделали гостиную? Теперь их гостиная — гостиная миссис Кендалл, которая в детстве учила его музыке. Дети будут в восторге — учиться играть на пианино в той же комнате, где он...

Ау, сказала миссис Кендалл.

Она хотела сказать: не торопись умирать. Нас много, и все мы хотим призвать тебя в гостиную на строгий суд.

Ау, ау! — кричала она.

Женщина с серебряными волосами огибала пруд.

Всего-то делов — откликнуться.

Откликнулся.

Чтобы он не угас, она начала отягощать его всякими вещами, мелочами жизни, пахнущими чьим-то домом: куртки, свитера, цветочные гирлянды, шапка, носки, кроссовки, — и, поразительно сильная, поставила его на ноги и повела по лабиринту

деревьев, по волшебному миру деревьев, на которых вместо фруктов росли сосульки... Он оказался под целой горой одежды. Он был, как кровать, куда на вечеринке сваливают пальто. Она все на свете знала: куда наступать, где передохнуть. Она сильная, как бык. Теперь он ехал у нее на бедре, как младенец; она обхватила его обеими руками, перенесла через корень.

Они шли, как показалось, несколько часов. Она пела. Уговаривала. Шипела на него, напоминая подзатыльниками, самыми настоящими подзатыльниками, что ее ребенок, черт подери, сейчас дома весь промерзший, черт подери, давай шевели ногами, черт побери.

Боже правый, сколько всего надо сделать. Если он дойдет. Дойдет-дойдет. Эта девушка заставит. Попытаться объяснить Молли... объяснить, почему он так поступил. *Я со страху, со страху, Молл.* Может быть, Молли согласится не говорить Томми и Джоди. Ненавистна мысль, что они узнают, какой он трус. Ненавистна мысль, что они узнают, какой он дурак. Тьфу! Да какая разница! Расскажите всему свету! Да, он это сделал! Больше не мог терпеть, вот и сделал, и точка. Да, он такой. Да, в нем есть и такое. Больше никакого вранья, никаких умолчаний, начнется новая, другая жизнь, если только он...

Глянь, они уже идут по футбольному полю.

Вот и "ниссан".

Тут же проскочила мысль: садись за руль, езжай домой.

— Нет, ишь чего удумали, — сказала она с хрипловатым смешком и увела его в дом. Дом у парка. Миллион раз видел. А теперь вошел. Пахнет мужским потом, соусом для спагетти и старыми книгами. Как в библиотеке, куда потные мужчины ходят варить спагетти. Она усадила его у дровяной печи, принесла коричневое одеяло, пахнущее лекарствами. Не говорила, только приказывала: это выпейте, это отдайте мне, укутайтесь теплее, как вас зовут, ваш номер телефона?

Надо же! Только что подыхал в трусах на снегу, а теперь — здесь! Тепло, пестро, оленьи рога на стенах, старинный телефон с рычагом, словно из немого кино. Просто нечто. Каждая секунда — нечто. Он не умер в одних трусах на снегу у пруда. И мальчик не умер. Он никого не убил. Ха! Каким-то чудом он все вернул обратно. Теперь все хорошо, теперь все...

Женщина прикоснулась рукой к его шраму:

— Ой-ей-ей, ничего себе, ой-ей. Где это вас угораздило?

И тут он вспомнил, что бурое пятно никуда не делось из его головы.

Боже, еще и это предстоит пройти до конца.

Не расхотел, а? Жить все еще хочется?

Хочется, хочется, Господи, прошу тебя, ну пожалуйста.

Потому что, ага, вот в чем суть... теперь ему ясно, помаленьку становится ясно... если под конец человек совсем сдает и говорит или делает гадости, или нуждается в чужой помощи, и чем дальше, тем больше... Ну и что? Чего особенного-то? Кто сказал, что ему нельзя говорить или поступать странно, нельзя выглядеть странно или омерзительно? Пусть дерьмо стекает по ногам — что такого? Почему бы родным и близким не приподнимать его, не переворачивать, не кормить, не подтирать? — он бы охотно делал ради них то же самое. Он боялся, что его унизит приподнимание, переворачивание, кормление, подтирание, да и теперь продолжает бояться, но теперь-то уяснил, что впереди может быть еще много: много капелек доброты, как ему хочется это назвать, много капелек радости и доброй дружбы, и эти капли дружбы — не его единоличная собственность и никогда таковой не были, он не вправе ставить им слон.

Заслон.

Мальчик вышел из кухни, утопая в огромной куртке Эбера, пижамные штанины волочились по полу: сапоги он уже снял. Бережно взял Эбера за окровавленную руку. Попросил прощения:

— Простите, что в лесу я вел себя, как дебил. Простите, что слинял. Я просто не соображал ничего. Я, это, ну, напугался.

— Послушай, — прохрипел Эбер. — Ты вел себя великолепно. Ты вел себя безупречно. Я же здесь. Кто мне помог, а?

Вот. Кое-что ты можешь. У мальчика ведь полегчало на душе? Благодаря твоим словам? Вот резон. Резон не уходить. Так ведь? Никого не сможешь утешить, если тебя больше нет, так? Ни черта не сможешь сделать, если уйдешь?

Когда Аллен совсем угасал, Эбер сделал в школе доклад о ламантинах. Сестра Евстафия поставила ему "отлично". А нрав у нее был крутой. На ее правой руке не хватало двух пальцев — отхватило газонокосилкой. Если Евстафия стращала своей рукой учеников, даже хулиганы становились, как шелковые.

Сколько лет он не вспоминал об этом.

Она положила правую руку ему на плечо — не для устрашения, а в качестве похвалы: *Прекрасно. Дети, берите пример с Дональда, учитесь у него серьезному отношению к учебе. Дональд, я надеюсь, что ты сегодня придешь домой и перескажешь мои слова родителям.* Он пришел домой и пересказал маме. А она посоветовала пересказать Аллену. Который в тот день был больше Алленом, чем ЭТИМ. А Аллен...

Ха, Аллен показал класс! Какой был человек.

Сидя у печи, он прослезился.

Аллен... Аллен сказал, что это здорово. Задал несколько вопросов. Про ламантинов. Скажи еще раз, чем они питаются? А как ты думаешь, они могут общаться друг с другом? Какая, наверно, это была пытка! В его-то состоянии. Сорок минут про ламантинов? В том числе стихотворение, которое Эбер сочинил сам? Сонет? Про ламантинов?

Как он обрадовался, что Аллен вернулся.

Я буду как он, подумал он. Попытаюсь.

Внутренний голос прозвучал неуверенно, неискренне, без убежденности.

Затем — сирены.

И каким-то чудом — Молли.

Ее шаги он услышал еще за дверью. Молл, Молли, вот это да. В первые годы после женитьбы они часто ссорились. Обрушивали друг на друга какой-то бред. Иногда доходило до слез. До рыданий в постели, так? А потом они... потом Молли прижималась горячей мокрой щекой к его горячей мокрой щеке. Прости меня, говорили они на языке тела, снова раскрывали друг другу сердца, и тогда... это чувство, что тебе снова раскрыли сердце, ты в стотысячный раз прощен, и привязанность любимого человека к тебе только возрастает, становится выше всех новых недостатков, которые в тебе прорезались, и нет и не было чувства глубже, чувства нежнее...

Она вошла, пылающая от переживаний, рассыпаясь в извинениях; на лице пелена гнева. Он поставил ее в неловкое положение. Что ж, он все понимает. Своим поступком он поставил ее в неловкое положение: показал, что она не осознавала, как сильно ему нужна. Так замоталась, ухаживая за ним, что проглядела его страх. Она злится на него за этот фортель и стыдится того, что может злиться в этот трудный час, пытается отбросить злость и стыд и вести себя, как подобает.

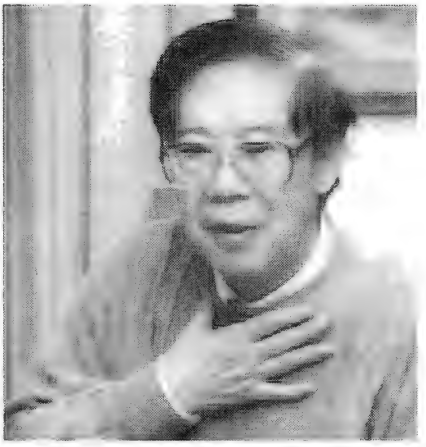
И все это написано на ее лице. Он-то ее прекрасно знает.

Все это — плюс тревога за него.

Тревога сильнее всех прочих чувств, отражающихся на ее прекрасном лице.

И вот она подходит к нему, чуть не споткнувшись на бугристых половицах этого чужого дома.

Бо Ян



Эти отвратительные китайцы

Фрагменты книги

Перевод с китайского под редакцией Романа Шапиро
Вступление Романа Шапиро

Бо Ян (1920—2008, настоящее имя Го Диншэн) — известный китайский писатель, журналист, переводчик, историк, диссидент и правозащитник. В 1968 году он был арестован по обвинению в "шпионаже в пользу коммунистов и нападках на вождей нации" за перевод американского комикса "Моряк Попай", воспринятого как сатира на отмену свободных президентских выборов на Тайване. В переводе Бо Яна моряк Попай, устанавливая власть над островом, использует лексику тайваньского президента Чан Кайши. Бо Ян был освобожден лишь через девять лет под давлением международной общественности. "Отвратительные китайцы" (1985) — сборник выступлений Бо Яна во время поездки по США в 1984 году. В книге он подвергает суровой критике философию, политику и быт китайской нации на протяжении всей ее истории. "Отвратительные китайцы" вызвали огромный

© Boyang, 1985
© Наталия Дойникова, Юлия Ершова, Елена Кузьмина, Наталия Мугоряева и Алина Соломатина. Перевод, 2014
© Роман Шапиро. Вступление, 2014
Полностью книга будет опубликована в издательстве "АСТ" в 2014 г.

резонанс в китаеязычном мире и выдержали несколько изданий на Тайване, в Гонконге, Китае, Юго-Восточной Азии и США. Несмотря на бурное развитие Китая в последние три десятилетия, об этом произведении, бичующем национальные недостатки, вспоминают и в наше время (см. книгу Бен Чу. Китайские шепоты[1]). Известен Бо Ян и как автор популярных работ по китайской истории. Ему принадлежит более двухсот трудов.

Эти отвратительные китайцы

Выступление в университете штата Айова 24 сентября 1984 года

Много лет я собирался написать нечто под названием "Безобразные китайцы". Как известно, в США "Безобразные американцы"[2] стали настольной книгой Госдепартамента, в Японии же автор "Безобразных японцев"[3], служивший тогда послом в Аргентине, был отстранен от должности — в этом, вероятно, и состоит отличие Запада от Востока. Китай по сравнению с Японией — еще один шаг назад, и я подумал, что если напишу нечто похожее о китайцах, то доставлю своим знакомым немало хлопот — придется им носить мне в тюрьму передачи. И отказался от этой затеи.

Правда, я всегда надеялся, что у меня появится возможность представить этот текст в виде доклада. И обращался с этим предложением к самым разным своим знакомым по всему миру. Однако добиться даже устного выступления оказалось непросто. Я получил приглашение выступить в Тайбэе, но как только организаторы узнали тему моего доклада, его тут же отменили. Сегодня я выступаю на эту тему впервые в жизни. И очень признателен вам за это.

Как-то раз я собирался выступить в университете Дахай. Назвал свою тему и спросил у председателя нашего Клуба од-

1. Настоящее выступление дало название всему сборнику "Эти отвратительные китайцы".
2. Имеется в виду книга: Bugen Burdick, William Lederer "The Ugly Americans". Речь в ней идет о вызывающем поведении американцев в Юго-Восточной Азии. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. Р. Шапиро.*)
3. Такахаси Осаму. Миникуй нихондзин (Безобразные японцы). — Токио, 1970.

нокашников, не возникнут ли неприятности. "Ну что ты, какие неприятности?", — ответил он. Я попросил его все же навести справки в Дисциплинарном комитете: я всегда считался человеком неблагонадежным, а если еще и буду выступать на "неблагонадежную" тему, то окажусь мерзавцем в квадрате. Мой приятель осведомился в Дисциплинарном комитете, позвонил мне в Тайбэй и сказал: "Все в порядке! А название ты изменить можешь? Комитет считает его неблагозвучным!" Тут же произнес очень длинное и торжественное название и спросил: "Ты не против?" "Разумеется, против, — ответил я, — но раз тебе все равно нужно изменить тему, ладно — меняй". В тот раз я впервые рассказывал об "отвратительных китайцах". "Надеюсь, вы сделаете аудиозапись моего выступления, и я смогу потом превратить ее в статью?" — поинтересовался я. Мой приятель энергично кивнул. Но когда после доклада я получил наконец пленку, то обнаружил запись лишь нескольких первых предложений — "дальше тишина".

Седьмого марта сего года мне исполнилось 65 лет. Один мой друг в Тайбэе устроил праздник. "Я прожил 65 лет, 65 трудных лет!" — сказал я, имея в виду, что годы эти оказались трудными не только для меня, но и для всех китайцев. Сидевшие в зале были люди молодые, а те из них, кто приехал с Тайваня, выросли в благоприятных экономических условиях — и вот рассказываешь им о "трудностях", а они знать ничего не хотят, слушают с недоверием, не понимают. Трудности, о которых я говорил, — проблема не частная и не политическая, они касаются не отдельного человека, а всего китайского народа, такие испытания выпадают на долю и отдельного человека, и целого поколения. И если мы не поймем, в чем суть дела, если не разберемся в корнях нашей ядовитой культуры, то все будет повторяться вновь и вновь, и не будет этому ни конца, ни края...

Жизнь народа длится вечность, жизнь отдельного человека конечна. Сколько больших надежд, сколько идеальных устремлений присуще человеку? Выдержит ли он их крушение? Когда ты заглядываешь в будущее — таким ли уж светлым оно тебе кажется? Или все-таки не очень? Ни в чем нельзя быть уверенным до конца...

С самого моего детства старшие всегда старались подбодрить меня. Когда мне было лет пять-шесть, взрослые говорили: "Будущее Китая в руках твоего поколения!" Сегодня мои дети говорят внукам: "Будущее Китая в руках вашего поколения!" Поколение сменяется поколением, и сколько их еще должно смениться?! У которого по счету поколения жизнь и в самом деле станет лучше?

В Малайзии китайцы составляют 30% населения. Я несколько раз бывал в музее, где были надписи на малайском и английском языках, но на китайском — не было. Я не хочу сказать, что если есть надписи на китайском — хорошо, а если нет — плохо. Дело не в этом, а в том, что, с одной стороны, малайцам не хватает душевной широты, но, с другой стороны — и у китайцев нет реальной силы, нет статуса: они не пользуются уважением. Один китаец из Таиланда сказал мне: "Все рычаги производства таиландского риса у нас в руках". Не стоит китайцам тешить себя подобными мыслями, один приказ сверху — и все кончено. Вот поэтому быть китайцем не только трудно, но и стыдно, больно!

Даже если перед тобой китаец, живущий в США, никогда не знаешь, что он за человек: левый, правый, центрист, аполитичный, центрист с левым уклоном, левый с уклоном к центру — иными словами, вы говорите на разных языках. Что это за народ, если люди относятся друг к другу как злейшие враги, как к убийце их родного отца? Что это за страна?

Нет другой страны в мире, которая имела бы столь же долгую и богатую историю, как Китай! Нет другой страны, у которой была бы такая же многовековая культурная традиция, страны, которая достигла таких высот цивилизации! У современных греков нет ничего общего с греками древними, современные египтяне не имеют ничего общего с древними египтянами, но современные китайцы — потомки древних китайцев! Так почему же такая огромная страна, такой огромный народ пали так низко? И терпят обиды не только от чужестранцев, но и от своих: от деспотичных правителей, деспотичных чиновников и деспотичных личностей.

Мне случалось за границей заглядывать в парки: посмотришь на радостных детишек — и охватывает зависть. На них не лежит непосильный груз ответственности, перед ними широкая и ровная дорога в будущее, у них здоровая психика, они полны жизнерадостности. Тайваньские дети со школьной скамьи носят очки из-за близорукости — учеба лишает их детства. Ради успехов в учебе они готовы забыть даже близких. Если мать мальчика падает на землю, потеряв сознание, а он подбегает к ней, чтобы поднять, та горестно восклицает: "Я умру — не беда, что обо мне думать? Но ты старайся изо всех сил, старайся изо всех сил!"

Моя жена на занятиях иногда затрагивает темы морали и нравственности — ее студенты тут же протестуют: "Мы не хотим говорить о порядочности, мы хотим как следует подготовиться к экзамену!"

Я провел на Тайване больше тридцати лет. Десять лет я писал рассказы, другие десять — эссе, еще десять лет сидел в тюрьме, сейчас занимаюсь историей — так ровно поделилось время. Почему я перестал писать рассказы? Рассказы иносказательны, нужно пробиваться к смыслу через форму и персонажей — поэтому я перешел на эссе. Эссе как кинжал: можно сразу воткнуть его в сердце злодея. Писать эссе — это все равно что сидеть рядом с водителем и постоянно предостерегать его: нет, тут поверни налево, поверни направо, езжай вдоль обочины, не разворачивайся через двойную сплошную, впереди мост — сбавь скорость, впереди перекресток, красный свет и т. п. Я то и дело предостерегал, кричал без умолку и докричался до того, что оказался в тюрьме. Люди, стоящие у власти, полагают, что если никто не указывает им на ошибки, то и нет никаких ошибок. Сидя в тюрьме, я много размышлял: почему я тут? Совершил ли я преступление? Если совершил, то какое? Выйдя из тюрьмы, я пытался выяснить: мой случай — это отклонение от нормы, нечто выходящее из ряда вон? В штате Айова я официально встречался с писателями материкового Китая. Они объяснили, что людям вроде меня самим Богом предназначено сидеть в тюрьме — если не на Тайване, то в Китае. Они сказали мне: "С вашим характером вам не пришлось бы дожидаться хунвейбинов и 'культурной революции', с вами расправились бы еще во время движения против правых элементов"[1].

Почему китайцу, который способен проявить хоть каплю храбрости, который отваживается сказать хоть несколько слов правды, не миновать подобной судьбы? Мне встретилось немало людей, которые сидели в тюрьме в материковом Китае. Я спрашивал их: "Почему вас посадили?" Они отвечали: "Сказал слово-другое — и все". Почему тех, кто откровенно высказывается, ожидает тюрьма? Я думаю, это не частная проблема, а проблема китайской культуры в целом. Я даже не виню своих тайбэйских тюремщиков. Если бы присутствующие оказались на их месте и в той обстановке, возможно, они вели бы себя так же и верили, что делают то, что нужно, потому что иначе нельзя. Наверное, и я вел бы себя так же, если не хуже.

Часто можно услышать фразу: "Твое будущее в твоих руках". По мере моего взросления я все больше в этом сомне-

1. Кампания компартии Китая 1957 г., которая состояла в том, что людей призывали откровенно высказывать свое мнение о компартии Китая. Как говорил Мао Дзэдун, "выманить змею из гнезда". В результате было выявлено 550 000 "правых элементов".

вался. В действительности наше будущее в наших руках лишь отчасти — отчасти оно в руках других людей.

Человек, живущий в обществе, подобен камню в бетономешалке. Стоит барабану перевернуться — и мы уже не властны над собственным телом. Это сравнение навело меня на мысль, что это беда общества, культуры. Перед смертью Иисус сказал: "Прости их, ибо не ведают, что творят!" Прочитав эти слова в молодости, я счел, что они банальны, несущественны; я повзрослел, но по-прежнему полагал, что в них нет ничего особенного. И только достигнув нынешнего возраста, я понял, сколько в них горечи. Я понял, что китайцы пришли к своему теперешнему состоянию, к своему "безобразию", потому что не понимают своего безобразия.

Половину расходов на мою поездку в Айову взял на себя университет штата, а половину возместило частное лицо. Человек, который оказал мне материальную помощь, хозяин отеля "Пекин", господин Бэй Чжучжан — китаец. В Китае он не был ни разу в жизни. Мы не встречались и прежде, но он пожертвовал большую сумму, и я был глубоко тронут. Во время нашей беседы он сказал: "Раньше я считал, что у китайцев все замечательно, но после того, как прочел ваши книги, понял, что заблуждаюсь, поэтому и захотел встретиться с вами лично и спросить, каково ваше мнение". Когда господин Бэй Чжучжан понял, что в нашей культуре немало недостатков, он задумался о том, в чем тут причина — не кроется ли она в природе самих китайцев.

Когда я впервые собирался за границу, господин Сунь Гуаньхань сказал мне: "Только не говори, когда вернешься, что китайцы всюду китайцы". "Не скажу", — пообещал я. После моего возвращения господин Сунь спросил: "Ну, что ты думаешь?" В ответ я произнес все ту же запретную фразу: "Китайцы всюду китайцы". Мой друг надеялся, что мне не придется произносить этих слов, надеялся, что китайцы с годами меняются, — не думал, что все осталось по-прежнему.

Неужто и впрямь дело в наших природных данных? Неужто бог, создавая китайцев, вложил в наши тела безобразные души? Не думаю. И говорю это не для самоутешения. Ведь китайцы — один из самых умных народов в мире! Во всех американских университетах несколько первых мест всегда принадлежат китайским студентам; среди китайцев немало крупных ученых, взять хотя бы отца китайской атомной физики господина Сунь Гуанханя, нобелевского лауреата Ян Чжэньнина — великие умы! Дело не в том, что природные данные китайцев плохи, нет, их природные данные достаточно хороши, чтобы построить здоровый и радостный Ки-

тай, у нас есть все основания верить, что Китай станет прекрасной страной! Но не нужно с утра до вечера думать о том и только о том, что делать, чтобы наша страна стала сильной. А если страна не сильная — что с того? Главное, чтобы народ был счастлив. Как только народ обретет счастье, он сам будет стремиться к укреплению страны.

Я думаю, природа щедро наделила китайцев. Почему же тогда вот уже больше ста лет китайцы не могут преодолеть трудности? В чем причина? Позволю себе дать развернутый ответ. В традиционной культуре Китая есть некий фильтрующийся вирус, который поражает наших детей и внуков, — он жив и по сей день. Люди говорят: "Сам свои интересы не отстоял, а предков винишь". В этом высказывании зияет большая прореха. Помнится, в известной пьесе Ибсена "Привидения" у сифилитика рождается больной ребенок. Каждый раз, когда болезнь берет верх, ребенку приходится принимать лекарство. Настанет день, когда он с возмущением скажет: "Не хочу больше принимать лекарство, лучше умереть, посмотрите, что за тело вы мне дали?" Разве можно винить в этом ребенка и не винить его отца? Мы не виним своих родителей и предков, а если бы мы их и винили, то лишь в том, что они оставили нам в наследство такую культуру. Огромная страна, в которой проживает народ численностью в четверть населения земного шара, увязла, как в зыбучих песках, в бедности, невежестве, распрях и кровавых столкновениях. Когда я вижу, как мирно сосуществуют люди в зарубежных странах, моя душа наполняется завистью. Традиционная культура наделила китайский народ чертами, которые внушают мне страх!

Самые явные из них: неряшливость, беспорядочность и склонность к скандалам. Одно время в Тайбэе велась борьба с грязью и беспорядком, но продолжалась она недолго и — прекратилась. Грязь и беспорядок в наших кухнях, в наших домах! Часто, стоит китайцу войти куда-нибудь, не китайцы спешат унести ноги. Моя знакомая, недавно окончившая институт политологии, вышла замуж за француза и поселилась в Париже. Многие ее друзья, путешествуя по Европе, останавливались у нее переночевать. Как она сказала, французы убежали из их дома, на их место пришли азиаты (в то время под "азиатами" подразумевались люди с востока в целом, в том числе и китайцы). Горько было это слушать. Ведь куда ни посмотри — у нас всюду ящики из-под мороженого, валяются шлепанцы, дети бегают где придется, стены изрисованы, в воздухе стоит запах плесени. Я спросил у нее: "Разве нельзя было навести порядок?" — "Нельзя", — отрезала она. Не толь-

ко иностранцы считают нас неряхами и грязнулями — мы и сами так думаем.

Что касается шума, мощь китайской глотки воистину ни с чем не сравнима. Особенно выделяются голоса кантонских крестьян. В Америке рассказывают такой анекдот: кантонские эмигранты мирно беседовали, американцы, подумав, что те ссорятся, вызвали полицию. Приехала полиция, спрашивает, что случилось. Эмигранты объясняют: "Да мы тут шептались..."

Почему китайцы говорят так громко? Да потому, что у них нет ощущения безопасности. Им кажется, если сильно кричать — порядка будет больше и справедливости легче будет добиться. Как иначе объяснить, зачем мы так дерем горло? Думаю, это вредит репутации китайского народа и рождает беспокойство в наших собственных сердцах — ведь шум, грязь и беспорядок, естественно, влияют и на внутреннее состояние человека. Чистые окна и прибранные столы или грязь и беспорядок — два разных мира.

Что касается бытовых ссор в китайских семьях — это одна из основных и наиболее известных во всем мире особенностей китайцев. Если посмотреть на японца, перед вами свинья свиньей, зато трое японцев — это дракон. Коллективный дух японцев делает Японию непобедимой. В сражении китайцам никогда не победить японцев, в бизнесе их тоже не обойти. Взять хотя бы Тайбэй. Скажем, трое японцев занимаются бизнесом: "Сегодня заработаешь ты — завтра заработаю я". В бизнесе особенно ярко проявляется безобразие китайцев: "Ты продаешь за пятьдесят — я продам за сорок, ты продаешь за тридцать — я продам за двадцать". Каждый китаец в отдельности — это дракон. Если китаец говорит, уста его возвещают истину, на небе он одним дуновением способен погасить солнце, на земле умело управляет страной и может навести порядок во всем мире. Вне коллектива — к примеру, в научной лаборатории, на экзамене, в ситуации, где ему не приходится взаимодействовать с другими, — китаец достигает великолепных результатов. Однако трое китайцев, собравшихся вместе, — это три дракона в одной комнате, и получается свинья, змея или даже кое-что похуже. Поэтому больше всего китайцы преуспели в распрях. Где китайцы — там распри, китайцы вечно разъединены, как будто их телам не достает особых клеток — клеток солидарности, поэтому, по мнению иностранцев, китайцам неведомо единство. Мне остается только сказать: "А знаете ли вы, что это означает: китайцы не знают единства? Это означает, что есть Бог на свете! Население Китая — миллиард человек, и, если объединятся воедино все эти десятки и

сотни тысяч и сердца их будут биться в унисон, сможете ли вы это выдержать? Бог жалеет вас, потому и не допускает объединения китайцев". Говорю, а у самого сердце разрывается.

Китайцы не просто не сплоченный народ. Для их разобщенности есть серьезные основания — любой из присутствующих здесь мог бы целую книгу написать об этом. У вас есть собственный пример перед глазами: как вы сами знаете, членов китайской эмигрантской общины можно разделить как минимум на 365 групп, и все они мечтают погубить друг друга. Китайцы говорят: "Один монах несет на коромысле питьевую воду, два монаха вместе несут питьевую воду, у трех монахов питьевой воды нет". Что толку в большом количестве людей? Китайцы совершенно не понимают важности сотрудничества. Вот вы говорите, что они хоть и не понимают этого, но при всем при том могут написать книгу о важности объединения.

Когда я в прошлый раз приезжал в США (в 1981 году), я жил в доме своего университетского приятеля, и у нас состоялся проникновенный разговор о том, как спасти родину от гибели. На следующий день я сказал, что мне нужно съездить к некоему человеку. Только мой товарищ услышал это имя, глаза его недобро блеснули. Я попросил проводить меня, он отказался: "Нет, иди сам". Мой приятель, я и этот третий вместе учились в американском университете, приехали из одной и той же страны, но почему-то один не выносит другого! Рассудок бессилен это понять! Так что междоусобные распри китайцев — наша общеизвестная особенность. Вы, живя в США, даже чаще с этим встречаетесь.

Кто самые жестокие и суровые люди во всем Китае? Не иностранцы, а китайцы. Кто распродает страну? Тоже не иностранцы, а китайцы. Кто больше всех клевещет на Китай? Не иностранцы, а китайцы.

В Малайзии случилась такая история: два приятеля работали на предприятии по добыче полезных ископаемых, один из них написал донос на некоего человека, причем очень серьезный; при расследовании выяснилось, что доноситель был из круга старых друзей: они все вместе приехали из Китая и основали предприятие. Приятели спросили у него, почему он так подло поступил. Тот ответил: "Дело делом, но все вы сейчас важные птицы, а у меня работа не ладится, на кого же мне доносить, если не на вас?" Так что китайцев "подвергают чисткам" китайцы же. В такой большой стране, как, например, США, человек — словно капля в море, кто узнает, что он незаконно въехал в страну? Но вот если на него донесут... А кто донесет? Его товарищ китаец и донесет.

Многие друзья говорили мне: если твой прямой начальник китаец, нужно проявлять особую осторожность, он не только не повысит тебя, но при сокращении избавится от тебя в первую очередь, потому что ему нужно "продемонстрировать", что он "бескорыстен": не преследует личных интересов. Разве можно сравнить нас с евреями? Мне часто приходилось слышать: "Мы, как евреи, такие же трудолюбивые". В газетах говорят: в израильском кнессете разногласия, у них три человека — три мнения. Но они сумели подавить распри. Приняв решение, все его придерживаются и, несмотря на споры и смуту, сражаются плечом к плечу. Даже окруженные со всех сторон врагами, они проводят выборы! В Китае три человека — тоже три мнения, однако от Израиля нас отличает то, что китайцы, приняв решение, идут в трех разных направлениях. К примеру, один предлагает поехать в Нью-Йорк, другой — в Сан-Франциско. Проголосовали — решили ехать в Нью-Йорк. Если бы это были израильтяне, вероятно, они бы туда и поехали. Но если это китайцы... хм... "Ты поезжай в Нью-Йорк, а мне нужна свобода, так что я — в Сан-Франциско". В одном британском фильме дети поспорили: одни хотели лазать по деревьям, другие — плавать, шумели что есть мочи, потом надумали голосовать, проголосовали и решили: будем лазать по деревьям. Меня это восхитило: демократия — это не формальность, это часть жизни. Наша демократия — "показательная": во время голосования большие чиновники фотографируются, чтобы продемонстрировать, что они снисходят до принятия новой должности. Демократия не стала частью их жизни, она стала частью их шоу.

То, что китайцы не умеют объединяться, их междоусобные распри — врожденный порок. Но дело не в природе китайцев, а в том, что в китайской культуре есть самовысеивающийся вирус, который проявляется в критические минуты и лишает нас способности к самоконтролю. Мы ясно сознаем, что сами развязываем междоусобные войны, — и все равно воюем. Если котел лопнет — ну и что, пусть все будут голодными, небо обрушится — ничего, тот, кто ростом повыше, сможет его поднять.

Под влиянием "философии междоусобных войн" у нас, китайцев, выработалось особое поведение: "Умру, но не признаю ошибку". Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы китайцы признавали свои ошибки? Если вы услышите, как китаец говорит: "Это по моей вине", — радуйтесь за нацию. Когда моя дочь была маленькой, я как-то раз шлепнул ее, оказалось — напрасно, она сильно плакала, я мучился, думал, какая она маленькая и беспомощная, может рассчитывать только на отца

и мать, а они вдруг рассердились на нее, как это страшно. Я обнял ее и сказал: "Прости меня, папа ошибся, папа ошибся, обещаю больше так не делать, хорошая девочка, прости папу". Она долго не могла успокоиться. После этого случая у меня долго болела душа, но, признаюсь, я был очень горд собой: я смог признать ошибку.

Китайцы не привыкли признавать свои ошибки, наоборот, у них всегда наготове тысяча уловок, лишь бы скрыть их. Пословица говорит: "Закрой двери — обдумай ошибки". Чьи же это ошибки? Только чужие!

Когда я преподавал, мои студенты вели по моей просьбе личные дневники: оценивали критически свое поведение за прошедшую неделю. Вот какую самокритику мне приходилось читать: "Сегодня меня обманул такой-то. Я так хорошо к нему относился, из-за моей доброты он меня и обманул". Тогда я читал "самокритику" другой стороны — тоже говорит, что был слишком доверчив. Каждый в своей "самокритике" полагает, что он слишком добр, кто же тогда не добр? Мы не умеем признавать свои ошибки — утратили эту способность. Итак, мы их и не признаем, зато мы их допускаем. Ведь это заблуждение, что если мы не признаем ошибок, то мы их и не делаем. Для того чтобы скрыть ошибку, китайцам приходится прикладывать большие усилия, и они совершают еще больше проступков, чтобы доказать, что первая ошибка вовсе не была ошибкой. Китайцы любят громкие и пустые слова, часто говорят неправду, еще больше они любят слова ехидные, злые и ядовитые. Мы без конца хвастаем, что китайская нация — сильная и могучая, что китайская традиционная культура способна пустить корни во всем мире. Но этого не происходит, и все оборачивается хвастовством и пустословием.

Не буду приводить примеры лжи и наговоров, а вот яд китайского слова не скроешь. За рубежом супруги ласково называют друг друга "дорогой", "любимый", а китайские семьи изобрели ругательство: "чтоб тебя убили тысячей ножей". При обсуждении политики или, скажем, в ситуации, когда люди борются за свои права, ядовитые слова и вовсе текут нескончаемым потоком, заставляя других удивляться, почему китайцы такие злые и подлые.

Один из моих друзей писал рыцарские романы, потом ушел в бизнес. Как-то раз мы встретились на улице, он сказал: "Разве тут разбогатеешь? В самую пору вешаться!" Я поинтересовался, почему он разорился, и он сказал: "Ты не знаешь, что такое общаться со всеми этими коммерсантами: говоришь, говоришь, но все равно не понимаешь, что они имеют

в виду". Многие мои товарищи говорят: "Очень трудно общаться с китайцами, проговоришь с ними полдня, но все равно непонятно, что у них на уме". Я отвечаю: "Что тут странного? Китаец и сам не знает, что на душе у его друга, — что уж говорить о вас, иностранцах". Спросишь его: "Ты поел?" Он скажет: "Поел!" — а у самого желудок урчит от голода.

Как ведет себя иностранец во время выборов: "Полагаю, я для вас подходящий человек, поэтому прошу вас всех голосовать за меня". Китаец же поступает на манер Чжугэ Ляна[1]: ждет, что кто-нибудь придет, позовет его, а он раз за разом будет отказываться: "Ох, нет, я не гожусь! Разве хватит мне на это способностей?" Но попробуйте не позвать его, он будет ненавидеть вас до конца дней.

Другой пример. Ты просишь меня выступить, а я говорю: "Нет, мне не удаются публичные выступления!" Однако если бы ты меня не пригласил, а мы потом встретились бы в Тайбэе, я, может быть, запустил бы в тебя кирпичом, чтобы отомстить за то, что ты меня не пригласил. Если народ так себя ведет, как тут исправить ошибки! Совершить десять проступков, чтобы скрыть один, а потом совершить сто проступков, чтобы скрыть десять, и так всегда.

Однажды я навещал в Тайчжуне некоего английского профессора. В том же университете преподавал и один мой старинный приятель. Узнав, что я приехал в Тайчжун, он примчался к этому профессору, чтобы пригласить меня на ужин. Я извинился, объяснил, что у меня встреча, но ответ был: "Нет-нет, приходи непременно". Я сказал осторожно: "Ладно, потом поговорим". А он свое: "Приходи непременно! До встречи!" Мы, китайцы, понимаем, что к чему, а вот иностранцам это невдомек. Когда мы с английским профессором обсудили все, что собирались, и время подошло к ужину, я стал прощаться: "Ну, мне пора домой..." Профессор удивился: "Как домой? Вы же только что условились о встрече с таким-то!" Иностранцам не понять эту нашу китайскую хитрость: мы говорим не то, что думаем.

Китаец всю жизнь несет на своих плечах тяжелейшее бремя: всегда и везде строит предположения и догадки о том, что думает *другой*, даже если разговаривает с себе подобным. А уж если этот *другой* обладает властью и богатством или занимает высокую должность и тебе непременно нужно сойтись с ним

1. Чжугэ Лян (181–234) — китайский полководец и государственный деятель эпохи Троецарствия. Герой китайского классического романа XIV в., где он олицетворяет мудрость, опыт, военную хитрость и т. п.

поближе, ты каждое мгновение будешь прикидывать, о чем же он сейчас думает. Это невероятная трата энергии. "В Китае дела делать легко, а с людьми иметь дело трудно", — гласит пословица. "Иметь дело с людьми" — вот фигуры высшего пилотажа. Справедливость этого утверждения хорошо известна каждому, кто, пожив некоторое время за границей, возвращается в Китай. "Дела делать легко" — то есть два плюс два — четыре. А вот "иметь дело с людьми трудно" означает, что два плюс два может равняться и пяти, и единице, и даже восьмистам пятидесяти трем... Вот отчего мы никак не можем выбраться из лабиринта бахвальства, пустозвонства, лжи, фальши, коварства. Из всех моих талантов самый замечательный такой: я могу заснуть на любом собрании и проснуться, как раз когда оно кончается. С чего бы это? Да просто на собраниях люди говорят то, во что и сами не верят, слушай, не слушай — какая разница?

В этом году[1] у Чэнь Жун[2], известной писательницы материкового Китая, участвовавшей в программе международного сотрудничества, вышла книга под названием "Правда — это правда, а ложь — это ложь", которую я всем вам очень советую прочесть. Если обстоятельства вынуждают нас лгать и притворяться, если мы не можем позволить себе выражать свои мысли и чувства прямо, нам, по крайней мере, следует помнить, что дурной поступок — дурен. Но если мы вдруг скажем себе, что дурной поступок не так уж плох, что в нем нет ничего особенного, что он не только позволителен, но и полезен, ситуация станет критической. И мы, китайцы, уже давно находимся на грани подобной критической ситуации.

Китайцы непрестанно оправдывают свои ошибки, постоянно похваляются, пустословят, лгут, фальшивят, проявляют коварство, отчего сердца их покрываются броней — как узнать, что происходит в душе у такого человека? Китай — огромная страна, страна древней культуры, бескрайняя, великая. Каким должен был бы быть дух такого народа? Само собой — духом народа великой страны! Но на деле этот "бескрайний и великий дух" можно встретить разве что в книгах да кинофильмах. Знаете ли вы хоть одного китайца — человека большой души? Тогда посмотрите-ка на него попристальней — он тут же схватится за нож! Разве не так? Иностранцы порой любят пошуметь, повздорить, но, успокоившись, способны пожать друг другу руки. А китайцы? Поссорившись, мы

1. Имеется в виду 1984 г.
2. Чэнь Жун (р. 1936) — китайская писательница.

становимся врагами на веки вечные, вражда не утихает как минимум три поколения! Почему у нас нет терпимости и широты, присущих другим народам?

Из-за этой своей неуступчивости и сердечной узости китайцы колеблются между двумя крайностями: абсолютным самоуничижением и беспредельным высокомерием. Самоуничижающиеся — рабы, высокомерные — господа. Но и те и другие одинаково лишены самоуважения. Если ты погряз в самоуничижении и считаешь себя ничтожеством, то чем ближе ты оказываешься к власть имущим, тем ты становишься улыбчивее. Если же ты спесив, то считаешь всех остальных пустым местом и не удостаиваешь их взгляда. Мы — странные существа, страдающие раздвоением личности.

В Китае очень легко произвести впечатление на окружающих: раз — и все пришли от тебя в восторг. Но вот для того, чтобы сохранить благоприятное впечатление, силенок у китайца маловато. Стоит кому-то хоть немного отличиться, как уши его тотчас перестают слышать, глаза — видеть, голова начинает гореть как в лихорадке. Написал пару статеек — значит, он писатель; снялся в паре фильмов — он кинозвезда; год-другой просидел на какой-нибудь незначительной должности — он уже отец народа; почитал лекции в Америке года два — да он корифей педагогики! Всё это — болезнь эго, раздувшаяся гордыня. На Тайване однажды случилась авария[1]. Некий выпускник Тайваньского государственного педагогического института отправился на автобусную экскурсию. Девушка-гид объявила: "Наш уважаемый водитель — лучший во всей Поднебесной, он и талантлив, и молод". "Уважаемый водитель" тут же выпустил руль из рук, дабы сложив их, поприветствовать пассажиров: ведь выдающийся мастер своего дела и без руля может вести автобус. Это ли не раздувшаяся гордыня?

Почему китайца так быстро начинает распирать от гордости? Потому, что он подобен мелкой чаше, которая мигом переполняется: у него весьма ограниченный кругозор, мелочная душа, и стоит солнцу улыбнуться ему, как он тотчас решает, что как бы ни были велики небо и земля, с ним, таким необыкновенным, им все равно не сравниться. И ладно бы еще, если бы подобных простаков было мало. Но если все китайцы, или большинство китайцев, или, уж по крайней мере, немалое число китайцев таковы, это уже опасно... Нас как будто забыли наделить способностью к самоуважению, мы не понимаем, что такое равенство. Если ты мне не господин, зна-

1. Авария, к счастью, не имела смертельного исхода. (*Прим. ред.*)

чит, я стану господином тебе — таков обычный ход мыслей, а в результате мы, китайцы, даже под страхом смерти не можем признаться в собственных ошибках. Но, как и все люди на свете, мы непрестанно ошибаемся, и тут нас охватывает парализующий страх. Попробую объяснить на примере. Один мой друг в Тайбэе тяжело заболел. Его доставили в одну из центральных клиник, утыкали с ног до головы трубками — и спасли. Через несколько дней родные, знавшие, что плата за лечение в этой клинике им не по карману, решили перевести его в другую, о чем и сообщили лечащему врачу. Тот взорвался: "Я с таким трудом вытащил его с того света, а вы поедете в другую больницу?!" — и тут же выдернул все трубки, отчего мой друг едва не отправился на тот свет. Рассказывал он мне об этом с горечью и негодованием. Я поинтересовался именем врача, чтобы написать статью об этом инциденте. Он тут же воскликнул в испуге: "Ишь какой прыткий! Не суй нос куда не следует! Знал бы, ни за что бы тебе не рассказывал!" Я опешил: "Чего ты испугался? Это же просто врач! Заболеешь — пойдешь к другому! Что он может тебе сделать, если ты больше не обратишься к нему? Да если он и захочет с кем поквитаться, так со мной, ведь заметку напишу я. Я не боюсь, чего тебе бояться?" Друг обозвал меня пропащим человеком. Я думал, он обрадуется — ан нет. И дело тут не в нем: он мой близкий друг и прекрасный человек. И прореагировал он так из любви ко мне: испугался, что у меня будут неприятности. А вот другой пример. В мой первый приезд в Америку произошло ограбление. Вора поймали, но пострадавший-китаец отказался прийти на опознание. Это и есть тот самый парализующий страх, страх перед всем на свете.

Каждый из нас пребывает в невероятном страхе, не знает собственных прав, не умеет за себя постоять. Что бы ни случилось, на все один ответ: "Да ладно, ничего". "Да ладно, ничего" — сколько жизней погубили эти три слова! Они загубили душу народа. Родись я иностранцем или, к примеру, всесильным правителем, я, с точки зрения китайца, восстал бы против законов природы, если бы не воспользовался своим положением и не стал бы мучить и притеснять других! Парализующий страх — великолепное средство для производства деспотичных и хищных правителей, поэтому в Китае они никогда не переводятся. Любой может заглянуть в текст "Зерцала всеобщего, в управлении помогающего"[1] — в китай-

1. Знаменитое историческое сочинение "Цзычжи тунцзянь" (1084), охватывающее историю Китая с 403 г. до н. э. до 959 г. н. э. Бо Ян является автором его пересказа на современном китайском языке.

ской традиционной культуре снова и снова подчеркивается принцип: "Мудрый себя оберегает", то есть мудрость состоит в том, чтобы спасать себя, а не других. Деспотам и тиранам только того и надо, чтобы люди пренебрегали общим ради личного. Вот китайцы и опускаются все ниже.

Самой славной эпохой в развитии китайской культуры был период Сражающихся царств[1], но впоследствии у нас распространилось конфуцианство. К тому времени, когда к власти пришла династия Восточная Хань[2], дело дошло до того, что вышел правительственный указ: в речах, сочинениях и других текстах не должно содержаться ничего, что выходит за рамки сказанного прежними учителями, — это было названо "школой", "традицией". Ты был не вправе создать новое учение, а если создавал, нарушал закон! Все это не могло не отразиться самым печальным образом на китайской интеллигенции, на ее воображении и способности к абстрактному мышлению: ведь надетый на голову полиэтиленовый мешок не пропускает воздуха...

Расскажу вам также историю о покупке арбуза. Хозяин лавочки велел своему подручному выйти из магазина, повернуть на запад[3], найти лоток с арбузами, который находится у первого моста, выбрать арбуз, взвесить и купить. Подручный так и сделал: пошел от магазина на запад, но моста там не оказалось, лотка с арбузами тоже, и он вернулся с пустыми руками. Хозяин обругал его. Тот ответил, что, как он заметил, лоток с арбузами находится в восточном направлении. Хозяин спросил, отчего же он не пошел на восток, и получил ответ: "Вы не велели". Хозяин обозвал подручного болваном, но про себя подумал: вот это человек искренний, исполнительный и безынициативный — а только на таких и можно положиться. Если бы, выйдя на улицу и обнаружив, что на западе арбузов нет, подручный пошел на восток и купил там арбуз, дешевый и сладкий, то по возвращении хозяин похвалил бы его: "Прекрасно! Отлично! С такими, как ты, и следует иметь дело. Ты-то мне и нужен". А сам бы подумал: с этим малым связываться опасно: любит задумываться, о чем не просили. Господа, наибольшую опасность для хозяев представляют рабы, наделенные способностью мыслить. Хозяева если и не лишают таких рабов жизни, то всеми силами стараются избавиться от них. Могут ли самостоятельно мыслить люди,

1. 403–221 гг. до н. э.
2. 25–220 гг. н. э.
3. Китайцы, указывая дорогу, обычно пользуются наименованием сторон света (на запад, на восток), а не привычными нам "направо", "налево".

вскормленные подобной культурой? Мы не приучены к самостоятельности, мы даже боимся ее, поэтому ничего не умеем ценить по достоинству: всегда сглаживаем острые углы, со всем стараемся мириться. Нам все равно, где истина, где ложь — у нас нет критериев, чтобы отличить одну от другой. И если мы таковы и сегодня, причины следует искать в нашем прошлом, в традиционности нашей культуры.

В китайской культуре за четыре тысячелетия, прошедшие со смерти Конфуция, не появилось ни одного мыслителя! Люди интеллектуального труда все это время писали примечания к его сочинениям или к сочинениям его учеников, но собственного мировоззрения не создали: это не только не поощрялось, но сурово возбранялось...

Китайцы и соевый маринад

Лекция, прочитанная 16 августа 1981 года в Конфуциус-плаза[1] в Нью-йорке

Тема, которую мне предложили для сегодняшнего выступления, звучит так: "Китайцы и соевый маринад". Следовательно, нам прежде всего предстоит выяснить, кто такие китайцы и что такое соевый маринад. Выяснять это мне бы очень не хотелось — как говорится, это все равно что "пририсовывать змее ноги"[2]. Стоит дать определение тому, что и так хорошо известно, как содержание и форма определяемого начинают расплываться, ускользать и все только запутывается.

Приведу в пример одну историю: некто задал просветленному буддийскому наставнику вопрос: "Если моя теперешняя жизнь — следствие жизни прежней, могу ли я узнать, каким человеком я был прежде? Если я буду перерождаться и впредь, можете ли вы мне сказать, каким я стану?" Как известно, буддисты верят в посмертное перерождение. Просветленный ответил двумя фразами: "О том, какова была твоя прежняя жизнь, можно судить по тому, что тебе дано в настоящей. О плодах, что достанутся тебе в будущей жизни, можно судить по тому, что ты делаешь в настоящей". То есть

1. Небоскреб в Нью-Йорке в районе Чайна-таун — кооператив, построенный американцами китайского происхождения, где, кроме жилой части, имеются центры общественного назначения.
2. "Пририсовать змее ноги" — китайское идиоматическое выражение, означающее "делать нечто излишнее".

если настоящая твоя жизнь наполнена радостью, значит, в прежней ты наверняка был человеком добрым и честным. А если вся твоя жизнь на земле — цепь несчастий, это явное свидетельство того, что в прежней жизни ты был грешен. Мне кажется, что утверждаемая тут истина имеет отношение и к китайской культуре...

Позавчера я был в бостонском музее и видел там на выставке туфельки, которые женщины носили во времена наших бабушек, — туфельки для бинтованных ножек. Это явление я еще застал: все женщины бинтовали ноги. Вам, молодым, сегодня трудно в это поверить. Как случилось, что в нашей культуре утвердился такой жестокий обычай? Этой процедуре подвергалась половина населения Китая: ступни женщин бинтовали так туго, что дело часто доходило до переломов и нагноений, и порой кончалось тем, что женщины вообще лишались способности ходить. И так тянулось целое тысячелетие! Можно ли в это поверить? К сожалению, китайцы позволяли подобным изуверствам существовать бесконечно долго, никто не видел в них ничего противоестественного, не согласующегося с природой и вредного для здоровья. Напротив, большинству мужчин казалось, что малюсенькие бинтованные ножки достойны всяческого восхищения!

Ну а мужское население Китая — чему подвергалось оно? Я имею в виду институт евнухов. Судя по историческим хроникам, в досунскую[1] эпоху любой, кто обладал деньгами и властью, мог при желании оскопить своих слуг. Право это существовало до XI века и было запрещено законом только в эпоху Сун. Все это означает, что некоторые присущие нашей культуре явления противоречат требованиям здравого смысла. К тому же их никак не контролировали, и с течением времени они получили широкое распространение.

Культура любого народа подобна Великой реке Янцзы, текущей бурно и свободно. Но со временем и на дне Великой реки скапливаются нечистоты: дохлая рыба, трупы кошек и крыс и т. п., из-за чего течение замедляется и вода превращается в болото, причем чем больше глубина, тем сильнее застой и разложение. В конце концов стоячая вода становится "соевым маринадом": превращается в отвратительную трясину, кислую и зловонную.

Я говорю о соевом маринаде, но боюсь, что юные слушатели меня не поймут. Я вырос на севере, в моих родных кра-

1. Сун — династия, пришедшая к власти во второй половине X в.

ях он очень распространен. Не знаю точно, из чего его делают. Впрочем, утку по-пекински в китайских ресторанах пробовать доводилось всем, а в качестве приправы к ней как раз и подают соевый соус. Соус этот не жидок и не текуч и отнюдь не напоминает шумную, рокочущую под небесами воду реки Хуанхэ. Скорее это застоявшаяся вязкая жижа, которая со временем еще и подвергается испарению, отчего тягучий осадок становится только гуще. Вот на такой соус и похожа китайская культура.

Особенно ярко эта особенность проявилась на "ниве чиновничества". В прошлом главной целью, ради которой человек стремился получить образование, была чиновничья карьера. Эта неосязаемая "нива" состояла из тех, кто преодолел государственные экзамены. Такой преодолевший отбор и попавший в чиновники человек приобщался к сословию, совершенно оторванному от народа... Благодаря образованию можно было сделать карьеру; сделав карьеру — стать обладателем красавиц и денег: как говорится, "добыть из книжек яшмовые личики и хоромы из сияющего золота"... В ту пору представители других сословий подвергались огромному количеству запретов: им не разрешалось носить одежду того или того покроя, ездить в повозках того или иного типа и т. д. Феодальный общественный порядок был рассчитан на чиновников. Китай так долго пребывал в тисках феодализма! И в экономической сфере мало что менялось, а уж в политической мы веками прозябали в соевом маринаде: я имею в виду образ жизни, при котором во главу угла ставились интересы чиновника. Понятно, что с ходом времени маринад становился все мутней, все гуще, а многолетнее пребывание на самом дне маринадного чана дурно влияло на китайцев, в чьем характере вырабатывались корыстолюбие и подозрительность. Я очень недолго пробыл в Америке, но, судя по тому немногому, что мне случилось увидеть, американцы доброжелательны, жизнерадостны и часто смеются. Наблюдая во время поездки за поведением детей своих друзей-китайцев, я заметил, что они хоть и веселы, как всякие дети, однако смеются очень редко. Неужели у нас, китайцев, лицевые мускулы работают не так, как у других людей? Или мы просто слишком хмуры по своей природе?

Из-за того, что нашему народу всегда не хватало молодой энергии, свободы дыхания, у нас поневоле сформировался характер, идущий во вред нам самим. Китайцы подсиживают друг друга, не понимают, что такое солидарность. Мне вспоминается, как начальник японской разведки учил своих подчиненных: "В любом человеке вы должны подозревать вра-

га". Для разведки или уголовного розыска это, может, и неплохой принцип, но пригоден ли он для обыкновенного китайца, чей мозг всегда сверлит мысль: "А не хочет ли этот чужак поживиться за мой счет?"

Наша страна невероятно велика, это страна огромных ресурсов с восьмисотмиллионным, даже миллиардным населением[1]. Разве мы сегодня жили бы хуже японцев, сумей мы сплотиться и действовать сообща? Из-за многовекового господства деспотичных феодалов китайцы слишком долго мариновались в соевой жиже. Наши мысли, наши оценки, наш кругозор — все покрылось плесенью из маринадного чана, откуда мы никак не можем выбраться. Мы почти разучились отличать добро от зла, проявлять нравственную твердость при оценке того или иного явления. В любом деле мы больше полагаемся на эмоции и интуицию, чем на способность к рассуждению. Все предстает перед нами в соево-маринадном свете, где нет ни правого, ни левого, ни прямого, ни кривого, ни правильного, ни ошибочного, ни белого, ни черного. При таком подходе к жизни есть ли место размышлению и анализу? Отсюда длительный застой, окостенение, самопотакание — и, в конце концов, всеобщее возмездие: Опиумные войны[2].

Опиумные войны были для нас грубым вторжением иноземной культуры, но, если взглянуть на дело с иной точки зрения, эта "позорная страница в истории китайского государства" стала первым шагом к пробуждению. Японцы иначе смотрят на вещи: В XVIII веке американцы потопили два японских судна, и это привело к тому, что Япония явила себя миру[3]. Японцы считают, что постыдное событие послужило им во благо: национальный позор стал катализатором национального развития.

На самом деле и нам следует благодарить судьбу за Опиумные войны. Не будь их, на что была бы похожа наша нынешняя жизнь? Скорее всего, у каждого из присутствующих на голове красовалась бы косица, у женщин были бы крохотные перебинтованные ножки, все носили бы длинные платья и

1. В настоящее время население Китая достигает примерно 1,4 миллиарда человек. (*Прим. ред.*)
2. Имеются в виду две войны — 1840–1842 гг. и 1856–1860 гг., — развязанные Англией и Францией против императорского Китая, одной из причин которых были ограничения на ввоз опиума в Китай.
3. Не вполне ясно, что имеет в виду автор. Датой открытия Японии Западу считается 1854 г., когда коммодор американского военно-морского флота Мэтью Перри прибыл в Японию на боевых кораблях и заставил ее подписать с США договор о мире и дружбе; причем американцы стреляли лишь холостыми снарядами.

куртки старинного покроя, по суше передвигались бы в паланкинах, а по воде — в маленьких лодочках. Произойди Опиумные войны тремя столетиями раньше, надо думать, и Китай изменился бы гораздо раньше, а если бы можно было отодвинуть их еще на тысячелетие назад, весь исторический процесс пошел бы иначе. Мне представляется, что "позорная страница в истории китайского государства" на самом деле послужила мощным импульсом к развитию нашей культуры, погрязшей в соевом маринаде, и не будь такого импульса, китайский народ до сих пор барахтался бы на дне чана, что, в конце концов, привело бы к удушью и смерти.

С Опиумными войнами в страну пришла чужая модернизированная культура Запада; чем раньше бы она проникла в старорежимный Китай, тем лучше было бы для последнего. Такой мощный импульс, конечно, стал серьезным вызовом для нашей истории и цивилизации, зато дал дорогу новой материальной и духовной культуре. Что касается современной материальной западной культуры с ее самолетами, автомобилями, метро, оружием и прочим, мы, китайцы, будто внезапно прозрели: оказывается, вовне существовал другой, неведомый мир с огромным количеством неведомых явлений и предметов, и это заставило нас пересмотреть сложившиеся представления. Что же касается культуры духовной, то и тут западная политическая и научная мысль открыла для нас множество теорий и учений. Мы понятия не имели о существовании таких понятий, как демократия, права человека, нормы судопроизводства, — все это были нововведения, позаимствованные у западной цивилизации...

Когда в феодальные времена одна правящая китайская династия приходила в упадок и на смену ей приходила другая, это никак не отражалось на политическом строе. Единственным наглядным проявлением того, что к власти пришли новые правители, было сожжение домов. Чтобы продемонстрировать свое несходство с предшественниками, они сжигали дотла дворцы и храмы, возведенные предыдущей династией, и строили "свои" — новые. Это якобы делалось для того, чтобы уничтожить постройки деспотов и наглядно показать, что теперь будут соблюдаться принципы гуманности: "гуманистам" надлежало сжечь логово "тиранов".

Все это повторялось из века в век, тогда как в сфере политической мысли не менялось ничего — одни лишь сгоревшие дворцы призваны были символизировать смену власти. Кстати сказать, в нашей древней стране, существование которой насчитывает несколько тысячелетий, именно по этой причине сохранилось очень мало старинных построек.

Китайская политическая система провозглашала порой принципы, сходные с западными, примером тому может служить извечно повторявшееся: "Если наследник императора нарушит закон, он подвергнется такому же наказанию, как и простолюдин". Но это только слова. На самом деле ничего подобного никогда не было и быть не могло. Наследника, преступившего закон, никогда не судили тем же судом, что и простой народ: у китайцев никогда не было даже отдаленного представления о политической свободе и ограничении власти законом. Встарь люди говорили:"У нас есть свобода — можно ругать императора". Возможно, народу и дозволялось ругать императора, но либо про себя, либо так, чтобы никто не слышал. <...>

Нам следует научиться самоанализу — рациональному, а не эмоциональному. Например, во время ссоры муж может заявить жене: "Как плохо ты ко мне относишься!" В ответ жена швырнет еду на стол и закричит: "Это я-то к тебе плохо отношусь? Так плохо, что даже каждый день готовлю тебе?" Это всего лишь демонстрация враждебности — такой способ выяснения отношений не поможет их улучшить, так как не имеет ничего общего с желанием понять себя и другого. Но с тех пор, как в нашу жизнь стали проникать западные идеи, изменения произошли не только в китайской политике, но и в этике. Раньше избиение мужем жены было делом обычным, а теперь только попробуй!

Нынешней молодежи очень повезло, так как многие устаревшие, обветшавшие традиции отошли в прошлое, и не только в политической и моральной сферах, но и в сфере культуры. Тем не менее стоит заговорить о западной культуре и цивилизации, как всегда находится кто-нибудь, кто напомнит, как позорно быть "прихвостнем Запада", "идолопоклонствовать перед Западом". Но как-то я задумался: так ли уж плохо восхищаться Западом? Западный этикет не в пример лучше нашей варварской жестокости, западное огнестрельное оружие куда действеннее наших луков со стрелами. Что постыдного в том, чтобы почитать тех, чьи эрудиция и нравственность выше твоих? Китайцам недостает мужества, чтобы восхищаться другими, однако его у них вполне достаточно, чтобы на них напускаться.

Наша разносторонняя и глубокая "культура, погрязшая в соевом маринаде", заставляет нас переживать процесс, который я про себя называю эффектом пересаженного мандаринового дерева. На мандариновом дереве, которое росло в родных краях, плоды созревали крупные и сладкие, но вот его пересадили, и мандарины стали маленькими и кислы-

ми — почва и вода не подходят. Один мой друг, неоднократно выручавший меня в годы моего тюремного десятилетия, господин Сунь Гуаньхань в свое время пытался выращивать пекинскую капусту в Питтсбурге, однако в том, что созревало у него на грядке, трудно было признать капусту. Посмотрите на японцев — у них есть особый талант: обучившись чему-либо, они тут же внедряют это в жизнь. Китайцы же, что-либо усвоив, даже и не думают о применении. У японцев завидный характер: они подражают лучшим образцам и добиваются полного сходства. Китайцы же стараются уклониться от обучения под благовидным предлогом "несоответствия национальным особенностям". Это ли не отличное оправдание собственного бездействия? Как-то раз перед Первой китайско-японской войной[1] японцы осматривали военно-морские базы Китая и заметили, что наши моряки сушат одежду на стволах орудий. И сделали вывод: такая армия воевать не способна...

Китайцы чрезвычайно склонны к эмоциональности и субъективному взгляду на вещи. Мы судим о явлении по той его стороне, которая попалась нам на глаза. Но следует развивать в себе способность смотреть на вещи не только со своей точки зрения, а с разных сторон. Позавчера я сел на самолет в аэропорту Кеннеди и, оказавшись на борту, вздремнул часок. Проснулся и увидел: мы так и не взлетели, а расспросив, понял, что дело в забастовке. Но пассажиры как ни в чем не бывало болтали, смеялись. В такой ситуации китайцы устроили бы скандал; посыпались бы вопросы вроде: "Почему мы не взлетаем? Какая еще забастовка? Им что, на еду не хватает? Почему продавали билеты на этот рейс?" В Америке же смотрят на дело иначе: "Будь я пилотом, я, возможно, тоже участвовал бы в забастовке". В этой малости можно увидеть суть принципов великих держав. В той же Америке толерантность является нормой: там спокойно относятся не только к цвету кожи и национальности, но и к чужим языкам и обычаям, в том числе и к нашей китайской диковатости...

1. Война 1894—1895 гг., в результате которой Корея превратилась из китайской в японскую колонию, а в Китае новый импульс получило революционное движение.

Лекция, прочитанная 22 августа 1981 года на историческом факультете Стэнфордского университета

Уважаемые дамы и господа, для меня большая честь встретиться с вами сегодня в таком знаменитом учебном заведении, как Стэнфорд...

Прежде чем приступить к своей основной теме, касающейся уроков, которые мы, китайцы, должны были вынести из пятитысячелетней истории нашей страны, я бы хотел поделиться с вами ощущениями, которые у меня остались после встречи с индейцами — истинными хозяевами Америки, ее коренными жителями.

Я посетил индейский поселок, побывал в резервации и пообщался с индейцами. Конечно, говорили мы недолго, однако разговор произвел на меня очень сильное впечатление. Особенно запомнился мне находившийся в сорока минутах езды от города полуразрушенный индейский поселок, куда я поехал в свободную минуту. При виде произведений народного искусства мне пришло в голову, что вещи, которые изготовлялись шестьсот лет назад дальними предками современных мастеров, неотличимы от поделок сегодняшних. С точки зрения стиля, отделки, узоров, способов плетения, использованного материала — не изменилось ничего! Эти маленькие вещицы, хранящие тепло человеческих рук, заставили меня ощутить всю горечь судьбы их хозяев. Можно ли было представить себе, что великая, обладающая древнейшей историей народность будет тихо агонизировать в особых резервациях, предоставляемых ей американским правительством?

Как сами индейцы расценивают свою нынешнюю участь? Позади у них долгие годы унижений, обмана, притеснений. Меня совершенно обескураживает их способ противостояния судьбе. Ведь дело не в отдельных проблемах — экономических, этических и т. п., речь идет об угрозе для самого существования народа.

Я не провидец и не предсказатель, но делаю выводы из собственных впечатлений, а также из фактов, известных мне от друзей. Дамы и господа, разве у нас с вами нет оснований опасаться, что по прошествии ста, пятисот, тысячи лет — словом, рано или поздно — индейская народность исчезнет? И произойдет это из-за сознательного нежелания индейцев хотя бы отчасти перенять окружающую их современную культуру...

Каждый раз, когда я вспоминаю руины индейских поселков, эту умирающую культуру, у меня сердце кровью обливается. И в голову невольно приходит мысль: не настанет ли день, когда и китайская нация повторит судьбу индейцев? Один мой друг считает, что такого быть не может: у Китая древняя история и многочисленное население. Мне же представляется, что такой оптимизм ни на чем не основан: разве пятитысячелетняя история — это панацея? В масштабах Вселенной пять тысяч лет — лишь мгновение. Человечество предполагает существовать еще мириады лет, на этом фоне пять тысяч лет — очень малый промежуток времени. Сама по себе большая численность также не может обеспечить взлет или падение народа: когда европейцы впервые ступили на землю Америки, индейцев было очень много, гораздо больше, чем белых. Вот я и тревожусь: не проглядели ли мы, китайцы, чего-нибудь важного?

Главный вопрос, не дающий мне покоя: как случилось, что Китай до сих пор не стал великой державой? Ведь у нас было для этого все необходимое. Значит, существуют негативные факторы, более весомые, чем вся совокупность факторов позитивных. Хотя у меня не было серьезного учителя истории и я, что называется, образовывал себя сам, причем в условиях кустарного производства (*смех в зале*), тем не менее учился я очень прилежно.

Сейчас я хотел бы ознакомить вас с результатами этого кустарного производства, предложив вашему вниманию некоторые выводы и наблюдения. Прошу присутствующих вносить поправки и высказывать замечания в случае несогласия.

Мне только что вспомнилась одна история. Некая крупная американская компания отправила своего сотрудника в Европу для ознакомления с организацией производства, методами работы и т. п. Он пробыл там несколько месяцев и по возвращении представил подробный отчет на двухстах с лишним страницах о том, что европейские фирмы отстают во всех отношениях, прежде всего по части технологий и администрирования, и ни в чем не достигают американского уровня. Доклад был передан в правление, и вскоре совет директоров уволил беднягу. Председатель совета директоров объяснил дело так: "Целью вашей поездки было выявление преимуществ, а не отсталости европейских предприятий. О своих сильных сторонах мы отлично осведомлены, о них незачем распространяться. Вам требовалось узнать, в чем европейцы нас опережают, и, тем самым, увидеть наши недостатки. Только так достигается развитие. В самовосхвалении нет никакого проку, более того, оно вредно: появляется самодо-

вольство, люди начинают работать спустя рукава, и все кончается банкротством"... Вот и я сегодня буду говорить не о достоинствах китайцев, а о проблемах, которые, на мой взгляд, мешают прогрессу.

Днем я обедал с друзьями, речь зашла о проблемах образования, и тут мои собеседники сразу погрустнели: у всех у них детям вскоре предстоит поступать в университеты, что связано с огромными расходами. При этом я, кстати, совершил маленькое открытие: китайцы, даже те, что живут очень стесненно, всегда отправляют детей учиться — вопреки всем лишениям и трудностям. Что само по себе серьезное достижение: в некоторых странах образование не считается первейшей необходимостью...

Итак, назову первую проблему. Хотя история Китая и насчитывает пять тысяч лет, все эти пять тысяч лет феодализм, уничтожавший человеческое достоинство, лишь набирал силу. Некогда, в эпохи Чуньцю и Чжаньго[1], слуги и господа общались как равные, правители и министры сидели на одной циновке. Но во II веке до нашей эры, в эпоху Западная Хань, советник Шу Суньтун[2] разработал придворный этикет. В то время страной правил император Лю Чэ[3], а у власти стояли конфуцианцы. Согласно новым правилам, императора должен был окружать ореол величия, торжественности и даже страха. Теперь он принимал министров лишь в присутствии охраны; если кто-либо из придворных во время аудиенции нарушал этикет, например поднимал голову не тогда, когда полагалось, его подвергали суровому наказанию. Все это привело к отдалению правителей от простого народа — между ними раз и навсегда установилась огромная дистанция. Какое-то время у министров еще оставался некоторый контакт с императором, но с наступлением эпохи Сун от всего этого ничего не осталось. Дни, когда император и его советники могли сидеть рядом и непринужденно беседовать, ушли навсегда. Вроде бы реформа Шу Суньтуна носила вполне частный характер, однако символическое ее значение оказалось огромно: расстояние между господином и слугой, чиновником и простым человеком становилось все больше и больше.

В XIV веке с наступлением эпохи Мин идее ценности человеческой личности был нанесен последний и сокруши-

1. Чуньцю — "Вёсны и осени" — период китайской истории с 770 по 476 г. до н. э. Чжаньго — "Период Сражающихся царств" — с 403 по 221 г. до н. э.
2. Шу Суньтун — конфуцианец, советник императора Гао-цзу и наставник наследника.
3. Лю Чэ — ханьский император У-ди, правил с 141 по 87 г. до н. э.

тельный удар — никто не ожидал, что император проявит такую жестокость к подданным. Минская династия установила новую систему отношений, в основе которой лежал принцип "государь — отец народа", что означало: твой правитель должен быть тебе так же дорог, как родной отец. Одним из самых страшных следствий этой косной идеологии стало явление, называемое *тинчжан*[1]. Будь ты первым министром или мелкой сошкой, если вышестоящий считал, что ты нарушил то или иное установление, он был вправе избить тебя до смерти в любом официальном месте: при дворе, в суде — где угодно. Такая система наказаний, узаконенная "отцом народа", фактически уничтожила самоуважение китайцев, исковеркала их чувство человеческого достоинства, для проявления которого оставался один лишь способ: молча сносить удары гулявших по спине палок. (*Смех.*) Самые гордые из придворных упирались головой в землю, чтобы без стонов сносить боль: зачастую они стирали бороду в кровь, но не издавали ни звука. Другой возможности выразить протест не существовало.

Мы часто говорим, что китайцы обладают невероятным влиянием: все народы, вторгавшиеся на территорию Срединного царства, в конце концов "окитаивались" — тому есть множество примеров. Возьмем самый ранний из них: в эпоху Северной Вэй[2] император Сяо-вэнь Ди, именовавшийся Тоба Хуном, произвел ряд реформ и стал править на китайский манер. Еще один яркий пример — маньчжуры, повторившие опыт Тоба Хуна. А ведь оба эти события произошли в период крупнейших иностранных вторжений! Но и тогда последнее слово оставалось за китайцами. Впрочем, не стоит забывать, что, заимствуя китайскую культуру, пришельцы в первую очередь усваивали самые косные ее черты, поэтому результат был неутешительным. После того как процесс ассимиляции завершался, пришлые народы не становились сильнее, напротив — приходили в упадок. Так, император Тоба Хун запретил сяньбийцам говорить на родном языке, а исконные их фамилии велел заменить китайскими. Кроме того, он позаимствовал китайскую удельную систему, дворцовый этикет и социальный строй, при котором сословное положение стало передаваться по наследству. Всего этого раньше не было в сяньбийском мире. Сяньбийцы издревле были вольными ко-

1. Публичное наказание палками.
2. Правители династии Северная Вэй, известной также как Тоба Вэй (386–534), произошли из некитайского племени сяньби.

чевниками, людьми с открытым характером, не знавшими такого отчуждения, какое царило в феодальном обществе, а теперь некая чужеродная сила последовательно разрушала давнюю гармонию.

Вопрос из зала. Позвольте узнать, а как осуществлялось наказание тинчжан?

Бо Ян. Тинчжан — это попросту порка. (*Смех.*) Провинившегося чиновника клали лицом вниз — четверо евнухов, держа его за руки и за ноги, на голову надевали холщовый мешок, два других евнуха придерживали его за бедра. Если император велел нанести сто ударов, били сто раз. Обычно количество ударов при таком наказании не превышало ста, в противном случае человек мог умереть. Палачи старались угадать волю начальства: если император лишь невзлюбил наказуемого, но не желал ему смерти, он и от ста, и — даже от двухсот ударов не отправлялся на тот свет. Если же император выносил смертный приговор, хватало и тридцати-сорока ударов, чтобы забить виновного насмерть. Обычно, если порке подвергали чиновника или простолюдина, в дело шли взятки, тогда, несмотря на громкие крики и ужасные с виду муки, провинившегося не только не запарывали до смерти, но даже если кровь лилась рекой, до "мяса" не доходило: было больно, но угрозы для жизни не было. Люди, которым поручали порку, проходили специальное обучение: пучок рисовой соломы оборачивали бумагой: следовало бить так, чтобы солома крошилась при каждом ударе, но бумага не рвалась. Это особо изощренная пытка — кожа остается целой, но ткани под ней превращаются в кисель. Ничто не могло так сильно подорвать чувство человеческого достоинства, как система тинчжан. В Европе в XIV—XV веках уже началась эпоха Возрождения, в Китае же по-прежнему в ходу было наказание палками, и это не может не наводить на грустные мысли.

Однако вернемся к нашей основной теме. Монголы — удивительная нация: они захватили Китай, но отторгли китайскую культуру. Какими они были за девяносто лет до вторжения в Китай, такими и ушли оттуда через девяносто лет после того. А вот маньчжурская династия Цин унаследовала политическую систему и систему общественного устройства, восходящие к темному минскому времени, что для нового политического режима оказалось тлетворным и привело к тому, что, несмотря на огромную военную мощь, за сто лет реакции империя окончательно развалилась. Представление о ценности человеческой личности день за днем разрушалось косным феодальным обществом и в конце концов было полностью уничтожено, что имело огромные последствия для

самосознания китайцев. Если у кого и осталась толика самоуважения, то только у А-Кью, описанного господином Лу Синем в "Подлинной истории А-Кью"[1]. Как известно, А-Кью, оказавшись в унизительном положении, говорил себе, что одержал "духовную победу".

Второй существенный недостаток Китая, о котором я хотел бы поговорить, связан с тем обстоятельством, что за всю пятитысячелетнюю историю в стране были лишь три золотые эпохи. Первая — эпоха Чуньцю и Сражающихся царств, время сосуществования самых разных философских школ и течений. Вторая — эпоха Тан, от годов "праведного правления"[2] великого танского императора Тай-цзуна (Ли Шиминя), до середины правления танского Светлейшего Ли Лунцзи (Сюань-цзуна)[3], то есть — почти сто лет. Третьей золотой эпохой можно назвать период с 1760-х по 1860-е годы, то есть до середины правления династии Цин. За всю пятитысячелетнюю историю лишь три золотых эпохи! А все остальное время — более четырех тысяч лет — чуть ли не каждый год (да практически каждый день!) — происходили войны. Западные ученые подсчитали: каждый год с самого начала истории человечества на земле случались войны. Феномен более чем характерный для Китая. Както я сам, проведя подобные подсчеты, набросал черновик книги "Хроники военных лет Китая" и обнаружил, что войны в Китае происходили ежегодно. Однако общемировая статистика и статистика по Китаю — не одно и то же: Китай слишком мал по сравнению со всем миром, особенно если иметь в виду территорию Китая, какой она была начиная с эпохи Цинь (II в. до н. э.) и до минского периода, — это половина его сегодняшней территории.

Если на таком относительно небольшом пространстве каждый год велись войны (причем речь идет лишь о войнах, попавших в анналы истории, все остальное находится вне сферы нашего внимания), можно представить себе, сколь велики были волнения в Китае. Гражданские войны при сменах династий тянулись по тридцать-пятьдесят лет, а на то,

1. Лу Синь (1881–1936) — китайский писатель; считается основоположником современной китайской литературы; наиболее известны рассказ "Дневник сумасшедшего", повесть "Подлинная история А-Кью". Ее герой, деревенский поденщик, подвергается издевательствам со стороны односельчан и в конце концов погибает на плахе из-за необоснованного обвинения в "революционном" грабеже. Судьба А-Кью глубоко трагична, но его поступки вызывают смех, так как герой не понимает своего положения. (*Прим. ред.*)
2. Годы "чжэньгуань" (627–649 гг. н. э.).
3. Правил в 712–756 гг. н. э.

чтобы послевоенная политическая обстановка стабилизировалась, уходило еще лет двадцать. После чего страна снова оказывалась во власти коррупционеров, появлялось оппозиционное движение, оно набирало силу, вновь наступала эпоха смуты и народных волнений, и страна в очередной раз ввергалась в адский водоворот войн и политической нестабильности. Можно сказать, что китайский народ в течение долгого времени — по существу, всегда! — жил в обстановке казнокрадства, беспорядков, войн, массовых казней и всеобщей бедности, поэтому у нас никогда не было ощущения покоя: мы жили в состоянии постоянной тревоги. У нас древняя история, у нас огромная страна, однако долгие годы лишений, казней, страха и подозрительности отнюдь не возвысили нас духовно. Сегодняшний день прошел — и на том спасибо, а что будет завтра — посмотрим; сколько будет тянуться война — кто его знает! Войны мешали ирригационным работам, нарушение ирригационных работ приводило к засухе, за засухой следовало нашествие саранчи... и все эти засухи, наводнения, нашествия насекомых оставляли за собой тысячи ли опустошенной земли. Не знаю, сколько десятков, сотен раз в нашей истории случалось так, что люди начинали "пожирать друг друга". И то, что мы, считающие себя цивилизованным народом, могли докатиться до людоедства, связано с тем, что на нашу долю выпало слишком много испытаний, длившихся веками.

Впрочем, незачем рассуждать о народе в целом, возьмем отдельного человека. Если его окружает беспросветная бедность, если трудности, выпадающие на его долю, непреодолимы, он ко всему происходящему относится настороженно. За несколько дней до освобождения меня вызвали к тюремному начальству и сказали: радуйся, тебя наконец освобождают. На что я ответил: "Да что вы надо мной издеваетесь!" (*Смех в зале.*) Беседовавший со мной поинтересовался: "Ты мне не веришь? Зачем мне обманывать?" В ответ я попросил показать приказ об освобождении: я в жизни много чему верил и слишком часто обманывался, и каждый раз разочарование было горьким. У человека, которого преследуют беды и несчастья, есть законное право не слишком доверять хорошему. (*Смех в зале.*) <...>

Третий наш великий недостаток — институт чиновничества, который, с исторической точки зрения, в Китае был весьма своеобразным, не таким, как в других странах... Известно, что японцы переняли китайскую культуру — от татами и гэта (*смех в зале*) до политического устройства, единственное, чего они не стали перенимать, это систему государственных экза-

менов, что впоследствии, во время Реставрации Мэйдзи[1], и позволило Японии достичь огромного могущества... Конечно, государственные экзамены в свое время были небесполезны для китайской культуры, но в конце концов именно они привели к возникновению особого аппарата чиновничества. Бюрократическая система — это паутина, невидимая и неосязаемая, угодив в которую вы твердо знаете, что отсюда не выбраться. Китайское понятие "гуаньляо" — совсем не то, что английское "bureaucrats" (бюрократы).

У китайской бюрократии свои характерные черты: китайский чиновник служит верой и правдой, но не государству и даже не начальству — он служит тому, кто ему предоставил должность. Одна династия сменяла другую, но бюрократическая система оставалась неизменной.

Маньчжуры при установлении своего владычества умело использовали слабости тех или иных народностей: тибетцев, монголов, ханьцев. Для тибетцев это был ламаизм — скажем, пригласили ламу в Пекин, выказали ему подобающее почтение, отозвались с восхищением о его великих способностях. Если речь шла о монголах, действовали через междинастические браки: всех принцесс правящего рода отдавали в жены монгольским принцам; таким образом, все рожденные ими сыновья становились "нашими племянниками" (*смех в зале*), и всех этих юных наследников с малолетства воспитывали во дворцах, приучая обращаться к правящему императору с помощью терминов родства — в надежде на то, что, когда они вырастут, они не дерзнут пойти против своего дядюшки или дедушки. Однако за ханьцев маньчжурских принцесс замуж не выдавали. И приманкой, которую использовали в данном случае маньчжуры, как раз и была система государственных экзаменов: маньчжуры отлично знали, что у ханьцев есть слабость — они любят чиновничьи должности (*смех в зале*): я внушаю тебе надежду на получение места, ты сразу становишься шелковым и не только забываешь о своей национальной гордости, но вообще теряешь образ человеческий. Так складывалось чиновничество — весьма загадочная прослойка общества со своими особыми нормами поведения и системой ценностей. Верой и правдой чиновники служили отнюдь не императору, и даже если один император сменялся другим, это мало отражалось на их, чиновничьей, жизни (*смех в зале*).

1. Реставрация Мэйдзи (также Обновление или Революция Мэйдзи) — комплекс политических, военных и социально-экономических реформ в Японии 1868–1869 гг., с которых начинается формирование японского национального государства нового времени.

Они не опасались и разрушения государства — если в плохие для государства времена покровители могли подыскать им хорошую должность, они преспокойно продолжали делать свое бюрократическое дело. Впрочем, и во времена процветания государства стоило чиновнику обосноваться, как тут же сами собой складывались отношения "рука руку моет": кумовство, протекция, взаимовыручка и т. п. Не знаю, доводилось ли уважаемым слушателям читать книгу "Наше чиновничество"[1]. В этом романе прекрасно описана китайская бюрократическая система, его стоит прочитать хотя бы за это. Подобного рода бюрократические связи дурно влияли и на обычные человеческие отношения...

В пекинской опере есть такая пьеса: "Проверка головы и убийство Тана", где главные действующие лица — судья, его помощник и молодая красивая вдова, у которой убили мужа. Во время судебного заседания она плачет, прижимая к груди голову убитого. Если это и в самом деле голова убитого, то дело можно считать закрытым, если же это голова не его, а кого-то другого, то расследование, напротив, только начинается, что чревато серьезными последствиями, в том числе и новыми смертями. Старому помощнику судьи нравится молодая красивая вдова, да и она намекает, что готова выйти за него замуж, поэтому он решает поддержать версию, что голова "подлинная". (*Смех в зале.*) Как только молодая женщина понимает, что дело близится к концу, она сразу же выказывает нежелание вступать в брак, и старик Тан тотчас меняет свою точку зрения. (*Смех в зале.*) Мы, китайцы, извечные жертвы подобной бюрократической путаницы: то человек прав, то не прав, то голова настоящая, то не настоящая, под конец уже никто не разберет, где правда, а где ложь. (*Смех в зале.*) <...>

Положим, вы решили построить атомный реактор, но вам не хватает одного винтика, а человек, отвечающий за винтики, взял отгул — он-де простудился. Что ж, случается. Но на самом деле он не простудился, а в мадзян[2] играет. (*Смех в зале.*) Отчего вдруг? А у него с вами отношения неважные, и построите вы свой атомный реактор или не построите, ему, как говорится, без разницы. Заработает этот реактор или вообще взорвется, ему наплевать. (*Смех в зале.*) Вот так же действует и бюрократический аппарат: случилась беда общегосу-

1. Обличительный роман Ли Баоцзя (1867—1906); публиковался в 1902—1905 гг.

2. Мадзян, или маджонг — традиционная китайская азартная игра в фишки с использованием игральных костей. Распространена в Китае, Японии и других странах.

дарственного масштаба; ну случилась и случилась, а я продолжаю делать свое бюрократическое дело. Эта лишь усугублявшаяся с течением времени болезнь насчитывает несколько тысячелетий...

Не знаю, доводилось ли вам, уважаемые слушатели, попадать в подобную ситуацию — объясню на примере, что я имею в виду. Допустим, вы вернулись в Китай, и друг приглашает вас в ресторан. Не приведи Бог отказаться от приглашения, иначе вашей дружбе конец. Человеческие отношения стали невероятно запутанными, и это наследие все той же бюрократической системы. Потому что только так китаец может стать чиновником, и лишь это дает ему ощущение стабильности... Часто бывает, что человек до вступления в чиновничью должность и после вступления в нее — это две совершенно разные личности. Можно выразиться точнее: когда в человеке берут верх чиновничьи свойства, для человеческой сущности уже не остается места... и пока он не выйдет на пенсию, она, эта сущность, не вернется. (*Смех в зале.*) Бюрократическая система повлияла не только на наш подход к делам, но и на всю китайскую культуру, развитие которой пошло вкривь и вкось, а то и вовсе вспять.

Перейдем к четвертому пункту нашего разговора. Самого Конфуция я считаю человеком великим — с живым умом и сострадательным сердцем, он внес огромный вклад в жизнь китайского общества. Конфуцианство и конфуцианская научная школа оказали и продолжают оказывать огромное влияние на китайцев. Однако принципы конфуцианской духовности очень консервативны; не будет преувеличением сказать, что конфуцианство не просто консервативно — оно противится всякому движению вперед. Иероглиф "жу" — ключевой в слове "конфуцианство" — до эпохи Чуньцю обозначал мастера церемоний, отвечавшего за совершение обряда жертвоприношения предкам. Понятно, что такой человек до тонкостей знал все детали жертвенного ритуала, поэтому к его советам прибегали всякий раз, когда в стране проводились важные церемонии, которые он соблюдал в силу самого своего предназначения. В то время не принято было менять ритуалы — всегда использовались старинные; и чтобы не остаться без куска хлеба, мастеру церемоний необходима была политическая стабильность. (*Смех в зале.*) Иначе говоря, почитать старину ему было выгодно. Нет, вместо эвфемизма "почитать старину" скажем прямо: мастера церемоний были консервативны. Таким образом, в Китае сложилось мощнейшее консервативное сознание, и китайское общество, утратившее способность к созиданию нового, ут-

ратило также способность к самокритике, самоанализу и саморегулированию...

Долгие века почитания старины, нежелание двигаться вперед, консерватизм лишили нас гибкости. Вот вам исторический пример: Шан Ян[1], представитель школы легистов, изменил закон в государстве Цинь – к чему это привело? До изменения закона старые и малые, мужчины и женщины – все спали вместе на одном кане[2]. Шан Ян цивилизовал их, запретив родителям и детям спать вместе – равно как братьям и сестрам, и приказав всем спать раздельно, что само по себе свидетельствует о том, какой дикой и отсталой страной был тогда Китай. Ведь Шан Ян не атомную бомбу изобрел, не совершил открытие в материальной сфере жизни, а просто провел частную культурную реформу, которая сказалась на всем: на политической системе, на обществе, на принципах воспитания. То был IV век до нашей эры, с тех пор прошло более двух тысячелетий, но устои китайского общества ни разу не подвергались столь кардинальным переменам. Каждой новой мысли, каждой идее требуется первопроходец, и все же в конце концов его лишают социального статуса и доброго имени, отнимают имущество и истребляют семью. Конец Шан Яна был печален: его разорвали пятью лошадьми. Конфуцианцы часто говорили о том, как плохо кончают реформаторы, чтобы китайцы боялись идти вперед. (*Смех в зале.*) Одним из самых выдающихся реформаторов был Ван Аньши[3], но несмотря на его высокую нравственность, великую образованность и огромную работоспособность, его преобразования были встречены в штыки. И конец его был столь же плачевен, как и конец Шан Яна: сразу же после смерти его дом опечатали, сын вскоре умер от голода, и до Ста дней реформ[4], вдохновленных Кан Ювэем[5], ни о каких переменах не было и речи. У конфуцианцев есть выражение:

1. Шан Ян (390–338 до н. э.) – его учение об абсолютной власти государя над подданными и необходимости учредить систему суровых наказаний изложено в "Книге Правителя области Шан".
2. Каменная лежанка, которая представляет собой одновременно кровать, стол и печь.
3. Ван Аньши (1021–1086) – выдающийся государственный деятель эпохи Сун, автор налоговой реформы, знаменитый поэт и эссеист.
4. Направленные на европеизацию страны реформы, проведенные летом 1898 г. императором Гуансюем. Осенью того же года вдовствующая императрица Цыси заключила императора под домашний арест и разгромила движение реформаторов.
5. Кан Ювэй (1858–1927) – философ, реформатор, каллиграф и литератор. Сторонник национального возрождения Китая в условиях конституционной монархии.

"Если польза не составляет десять десятых, закон не меняют". Смысл в том, что изменение закона должно приносить стопроцентную выгоду, иначе незачем производить перемены, и в этом важнейшая причина отставания китайцев. Не бывает изменений, приносящих стопроцентную выгоду; если выгода составляет 55 процентов — это редкая удача...

Теперь о нашем пятом недостатке — слишком большой численности населения, пагубно сказавшейся на Китае... Как только затихали междоусобные войны, связанные со сменой династий, численность населения возрастала, и весь цикл повторялся снова: война, массовые убийства, смерти. Известно, что в Америке высокий уровень жизни. Но случалось ли моим уважаемым слушателям задумываться о том, что произойдет, если число американцев увеличится на миллиард, — скажем, если все материковые китайцы переедут в Америку и ее население достигнет одного миллиарда двухсот миллионов человек? Все ли останется там по-прежнему? (*Смех в зале.*) Проблема численности населения очень важна, и, если Китай хочет стать сильнее, численность населения надо во что бы то ни стало сокращать. Есть такая присказка: когда людей много, хорошо дело делать, а вот хлебцы есть лучше, когда людей поменьше. (Хлебцы — это все равно, что маньтоу, пампушки.) В прошлом так и было: чтобы сделать то или иное дело, требовалось много людей. Сейчас, хоть численность населения очень велика, никакой нужды в этом нет: для подсчетов вместо ста человек лучше использовать компьютер. (*Смех в зале.*) В том, что хорошо есть хлебцы, когда людей мало, заключена очень простая истина. Средний уровень доходов позволяет вам растить двоих-троих детей и жить безбедно, но что произойдет, если вы растите двести детей? (*Громкий смех в зале.*) Откуда взять деньги на повседневные расходы, образование, одежду и прочее? Численность населения в Китае слишком велика, бедность слишком распространена, бюрократическая прослойка просто огромна, конкуренция чудовищна, отсюда все упоминавшиеся здесь недостатки китайцев: грязь, беспорядок, шум и ни на миг не прекращающиеся ссоры. Мы привыкли вести себя так шумно, что почти забыли о том, что такое вежливость.

В Лос-Анджелесе меня спросили, какое впечатление на меня произвела Америка, я ответил, что, как мне показалось, Америка — страна этикета. Меня тут же спросили: а Китай — тоже страна этикета? На мой взгляд, нет, ни в коей мере. (*Дружный смех в зале.*) Китайцы грубы — почти всегда готовы "врезать" собеседнику, редко улыбаются — возможно, из-за тяжелой жизни... Мы встревожены, полны неприязни и

ужасно озабочены собственной выгодой. Мы с утра до вечера беспокоимся, паникуем, на окружающий мир смотрим, как тигры на добычу, — да-да, лишь бы защитить себя.

Все вышесказаное — мое искреннее убеждение, основанное на личном опыте. Можно сказать, что это — доклад, который я представлю членам правления после возвращения из своей "исследовательской поездки" по Америке. (*Смех в зале.*)

Не буду касаться наших достоинств — они, конечно, имеются. И никуда не денутся, если я не стану их перечислять. Я говорю о наших недостатках, потому что этот разговор может способствовать развитию рефлексии и самоанализа. Перед нами стоит столько сложных вопросов — что делать? Поделюсь своей точкой зрения. Самое важное — развитие наших интеллектуальных способностей. На протяжении нескольких тысячелетий за нас все делали другие — все решения принимали великомудрые и высокопоставленные чиновники, самим нам думать не надо было, да никто к этому и не стремился. Китайцы так привыкли к тому, что от них требуется лишь повиновение, что словно бы приучились быть недоумками... Но китайцы очень умны. Столь умны, что, боюсь, всем остальным народам планеты, включая евреев, до них далеко. Так, если сравнить китайца и представителя другой нации, китаец несомненно окажется умнее. Но если брать по два-три человека, китайцы наверняка проиграют, потому что от рождения не способны договориться между собой. (*Смех в зале.*) Смысл командной работы в том, что каждый человек забывает собственную выгоду ради общей. Представим себе, что у нас есть две круглые геометрические фигуры, но с помощью ножа их можно превратить в два относительно небольших куба и соединить в одну фигуру. Однако каждая фигура "надеется", что срезать лишнее будут не с нее, а со второй фигуры. Раз нужно поступиться своим, она тут же отказывается от участия. Ну как тут объединишься? Китайцы слишком умны, никто не спорит. Умны и хитроумны. Настолько, что, когда их продают на скотобойню, они еще и торгуются не на жизнь, а на смерть и, выручив лишние пять юаней, пляшут от радости[1]. (*Смех в зале.*) Да, китайцы слишком умны, и высшим проявлением этого их ума является эгоизм. Человека неэгоистичного, скорее всего, высмеют и объявят дураком. Китайцы не отличаются терпимостью: любого, кто великодушен, снисходителен, доброжелателен,

1. Аллюзия на китайские присловья: "Его на скотобойню продают, а он еще торгуется", "Его продают, а он помогает деньги считать" и т. п.

ославят дураком. Если ты вздумаешь оказать сопротивление тому, кто ударил тебя по лицу, или решишься вступить в спор с нарушившим закон, значит, ты дурак. Если ты занимаешься делом, которое не обогатит тебя и не превратит в чиновника, все, несомненно, признают тебя дураком. Я полагаю, что китайцы должны позволить себе хоть какое-то время побыть дураками...Иначе нас, как индейцев, ждет упадок... Подводя итог, хочу сказать: не надо все усложнять — начните с себя, со своих детей и тренируйтесь![1]

Голос. Мне кажется, на каждый вопрос нужно давать минут десять.

Председатель. Извините, регламент — две минуты, желающих много.

Вопрос. Господин Бо Ян, вы затронули проблему положения человека при феодализме, говорили о притеснении личности династией Мин. Но и западные страны пережили долгий период абсолютной монархии, почему же впоследствии они смогли выработать либеральную концепцию личности, а Китай — нет?

Бо Ян. Похоже, это вопрос на засыпку. Но я давно профессор — доктор наук "зеленого острова"[2]. (*Смех в зале, аплодисменты.*) К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос. Точно так же невозможно понять, почему западные люди едят вилкой и ножом, а китайцы — палочками. Становление культур происходит постепенно, если две культуры не контактировали и возможности взаимовлияния были очень малы, каждая развивалась по своей модели. Известно, что порой какой-нибудь незначительный фактор способен изменить не только отдельную человеческую жизнь, но и судьбу нации. Однако никогда не известно, что это за фактор и когда он подействует...

Хочу лишь подчеркнуть, что китайская и западная автократии различаются и по масштабам, и по силе. Я, правда, еще не приступал к изучению западной истории (*смех в зале*), но, полагаю, различия очень существенны. При сравнении нельзя не заметить, что китайская деспотия была абсолютной. На Западе достаточно было преклонить одно колено перед королем, ибо на колени становятся только перед Богом, а перед людьми, думаю, очень редко. В Китае же не

1. Дискуссия приводится частично. (*Прим. ред.*)
2. "Зеленый остров" — небольшой остров недалеко от Тайваня, где находится тюрьма для политзаключенных. Бо Ян провел там почти 10 лет и написал несколько книг по китайской истории.

только становятся на колени, но и отвешивают земной поклон, да еще и ударяются головой о землю. (*Смех в зале.*) В последние годы правления Цин в ходу было выражение: больше бей челом, поменьше говори. Поэтому боюсь, что китайская автократия отличалась от западной и по сути, и по форме. Я видел парадный портрет короля Людовика XIV: в центре величественно восседает король, а императрица и придворные сидят вокруг него — в Китае такого быть не могло: китайские придворные всегда стояли на коленях, трепеща от страха.

Вопрос. Я держу в руках книгу "Высказывания Бо Яна". Мне кажется, что у нашей демократии есть важная особенность, которую Вы не упомянули в своей книге: запрет задавать вопросы о политике. (*Смех в зале, аплодисменты.*)

Вопрос. Господин Бо Ян, вы сегодня анализировали китайскую историю и сделали пять выводов, с четырьмя из которых я готов согласиться почти полностью, но у меня есть сомнения по поводу последнего: вы говорите, что слишком большое население — причина сегодняшних бед Китая. Однако Япония — хотя это страна с маленькой территорией и большим населением, но уровень жизни там очень высок: они не позаимствовали наш институт чиновничества, отсюда и результат. Не думаю, что причина наших бед в большом населении. Если бы мы хорошо вели торговлю и развивали промышленность, если бы мы преодолели недостатки и слабости, то отлично справлялись бы и даже могли бы иметь население в два раза большее. Не надо думать, что китайцев слишком много, поэтому нужно ограничить численность, или завоевывать чужие территории, или убивать друг друга. Речь идет о явлении, а не о результате, это не одно и то же... Огромная территория Китая может вместить и в два раза больше народу. (*Смех в зале.*)

Бо Ян. Совершенно с вами согласен. Однако все дело в множестве "если бы", и прежде чем эти "если бы" воплотятся в жизнь, численность населения по-прежнему будет оставаться большой помехой. Именно слишком большая численность населения с давних пор мешает нашей промышленности, науке и культуре реализовать все эти "если бы".

Вопрос. Господин Бо Ян, Вы полагаете... что наши беды главным образом вызваны слишком большой численностью населения. Я согласен с четырьмя другими вашими выводами, но не с этим. Ведь китайское население будет расти и в будущем? Значит, и беды наши никогда не кончатся?

Вопрос. Господин Бо Ян, вы очень интересно трактуете проблемы Китая, но, может быть, я чего-то недослышал, а

может быть, вы опасаетесь говорить... В общем, я понял, что у китайского народа очень много недостатков и он безнадежно самолюбив, но вы, господин Бо Ян, не упомянули события современной китайской истории: решительную борьбу китайского народа против империализма и феодализма... После освобождения, в 1949 году начался процесс построения социализма, и за это время, с одной стороны, была заложена экономическая база, с другой стороны, в области идеологии была проведена большая воспитательная работа. Не прокомментируете ли вы, господин Бо Ян, эти обстоятельства...

Бо Ян. Это вопросы политики, мы их сегодня не обсуждаем. Мы говорим только об истории. К тому же я в политике плохо разбираюсь. (*Смех в зале.*) <...>

Сегодня я много говорил о недостатках Китая, иной, услышав это, разочаруется, но я думаю, что нам нужно говорить именно о недостатках, а не о достоинствах... И надо понимать, что слабости китайцев касаются не только их, но и всего мира: потонула лодка — ну и пусть, пошел ко дну корабль, и образовавшийся водоворот затянет все соседние суда — ну и пусть.

Вопрос. Я часто слышу два выражения: "Справляйся с постоянно меняющимся с помощью неизменного" и "Рассказывай о радостях, скрывай печали". Что вы об этом думаете?

Бо Ян. По поводу выражения "Справляйся с постоянно меняющимся с помощью неизменного" у меня нет мнения. (*Смех в зале.*) А вот из выражения "Рассказывай о радостях, скрывай печали" можно многое понять о нашем чиновничестве.

Вопрос (*спрашивающий – американец*). Похоже, в вашем сегодняшнем выступлении вы намеренно говорили всякие нелицеприятные вещи о китайцах, выскажитесь, пожалуйста, критически и об Америке. (*Смех в зале.*) Чему, на ваш взгляд, ей стоит поучиться у Китая, существующего пять тысяч лет?

Бо Ян. Что касается малоприятных вещей, американцы их говорят о себе сами и в достаточном количестве. Чему я очень завидую, потому что Америке это дает силы для саморегуляции, саморефлексии и самоконтроля... Вы сами способны назвать и понять собственные ошибки, мы, китайцы, этого пока не умеем... Конечно, Америка не идеальна. По крайней мере, американская почта работает плохо — доставка очень медленная, то и дело выходные. Но это хорошо, будь Америка идеальна, она не могла бы меняться. <...> А вот почему мы так боимся подражания Западу? Вся современная система мысли: экономической, научной, политико-право-

вой — досталась нам не от наших предков. Общественный строй, идеология, образ жизни — все пришло из-за границы, что в них традиционного? Материальные объекты современной культуры: автомобиль, самолет, очки, бритву, современные дома и прически — изобрели не китайцы, так что речь, на мой взгляд, должна идти не о подражании Западу, а об учебе... Но мы, китайцы, люди — очень чувствительные: подражание Западу — это низкопоклонство. Почему? Ведь мы собираемся перенимать только достоинства. Если в один прекрасный день все американцы приобретут самоубийственную привычку курить опиум, мы ведь не будем им подражать...

Вопрос. В своей книге "Ранние насекомые" вы рекомендуете читать научную фантастику, а не рыцарские романы. В принципе, я с вами согласен, однако Ни Куан[1] как-то сказал: "Те, кто не читал заметки Бо Яна, многое потеряли в жизни, как и те, кто не читал рыцарские романы Цзинь Юна". Что вы об этом думаете? И второй вопрос: говорят, что на Зеленом острове вы прочитали большое количество книг о гадании. (*Смех в зале.*) Гадание — часть нашей культуры, причем мистическая. Что вы скажете по этому поводу?

Бо Ян. Когда я писал "Ранних насекомых", я еще не был знаком с произведениями Цзинь Юна — они в те годы не были распространены на Тайване[2]. Я считаю, что после рыцарских романов, написанных Цзинь Юном, невозможно читать остальных писателей... они не идут с ним ни в какое сравнение. У Цзинь Юна и стиль, и содержание — все на должном уровне; немаловажно и то, что рассказы его очень популярны за рубежом. Для обычного человека чтение классических литературных произведений утомительно, а рыцарские романы, наоборот, захватывают, они способствуют популяризации китайского языка. Он отлично пишет, я восхищаюсь им: он создал совершенно новую технику письма.

Когда я был в тюрьме, я купил огромное количество книг по гаданию. Я думал, что за двенадцать лет моего заключения в стране все изменится — возможно, я не смогу зарабатывать на жизнь пером, поэтому и стал готовиться к тому, что придется стоять на улице и гадать. Я посвятил этому занятию

1. Ни Куан (р. 1935) — гонконгский писатель и сценарист, пишущий в жанрах рыцарского романа и научной фантастики.
2. В 1970-е гг. произведения Цзинь Юна были запрещены на Тайване, так как он подозревался в симпатиях к коммунистам. Интересно, что он был под запретом и в коммунистическом Китае, где в его романах видели пародию на Мао Цзэдуна и "культурную революцию".

больше года, но потом мне сказали, что политзаключенному нельзя быть уличным гадальщиком, и я эту затею бросил. Сам я верю в судьбу, чего нельзя сказать о молодежи, впрочем, в молодости я был такой же, как нынешние молодые.

Вопрос. Вы выступаете за упрощение иероглифов и замену их буквенной письменностью. <...> Говоря о рыцарских романах Цзинь Юна, вы похвалили достоинства его слога. Скажите, касается ли это формы иероглифа или только его звучания? И сохранятся ли достоинства формы иероглифа и риторические красоты, если упростить написание иероглифа или даже заменить его транскрипцией?

Бо Ян. Я думаю, что после введения фонетической письменности буквенное написание будет восприниматься как новая форма, так что сохранится нераздельная связь между формой, звуком и значением. У китайцев с понятием "смех" ассоциируется соответствующий иероглиф, у американцев — буквенное слово "laugh". Каким значением люди наделяют "форму", таким значением она и обладает...

Вопрос. Я очень рад, что мне представился случай увидеть вас в Америке, за границей после долгих лет заключения. Позвольте спросить: вы так много пережили, а сейчас держитесь, как будто все это происходило не с вами. Как вам это удается, как вы справляетесь с мыслями о пережитом? Хотелось бы этому научиться...

Бо Ян. По-моему, я нисколько не изменился. В тюрьме, когда мне хотелось плакать, я плакал, когда хотелось смеяться, смеялся. Некоторым кажется, что заключенные всегда подавлены. Но так думают лишь те, кто сам не сидел. Если десять лет горевать, можно и с тоски умереть. В хорошие минуты надо радоваться...

Председатель. Если к господину Бо Яну больше нет вопросов, то мы на этом завершаем сегодняшнюю встречу. Тем более, что сегодня вечером у него еще встреча в Университете Беркли. (*Аплодисменты.*)

Альбер Камю
“Укоренение” Симоны Вейль

Набросок предисловия к книге

Перевод с французского и вступление
Бориса Дубина

Нобелевская премия 1957 года

© Albert Camus, 1965
© Борис Дубин. Перевод, вступление, 2014

В странах Запада (как, впрочем, и кое-где на Востоке — в Иране, в Японии) Альбера Камю читали на "своих" языках более или менее одновременно с выходом его книг по-французски. К читающим же в СССР на русском языке том издательства "Прогресс", включавший роман, повести и несколько рассказов Камю, пришел только в 1969 году, спустя почти десятилетие после смерти автора (по-украински драма "Праведники" была опубликована годом раньше). К тому времени в Париже увесистый двухтомник собрания его сочинений вышел в авторитетнейшей "Библиотеке Плеяды" (1962—1965), что означало безоговорочное включение в пантеон классиков. Приближением Камю к русскоязычной публике активно занимался в те годы Самарий Великовский, посвятивший его драмам, художественной и эссеистической прозе не одну статью. О творческих связях Камю с Достоевским писал в ту пору Виктор Ерофеев. Тем не менее эпохальных трактатов Камю "широкому" читателю пришлось ждать у нас в стране еще 20 лет, они были опубликованы лишь с наступлением "гласности".

Сегодняшним посетителям российских книжных магазинов, где на общедоступных полках выстроились многотомники писателя и десятки отдельных изданий его книг, трудно объяснить, почему как минимум два читательских поколения в "самой читающей стране мира" были этого богатства лишены. Такой "прочерк" не проходит бесследно для культуры, и дело не в запоздалом признании крупного зарубежного писателя (и скольких, скольких его замечательных предшественников и современников еще!), а в зауженных горизонтах и обобранной судьбе самих этих поколений. Камю здесь, пожалуй, — из наиболее тяжелых потерь. Так его мировоззренческий универсализм, моральная определенность и гуманистический поиск оказались, как мне представляется, не оценены по достоинству и не вошли в свое время в кругозор влиятельных "шестидесятников" (известно, что А. Твардовский собирался печатать в "Новом мире" в 63-м году перевод романа "Чума", но под давлением Л. Арагона публикация была пресечена), а это, по-моему, существенно обеднило их понимание личности, этический посыл творчества, поэтику тогдашней прозы. И вряд ли случайно, что широко издававшийся в 1990-е годы и активно републикуемый сегодня у нас в стране Камю, тем не менее, явно находится вне круга живой интеллектуальной работы, критического продумывания ходов его мысли, сегодняшней умственной заинтересованности. Титул классика, особенно — зарубежного, как часто случается, заслоняет реальные пути к нему.

Я вместе с однокашниками начал читать Камю на его родном языке студентом филфака МГУ в середине шестидесятых годов, буквально за копейки — по наводке наших молодых преподавателей — приобретя галлимаровские карманные томики его прозы и пьес в райском, ныне не существующем магазинчике французской книги на улице Веснина в Москве (теперь это Денежный переулок). Начальные фразы "Постороннего", многие реплики Калигулы из одноименной драмы или доктора Риё из "Чумы" я и сейчас помню наизусть. Получивший классическое образование немецкий философ Ханс-Георг Гадамер как-то вспоминал, что гимназическая латынь

учила его со товарищи представлению о человеке — человеке как таковом. Вероятно, что-то в этом роде происходило у нас тогда с Камю. Те чувства позднее осели в памяти сознанием как бы некоего долга перед нашим далеким наставником. Я рад возможности хоть в самой скромной мере возвратить сейчас этот долг — по французской формуле "donnant donnant".

Нынешняя публикация "ИЛ" напоминает о столетнем юбилее выдающегося французского писателя и предваряет дальнейшее обращение журнала к его наследию — путевым запискам, письмам и др.

Если Симона Вейль против чего и настраивала, так только против жестокости или низости, большой разницы между которыми, впрочем, нет. Если она что и презирала, то лишь само презрение. Читая ее, понимаешь: единственное, к чему был неспособен ее поразительный ум, — это легкомыслие. В 1940 году ее попросили подготовить отчет о настроениях во Франции — она написала книгу, публикуемую сегодня под титулом "Укоренение", подлинный трактат о нашей цивилизации. Таков был склад ее характера — всегда и как бы само собой браться за главное.

В "Укоренение" вошли многие ключевые мысли, без которых не понять Симону Вейль. Но эта книга — по-моему, одна из самых важных среди вышедших после войны книг — еще и проливает яркий свет на то забытье, в котором тонет послевоенная Европа. Вероятно, был нужен разгром, последовавший за ним маразм и молчаливое раздумье, которому в те сумрачные годы предались все, чтобы до такой степени несвоевременные мысли, суждения, опрокидывающие столько общих мест и не желающие знать о стольких предрассудках, смогли зазвучать среди нас в полную силу.

Официальная история, пишет Симона Вейль, всегда состоит в том, что убийцам верят на слово. И добавляет: "Кто мог восхищаться Александром Македонским, кроме низких душ?" Во времена силы и в век эффективности такие истины звучат вызовом. Но это мирный вызов: за ним — убежденность любви. Попытаемся хотя бы представить себе одиночество подобного ума в межвоенной Франции. Ничего удиви-

тельного в том, что Симона Вейль искала укрытия на заводах, хотела разделить судьбу самых обездоленных. Когда общество неотвратимо скатывается ко лжи, единственное утешение чистосердечных — отказ от любых привилегий. Читатель "Укоренения" увидит, до какой глубины доходит у Симоны Вейль этот отказ. Но она гордо несла [*нрзб.*] безумие истины. И если это привилегия, то из тех, за которые платят всей жизнью и утешения в которых нет. Это безумие помогло Симоне Вейль распознать за самыми расхожими предрассудками болезнь эпохи и найти средства ее исцеления.

Я не могу представить себе возрождение Европы без отклика на запросы, сформулированные Симоной Вейль в "Укоренении". В этом — значимость ее книги. И если говорить о ее посвященном справедливости труде всю правду, то некая тайная справедливость рано или поздно поставит эту книгу в первый ряд, от чего ее автор упорно всю жизнь отказывался. "Завоевание — суррогат величия", — писала она. И никогда ничего не собиралась завоевывать. Но в миг отказа величие и становится очевидным: так его, подлинного, и достигают, о чем у Симоны Вейль сказано столько глубоких слов. Величие силой чести, величие без отчаяния — вот в чем достоинство этого автора. И в том же опять-таки его одиночество. Но на этот раз — одиночество предтеч, исполненное надежды.

Марек Заганчик
Первая улыбка мира

Фрагмент эссе

Перевод с польского К. Старосельской

Во время моего последнего пребывания в Тоскане небо часто затягивали тучи. Шел дождь, земля набухала, приобретая темно-серый оттенок. Ручей, обычно лениво текущий возле дома, где я живу, теперь бойко продирался сквозь заросли камыша, заполняя небольшую рытвину, усеянную мелкими камешками. Ветер носил остатки соломы по выжженным солнцем полям. Было пусто, тихо и холодно. И даже мои любимые кипарисы зловеще глядели с холма.

Погода не способствовала дальним путешествиям, и я поехал в расположенный поблизости городок Буонконвенто. Мне хотелось побыть в нем подольше. Сколько бы раз я ни проезжал мимо средневековых стен, никогда не получалось свернуть с дороги, плавно огибающей сердце города. Почему-то я обрекал это место на небытие. Мне хватало названия — вызывающего доверие, простого и внятного даже уху человека, не привыкшего к итальянским звукам. <...> Судьба мне улыбнулась. Когда я остановился в Буонконвенто, прояснилось, дождь наконец прекратился. Я мог беспрепятственно прогуливаться в тени каменных строений, восхищаться их формой, заглядывать едва ли не в каждый дворик. <...>

Из Буонконвенто стоит съездить в аббатство Монте Оливето Маджоре ради фресок Содомы (особенно хорош его автопортрет с черными, как смоль, волосами) и Синьорелли. Но в те края надо поехать еще и ради необычайного зрелища: глубокие овраги чередуются с большими холмами, похожими на могильные курганы. Осенью здесь трудно увидеть хотя бы клочок зеленого. Царит желтый, коричневый и серый цвет. Пейзаж выглядит так, словно только что сотворен, без малейших излишеств; простой, как и на полотнах сиенских художников, он, несмотря на свою строгость, на редкость приветлив. Неудивительно, что эти виды привлекают

© Marek Zagańczyk, 2005
© К. Старосельская. Перевод, 2014
Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации текста на страницах журнала.

внимание столь многих. Альбер Камю посвятил им не одну страницу своего дневника. Его записки действуют на меня с недюжинной силой. Они много говорят о Тоскане и о самом Камю, преобразившемся под воздействием итальянских видов.

"Но главное, главное — пройти пешком, с рюкзаком от Монте Сан-Савино до Сиены, по дороге, идущей мимо оливковых рощ и виноградников по холмам голубоватого туфа, тянущимся до горизонта, увидеть, как в лучах заходящего солнца вдруг появится и сверкнет своими минаретами Сиена, точно маленький изящный Константинополь, войти в нее ночью, одному, без гроша в кармане, заснуть возле какого-нибудь фонтана, чтобы потом первым оказаться на Кампо, по форме напоминающем ладонь, на которой уместилось все самое великое, что создано человеком после Греции. <...> Когда я состарюсь, я хотел бы, чтобы мне было дано еще раз вернуться на эту дорогу в Сиену, с которой не сравнится ничто на свете, и умереть там, где-нибудь в придорожной канаве, в окружении одной лишь доброты этих незнакомых мне итальянцев, которых я так люблю"[1].

Но, пожалуй, наиболее близок мне другой фрагмент записок Камю. Я вспоминаю его на холмах близ Сиены, радуясь, что, несмотря на дождь и холод, я снова здесь, среди не меняющихся веками полей и городов.

"Миллионы глаз созерцали этот пейзаж, а для меня он словно первая улыбка мира. Он выводит меня из себя в глубинном смысле слова. Он убеждает меня, что вне моей любви все бесполезно и даже любовь моя, если она утратила невинность и беспредметность, бессильна. Он отказывает мне в индивидуальности и не откликается на мои страдания. Мир прекрасен, и в этом все дело. Он терпеливо разъясняет нам великую истину, состоявшую в том, что ум и даже сердце — ничто. А камень, согретый солнцем, или кипарис, который кажется еще выше на фоне ясного неба, очерчивают единственный мир, где понятие 'быть правым' обретает смысл, — природу без человека. Этот мир меня уничтожает. Он стирает меня с лица земли. Он отрицает меня без гнева"[2].

1. Перевод Ярослава Богданова. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Перевод Ольги Гринберг.

Пять эссе

Конец будущего

Исторические документы бывают разного свойства. С одной стороны, каждое государство располагает изрядным архивом, как правило, отчасти засекреченным, в котором зафиксирована его дипломатическая и бюрократическая активность. Но в широком смысле это может быть продукт всей деятельности общества за некий период, запечатленный на всевозможных носителях информации, весь культурный срез, который изучают специалисты в зависимости от круга своих интересов, каждый в своем аспекте — когда-то это были в основном глиняные черепки и цилиндрические печати, впоследствии — бумажные и целлулоидные горы, а сегодня, по большей части, — серверы, жесткие диски, оптические носители и флешки.

Я хочу уделить внимание одному из таких аспектов, который большей частью мало кто принимает всерьез, хотя в изучающих недостатка не было. Научно-фантастическая литература, по крайней мере на Западе, где она возникла и пережила бурный расцвет, традиционно относится к "жанровой", то есть, если без эвфемизмов, низкой, бульварной, чисто развлекательной, и это вполне заслуженная репутация, принимая во внимание среднее качество продукции — хотя есть и исключения, о чем я упомяну. Тем не менее она в течение длительного времени была властительницей умов значительного слоя населения, она запустила в наш обиход тысячи устойчивых мемов и во многом исподволь формировала нашу культуру — в каком-то смысле ее можно рассматривать как изгнанную на задний двор мифологию века, по инерции полагающего себя рациональным.

У научной фантастики, если не вдаваться в чрезмерные тонкости, есть два очевидных источника: Герберт Уэллс и Жюль Верн. Первый, по всем статьям серьезный писатель, стал родоночальником жанра антиутопии, предтечей Олдоса Хаксли и Джорджа Оруэлла, но это как раз довольно узкий рукав, а вот Жюль Верн проложил магистральное русло, и в нем, как правило, преобладал оптимизм: триумфальное шествие человечества по вселенной, вера во всесилие науки и разума, в трудную, но неминуемую победу над временем и пространством, болезнью и смертью.

Эта вера, в основном апеллирующая к среднему челове-

© Алексей Цветков, 2014
Совместно с сайтом "inLiberty.ru"

ку без особых интеллектуальных претензий, очень часто просто к подростку, который был наиболее типичным представителем читательской массы, не угасала десятилетиями на фоне истории, которая все меньше ей соответствовала. В реальном мире идеалы, которые на свой нехитрый манер воспевала научная фантастика, начали рушиться еще до ее настоящего расцвета, в ходе Первой мировой войны, оставившей по себе духовные руины, которые Вторая только усугубила и за описание которых немедленно взялась "взрослая" литература, от Томаса Манна до Эрнеста Хемингуэя. Властители европейских дум, если такой ярлык применим к интеллигентам (скорее властители собственных дум), наперебой присягали в измене либеральным ценностям и, после долгих заигрываний с марксизмом и фашизмом, впали в хронический релятивизм, но фантастика по-прежнему демонстрировала несокрушимый иммунитет к постмодернизму. Уже в 60-е годы, когда французский десант, вслед за франкфуртской школой, готовился к высадке в американских университетах, на телеэкраны вышел "Звездный след", лебединая песня прогрессивного идеализма, с экипажем звездолета "Enterprise", сеющим разумное, доброе и вечное в самых удаленных галактиках.

Понять, откуда научная фантастика получила свой долгоиграющий заряд, нетрудно. Это, конечно же, наследие Просвещения, единственного в истории духовного движения, основанного на вере в человека, свободного от уложений небесного и земного начальства и способного на доброжелательный жест в чужую пользу без обязательной предоплаты. Имена Локка и Юма, Монтеня и Монтескье, Кондорсе и Канта в этой литературе, конечно же, встречаются не очень часто, хотя опять же есть исключения, но без них мы были бы лишены этой запоздалой реакции, отложения в мифологическом пласте того, что уже успело вызвать разочарование в рациональном. Но тут, конечно, приходит на ум старый анекдот о том, как в Африке были заморозки, а на следующий год жираф подхватил насморк. Потому что разочарование все же настигло.

Проследить эту заключительную фазу процесса проще всего на примере литературного побега, произраставшего в лабораторных условиях. Советская идеология в каком-то смысле тоже была поздним ответвлением Просвещения, пусть уродливым, но зато изолированным от западной заразы релятивизма — с ее верой в прогресс и человеческие возможности при условии правильной классовой родословной. Здесь можно вспомнить времена безумного и повального федоровско-циолковского культа первых десятилетий советской власти, но я ограничусь литературой, и лучшим примером будет творчество братьев Стругацких, в котором путь от наивного оптимизма до безысходного отчаяния был пройден на глазах у моего поколения.

Еще показательнее, и тут речь уже о литературе без малейших скидок, пример творчества Станислава Лема, который, судя по всему, был куда лучше осведомлен о протекающих на Западе духовных процессах, чем это позволяла жизнь в СССР. Он начинал примерно там же, где и Стругацкие, затем писал веселые притчи и менее веселые повести о невозможности контакта между цивилизациями, а закончил не просто отчаянием, как у Стругацких, но апокалиптической безнадежностью, перескочив даже через релятивизм.

Между тем первый надгробный камень на кладбище научно-фантастического оптимизма был установлен, когда Лем и Стругацкие еще только собирались взяться за перо. "Властелин колец" Толкина — книга, явно выросшая из той же Первой мировой, что и европейский постмодернизм, вот только вместо того, чтобы идти по инерции навстречу разочарованию, автор отбрасывает нас на столетия вспять, Просвещение здесь просто вычеркнуто из мировой схемы, Средние века воцарились навсегда, и этим задан шаблон целому пласту популярной литературы, заменившей фантастику в издательских планах. И если на саму толкинскую трилогию еще трудно навесить ярлык безоговорочного эскапизма, то ее прямой потомок, "Игра престолов", к которой сейчас приковано внимание всего мира, не вызывает в этом смысле сомнений: кровь, секс и никакой морали.

Человек, я вам доложу, похож на обиженного ребенка, поди пойми его. Мы верим в жуткую репутацию минувшего столетия с его двумя мировыми бойнями и Холокостом, но совершенно изгладили из памяти задний фон этих событий, а этим фоном была, в частности, Тридцатилетняя война, в пропорциональном отношении куда более жестокая и кровавая, чем все несчастья XX столетия, унесшая в могилу треть европейского населения, обанкротившая все правительства и превратившая большинство германских государств в пустыни. Но именно в этих пустынях зародилась вера в возможность лучшего будущего, в человеческое достоинство, в право жить без светского и духовного ярма — и чем объяснить контраст с нашей нынешней истерикой, с заламыванием рук Теодора Адорно? Тем, что нам купили не ту машинку и накормили нелюбимой кашей? Или мы не знали, на какие мерзости мы способны? И Локк, и Кант знали все это не хуже нас.

Постмодернизм стал продуктом обиды на неправильную историю и на Бога, покинувшего нас на произвол судьбы. Но история — фикция в наших собственных умах, а Бог — тем более. И этот последний сегодня угрожает вернуться на опустевшее в наших сердцах место, в оставленную постмодернизмом пустыню, вместе с поясами шахидов и клобуками кремлевских гомофобов. Общественный договор и категорический императив по-прежнему остаются единственным способом обороны, ничего другого мы не изобрели, а релятивизм не спасает.

Научная фантастика была ненадежным убежищем для впавшего в опалу Просвещения, в лучшем случае тонкой мифологической прокладкой в подсознании. Сегодня она истончилась до прозрачности. В мире, где разочарование стало общим местом, трудно оставаться очарованным — но, может быть, тем достойнее и почетнее.

Чувство чуда

Будучи уже в таких летах, когда даже в гостях у друзей помоложе не наткнешься на маленьких детей, я по необходимости имею довольно туманное впечатление о том, чем живет и дышит нынешнее поколение свободно путешествующих под столом, хотя понимаю, что кубикам и карандашам моего собственного детства пришли на смену айпэды — или, в крайнем случае, желание обзавестись таковыми. Но поскольку биологическая эволюция за мимолетный срок моей жизни далеко не продвинулась, не так уж трудно догадаться на основе собственного опыта, как ведут себя завтрашние жители планеты в период интенсивного и неповторимого познания мира.

Мир для них состоит из двух несимметричных частей, соотношение между которыми на протяжении дальнейшей жизни меняется. С одной стороны, это рутина — она может быть скучной или даже неприятной, как ежедневные упражнения на горшке или манная каша, но также и желанной, вроде общения с собакой и поездок на дачу. С другой — и эта часть поначалу огромна, хотя и менее доступна, — область неожиданного и непредсказуемого, попросту чуда, что в годы жизненного дебюта включает в себя очень многое. Это, например, первая книжка с изображениями динозавров или устройства Вселенной, первый сознательный поход в зоопарк, первый выезд к морю для тех, кто море видел только на картинке. И это, конечно, книги о множестве других диковин, приключенческие, научно-популярные и фантастические о том, что расположено за пределами сферы личного контакта.

Рутина в конечном счете одерживает победу: школа, семья, служба, клизма и заключительное "смерть вырвала из наших рядов". И никакого открытия в этом нет. Но интересна параллель (и контраст) с развитием некоторых цивилизаций. Я, правда, спешу предупредить, что не вкладываю в термин "цивилизация" никакого глубокого смысла, имея в виду просто исторически сложившуюся культурно-географическую общность.

В свое время Лоррейн Дастон, ныне директор берлинского Института истории науки имени Макса Планка, а в ту пору аспирантка, слушала вместе с Катарин Парк курс философии, и обе подметили, какой живой интерес вызывали у видных европейских философов, таких как Бэкон, Гоббс, Лейбниц и Локк, всевозможные диковинные монстры, реальные и мифические. Впоследствии у Дастон и

Парк из этого частного интереса выросла целая книга, "Чудеса и устройство природы, 1150–1750", – монстрам как таковым там была уделена лишь одна глава, речь в основном идет о всевозможных чудесах и загадках природы и о той роли, которую массовый наплыв сведений об этих диковинах сыграл в развитии науки.

Пятнадцать лет спустя после выхода этой достаточно эпохальной книги Стив Полсен взял у Дастон интервью для журнала "Nautilus". Многое из того, о чем она говорит, с тех пор стало общим местом, и я в любом случае мало в чем намерен ей возражать. Удивляет, однако, что она обходит молчанием проблему, которой в последнее время все смелее уделяют внимание другие исследователи: имеем ли мы право говорить об исключительности европейской истории? Ведь в конечном счете наука, которая, через посредство технологии, сегодня коренным образом преобразила мир, возникла именно в Европе и только в ней. Можно ли это считать исторической случайностью? И почему все эти монстры и диковины не вызвали в свое время аналогичного взрыва любопытства, скажем, у китайцев или у мусульман?

Различные культуры имеют разные точки контакта с внешним миром, и степень всенародного любопытства, которое может привести к интеллектуальному обогащению и развитию творческого потенциала, прямым образом зависит от такого контакта. Есть очевидная разница между изолированным племенем в непроходимой амазонской сельве, на протяжении тысячелетий сохраняющим один и тот же социальный уклад, и, например, античными греками с их навигационно-островной культурой, для которых постоянный контакт с внешним миром был единственным возможным образом жизни. Никаких железных законов здесь, впрочем, нет: финикийцы, избороздившие моря еще задолго до греков, занимались в основном коммерцией и не оставили нам никаких культурных памятников, хотя подарили тем же грекам (а в конечном счете и нам) алфавит.

Контакт не обязательно бывает добровольным, как поняли сами греки при встрече с персами. Средневековые европейцы не были слишком развиты, и даже часть своего законного культурного наследия получили из третьих рук, от арабов. Их собственная линия внешнего контакта пролегала поначалу по надвигавшейся границе османских завоеваний, откуда и поступали разные ориентальные диковины, но настоящим потоком они посыпались после развития мореплавания, в эпоху великих географических открытий, а ответом на них и было неуемное любопытство, послужившее темой для книги Дастон и Парк. Европейцы в конечном счете показали себя достойными учениками греков, только полуостров у них был побольше. Еще Платон, а вслед за ним Аристотель, поразному сформулировали одну и ту же мысль: философия рождается из удивления.

К тому времени другие цивилизации, потенциально способные к соперничеству, практически сошли с орбиты — мусульманская в связи с крахом арабского халифата и сугубо прагматическим османским владычеством, а китайская внезапно и навсегда отказалась от постройки крупных судов и дальних плаваний. Европейцы получили свою эксклюзивность по умолчанию, и никакая политическая корректность этого не перечеркнет.

Впрочем, все это не я первым заметил — и даже не я вторым. Но за этим теперь уже общим местом высвечивается другая, не менее важная, проблема: что происходит с нами сейчас? Благодаря Колумбу, Галилею и всем продолжателям их дела детство человечества закончилось, а поток заморских диковин иссяк. То есть на самом деле он не иссяк, а, напротив, в связи с выросшим периметром нашего контакта с неизведанным стал намного обильнее, вот только диковины эти теперь такого свойства, что способность им удивляться требует как минимум докторантуры из Стэнфорда или Принстона, и это в любом случае только первый шаг. Сегодня мы уже не ожидаем с трепетом возвращения экспедиции с какого-нибудь Таити, и даже от полетов на Луну, казавшихся в свое время ключом к рогу изобилия, нас отделяет уже полвека.

Победу одерживает рутина. Да, она, может быть, и бывает вполне интересной, вроде тех же айпэдов и айфонов, интернета и фейсбука с инстаграмом, это все-таки не манная каша. Но время экспедиций на Таити, мировых сенсаций вроде "Происхождения видов" и покорения полюсов миновало, а дети читают все меньше космических опер и все больше откровенных сказок с эльфами и орками. Мы повторили виток и вновь оказались в сельве, но нет никакой гарантии, что спираль бесконечна. Сельва — это царство тысячелетней рутины, а регулятором такой рутины испокон века была религия, и теперь она возвращается.

То, что я сейчас сформулирую, может показаться дурацким парадоксом, но для религиозного сознания не существует понятия чуда, хотя все мы, в том числе и противники религии, привыкли считать иначе. Чудо является таковым, только если оно представляет собой необъяснимое и требующее объяснения исключение из понятной закономерности, а коль скоро все закономерности являются результатом божественного повеления, то это не чудеса, а декреты. Тому, кто сотворил небо и землю, трудно ли накормить толпу считанными хлебами и рыбами или переселить злых духов в стадо свиней? Чудо начинается там, где мы задумываемся над природой закономерностей, и чем больше мы их выявляем, тем больше невыявленных, то есть чудес, возникает в нашем поле зрения. Религия объясняет все и прививает иммунитет к удивлению, наука объясняет очень мало и очень приблизительно, но она требует умственных затрат и привлекает наше внимание к бесконечности необъясненного и, возможно, необъяс-

нимого. Как заметил в свое время Карл Поппер, теория, объясняющая все, на самом деле не объясняет ничего. Чтобы впасть в настоящее изумление и восхищение перед лицом Вселенной, просто необходимо, похоже, быть атеистом. Чудо — это как часовой механизм, не созданный искусным мастером (известное доказательство бытия Божия от дизайна), а возникший самопроизвольно.

С незапамятных времен вполне реальные чудеса вроде комет, двухголовых телят или сиамских близнецов были для религии не столько поводом к изумлению, сколько сигналом к предстоящему бедствию вплоть до апокалиптического, они были встроены в систему, вот как, например, у Шекспира.

> В канун убийства Юлия могилы
> Зияли пустотой, и мертвецы
> Стекались в город,
> лопоча и хныча,
> Сочились звезды кровью и
> огнем,
> Вскипало солнце,
> влажная звезда,
> Опора всей империи Нептуна,
> Дрожала, как перед затменьем
> судным.

Наука, начиная с Бэкона, перевернула всю эту систему. Наука родилась именно как способ объяснения чудес, и падение ее популярности связано с нашей утратой прямого контакта с чудесами и притуплением любопытства. Мировоззрение человека не может не быть трагическим ввиду стандартной жизненной перспективы. Он может, как это делает огромное большинство из нас, просто подавить это чувство трагического, загнать его в глубокое подсознание, и тогда на выбор — либо религия, либо просто бытовой идиотизм. Он может, напротив, выпятить его, и тогда это городской сумасшедший, какой-нибудь Эмиль Чоран, щекочущий нервы бытовому идиоту с претензиями. Единственный способ компенсации без лоботомии — это сохранение чувства неуемного любопытства, чувства чуда.

Формы адаптации

Один из ведущих итальянских журналистов минувшего столетия, некоторое время главный редактор авторитетной газеты "Corriere della Sera", был русский. Ну то есть русского происхождения. Ну, то есть... понятно, о чем я. Его звали Уго Стилле — или Штилле, я не уверен в транскрипции, потому что фамилия все равно выдуманная и взята из немецкого, где означает "тихий" — забавная параллель известному фантастическому персонажу Станислава Лема, особенно в связи с тем, что ничего тихого ни в той, ни в другой жизни не было. Имя Уго, впрочем, тоже выдуманное.

Все близкие в любом случае называли его Миша, его настоящее имя было Михаил Каменецкий. Родился он в 1919 году в Москве, в еврейской семье зубного врача, его мать была образованная женщина с амбициями, удовлетворявшая их посредством содержания салона, который посещали другие образованные

москвичи с амбициями. Но и амбициям, и зажиточной жизни, в какой-то мере обеспечивавшей их реализацию, приходилось туго в условиях Гражданской войны, и семья эмигрировала: вначале в Ригу, где у Михаила родилась сестра Мира, а затем в Италию, где, как одно время казалось, Каменецкие обосновались вполне комфортабельно и насовсем. История распорядилась иначе.

Если на минуту сузить эту историю до российской, то мы хорошо знаем, скольких она выбросила в то время за борт, в том числе из числа лучших представителей поколения, так и не нашедших себе реального места за ее пределами и живших большей частью воспоминаниями. Человеку нелегко радикально перекроить свою судьбу посередине жизни, способность к адаптации с годами слабеет. Нередко куда более заметный след в странах своего невольного назначения оставляли люди, прибывшие туда без особой репутации, еще до достижения зрелости. Общеизвестен пример Владимира Набокова, покинувшего Россию еще юношей и прославившегося в обеих литературах как исконной родины, так и приемной. Исайя Берлин, уроженец той самой Риги, которая послужила для Каменецких перевалочным пунктом, впоследствии стал одним из ярких представителей британской элиты, философом и историком культуры, а к наследию страны своего происхождения, Российской империи, обратился уже в зрелом возрасте.

Считать Михаила Каменецкого российским уроженцем можно лишь чисто формально, он скорее ближе в этом смысле к известному британскому персонажу Питеру Устинову, который родился уже в эмиграции, но тоже с немалой разницей. Для Устинова, при всем его русофильстве и заигрывании с советским режимом, Россия всегда была частью исторического фона, Великобритания — домом. Каменецкий, несмотря на яркую карьеру, родины, судя по всему, не обрел, но Россия, которой он в глаза не видел, так и не стала частью его ностальгии. Он был человеком без привязи. Его сын Александр опубликовал мемуары о своем отце, удостоенные высокой критической похвалы, но кое-что в этой жизни так и останется материалом для догадок и умозрений.

Италия в те времена не была типичным пристанищем для эмигрантов из послереволюционной России, такими были в первую очередь Франция, Чехословакия и Югославия, а на востоке — Китай с его процветающей русскоязычной колонией в Харбине. Тем не менее семья Каменецких, в конечном счете обосновавшаяся в Риме, явно чувствовала себя там неплохо. Отец Михаила, Илья, не сумел получить лицензию дантиста, но все же открыл практику под чужим именем, и вполне доходную. Матери тоже каким-то образом удалось собрать вокруг себя нечто вроде прежнего салона из скудной диаспоры. Что касается самого Михаила, то у него, по-видимому,

с адаптацией не было никаких трудностей. Именно тогда, в стенах Римского университета, родился персонаж по имени Уго Стилле, поначалу это был общий псевдоним, под которым Михаил и его друг Джайме Пинтор писали в студенческий журнал "Oggi". Пинтор впоследствии погиб при попытке пробраться к партизанам, и выдуманный персонаж слился с реальным.

Конец этой хрупкой идиллии легко угадывается. Итальянский фашизм до известных пор не испытывал особой неприязни к еврейскому происхождению Каменецких, но они по-прежнему оставались на положении беженцев, и, когда в 1938 году, в результате "стального пакта" с Гитлером, вступили в силу антисемитские законы, альтернативы побегу уже не было. Кое-что о профессиональных связях Ильи говорит тот факт, что благополучно отбыть в США семье помогло заступничество фашистского культурного светила Габриэле Д'Аннунцио и молодого священника Джованни Монтини, впоследствии папы римского Павла VI.

В Америке адаптация Миши-Уго пошла по второму кругу. Здесь его мобилизовали и пристроили к армейской радиожурналистике, в двадцать три года он возглавил "Радио Палермо", а затем вместе с войсками передвинулся на север, в Германию. Вскоре после возвращении с фронта он стал постоянным гостем творческих вечеринок Нью-Йорка и на одной из них познакомился с Элизабет Богерт из аристократической чикагской семьи. В тот же день она ушла от мужа, а в скором времени они поженились. Брак, по свидетельству сына, был невероятно бурным и конфликтным, с практически полярной несовместимостью, и тем не менее, по рассказам того же сына, нерасторжимым — Элизабет умерла от рака в 1993 году, Миша пережил ее ненадолго. После его смерти некрологи Уго Стилле появились во многих крупнейших газетах мира, по общему признанию он был лучшим итальянским корреспондентом в США и открыл глаза на эту страну множеству своих бывших соотечественников. Слово "бывших" тут для меня ключевое — с подробной биографией Уго Стилле лучше знакомиться по книге, а здесь меня интересует другая проблема.

Я уже упоминал, что он некоторое время был главным редактором "Corriere della Sera", но уговорить его удалось лишь со второго раза: этот пост его просили занять еще в 1958 году, но согласие он дал только в 1987, а уже в 1992-м он покинул Милан и возвратился в США. Страна, где прошла вся его молодость, по какой-то причине уже не была для него магнитом, по свидетельствам друзей, он испытывал иррациональные опасения, что будет лишен американского гражданства и Америки больше не увидит.

Здесь, конечно, можно порассуждать об особых ассимиляционных свойствах Америки, по умолчанию страны иммигрантов. Но подобные общие места мало что проясняют в конкретных случаях, и семья

Каменецких — наглядный аргумент против обобщения. Отца Михаила Илью, чувствовавшего себя в Италии как рыба в воде, несмотря на плохое владение языком, Америка сломала. Когда Михаил и Элизабет нанесли ему первый визит, уже после своего бракосочетания, он привел американку из патрицианского семейства в ужас — неряшливый, развалившийся в кресле с расстегнутым ремнем и попытавшийся отпустить скабрезную шутку. Ее комментарий при этом был, мягко говоря, неполиткорректного свойства: они, дескать, уничтожили шесть миллионов — а вот этого не тронули.

У отца это можно списать на возраст, но сестра была младше Миши, и ее судьба оказалась совсем трагической: она "потерялась" в новой стране, ее квартира была до непроходимости забита мусором, брату с женой пришлось однажды выселить ее на пару дней в гостиницу, чтобы мешками выносить все эти чеки и квитанции, пластмассовые вилки, музейные проспекты и старые журналы — атрибуты придуманной жизни. Она как бы пыталась этой кучей бесполезного имущества доказать себе факт собственного существования.

Чем дольше я сам живу в эмиграции, тем больше убеждаюсь, что никакой единой матрицы адаптации или, напротив, отчуждения, не существует, все круглые столы и проблемные статьи по этому вопросу — в пользу бедных. В предельном случае, как, например, в крупных городах США или, похоже, в Берлине, человек может прожить всю жизнь с минимальным языковым запасом, не выходя за периметр добровольного гетто: я, например, знаю парикмахера-бухарца из Квинса, который до встречи со мной не имел понятия, что за речкой в Манхэттене выстроили новую башню и мемориальный комплекс на месте разрушенного Международного торгового центра. Примерно то же самое, но в другом имущественном цензе — Майами и его окрестности с их российскими рантье. Эмигрант может также оказаться между двух миров, поочередно меняя грим для игры в служебных и домашних декорациях. В наиболее радикальном случае он просто растворяется в новой человеческой массе и выпадает из поля зрения избирательной демографии, она замечает его только тогда, когда он, скажем, Сергей Брин, и статистической ценности такой Брин не имеет. Или напротив, масса его полностью исторгает, как Миру Каменецкую. Вообще демография эми-/иммиграции подобна тоннелю, который пробивается с противоположных сторон без расчета на встречу или подозрения о возможности таковой. Это культуры-эфемериды, наслаивающиеся друг на друга и по определению стерильные. Любая попытка проникновения в них остается на уровне коллекционирования бабочек и не имеет возможности подняться до энтомологии.

На этом фоне фигура Уго Стилле, то есть Михаила Каменецкого, выглядит импортом из какого-нибудь средне-

вековья или Ренессанса, когда для людей определенного склада не существовало реальных родин и границ. Ему, уроженцу третьей страны, выпало сыграть роль в углублении взаимопонимания двух других. Между Россией и Америкой такого эффективного посредника до сих пор, увы, не было — разве что в Италии уже родился некто, выдвинутый судьбой на эту роль.

Поэзия и рекурсия

Владимир Маяковский писал: "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". Беда в том, что штык у него был направлен не в ту сторону. Он призывал встать на сторону сильных, против слабых.

Примерно в том же ключе, хотя явно не в пользу стороны Маяковского и потому с некоторой эзоповской амортизацией, выразился Борис Пастернак: "Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста".

О чем, собственно, здесь идет речь, что мы читаем в этих строках сегодня, и в какой мере выраженная здесь идея согласуется с нашими собственными? Маяковский, понятное дело, пишет о так называемой гражданской поэзии, но Пастернак вряд ли, по крайней мере уж точно не о ней одной. Осталось ли что-нибудь в этой вакансии, на которую претендуют довольно многие, включая меня, от ее предположительной былой опасности?

Судя по многим признакам, осталось мало, и для подтверждения этой гипотезы совершенно незачем обращаться к читательской аудитории, реальной или воображаемой. Всем будет достаточно бросить взгляд на собственные тиражи, то есть тем, у кого о тиражах вообще имеет смысл говорить. Одна из самых известных строчек одного из самых известных поэтов прошлого столетия, Уистена Хью Одена, рассеивает, казалось бы, последние сомнения: "Поэзия ничего не приводит в действие". И если так думают лучшие из нас, на что рассчитываем мы и чего мы вправе ожидать от читателя?

Размышления о роли поэзии в современном мире, с неизбежным заламыванием рук и почти всегда с довольно безутешным выводом, в последние годы стали общим местом в американской печати соответствующего профиля. Совсем недавно мне попалась на глаза небольшая заметка культурного обозревателя журнала "Atlantic" Ноа Берлатски с полемическим заголовком: "Поэзия не так бесполезна, как считают многие поэты" — тут мне сразу приходит на ум любимая шутка моего покойного друга, поэта Александра Сопровского, "он не так плох, как может показаться при ближайшем с ним знакомстве". Берлатски размышляет над текстом выступления поэтессы Мины Александер в Йейльском университете, которая, судя по всему, согласна с тезисом Одена, но пытается увернуться от его самоуничижительного тона. Для тех, кто не

знаком с ее репутацией, объясню, что Александер довольно известна, насколько вообще поэт сегодня вправе претендовать на известность (в этом плане англоязычность, конечно, большое подспорье), и те ее стихи, которые попадались мне на глаза, в том числе в тексте упомянутого выступления, — не худшее, что делается сегодня в этом жанре.

И тем не менее выступление, с моей точки зрения, ничего, кроме глубокого стыда за автора, не вызывает, оно отталкивающе манерно и пропитано духом неисцелимого нарциссизма. Поводом к нему послужил некогда якобы заданный ей из публики вопрос, какова польза от ее поэзии. После нескольких поз самолюбования поэтесса приводит стихотворение, написанное ею по следам события, последние строчки которого звучат так:

> Стоя поодаль я взглянула на нее
> и сказала —
> У нас есть поэзия,
>
> Чтобы нам не умереть
> от истории.
> Не имею понятия,
> что я имела в виду.

Тут я должен полностью согласиться — я тоже не имею понятия, что она имела в виду, и Ноа Берлатски разделяет мое недоумение. Самое поразительное в этом ответе то, что Мина Александер, будучи ненамного моложе меня, явно никогда не задумывалась над смыслом своего творчества. Более того, ее восхищенное внимание на протяжении всей этой речи намертво приковано к себе самой, а то она хотя бы вспомнила, что об этом думали некоторые из ее предшественников, в том числе и покрупнее калибром, — ну хотя бы тот же Оден, чье имя так и просится на язык.

Очевидно, что на протяжении большей части истории у поэтов не было повода задумываться над тем, почему они пишут и декламируют, примерно по той же причине, по какой слесарь не задумывается о своей профессии — лишь бы клиент шел. В дописьменном обществе у потребителей литературы просто не было иного ассортимента, поэзию предпочитали из-за ее встроенного мнемонического механизма. Затем она тысячелетиями жила в основном на содержании у монархов и меценатов. Но даже когда этот симбиоз во многих местах распался, приговором это не стало. Когда Генри Лонгфелло прибыл в Лондон, его пригласили в королевский дворец, а толпы простого народа на улицах с восхищением провожали взглядом его экипаж.

Сегодня популярность Лонгфелло никому из нас не грозит, будь ты хоть нобелевский лауреат. И сомнения, конечно, естественны, они возникли не вчера, не мы первые задумались, хотя вот Мина Александер ухитрилась счастливо избежать лишней рефлексии. А вот Пушкин явно был ее не чужд. Нельзя сказать, чтобы он однозначно стоял на страже добра и красоты, "Клеветникам России" и "Герой" по сей день вызывают изжогу, и проблема тут не просто идеологическая: Мицкевич был его дру-

гом, а Николай отправил его друзей на виселицу. Но мы знаем по себе, что жизнь — непростая штука. Подбивая предварительные итоги, он обосновал заявку на народную память тем, что в жестокий век прославил свободу и милость к падшим призывал. Иными словами, важно не выбрать сторону зла — тут Пушкин в прямом конфликте с Маяковским и обходится без пастернаковских иносказаний.

Но свобода и милость к падшим — не специфика поэзии, это достаточно общая программа, она вполне подойдет и для совестливого слесаря. И к тому же трудно отрицать, что и Маяковский — поэт. Почему в любом случае очень мало кто из сегодняшних поэтов задумывается над тем, чему он, собственно, посвятил жизнь? В американском контексте ответить на этот вопрос сравнительно просто. Большинство поэтов с репутацией живет здесь в рекурсивном мире, где вопрос о смысле смысла лишен. Подобно Александер, они преподают в колледжах, в основном литературное мастерство, следующему поколению поэтов, которое, в свою очередь, будет передавать науку по эстафете еще одному и т. д. Поэзия в этой перспективе — профессия по подготовке специалистов по подготовке... Примечательно, что этой фабрике талантов кое-кто в России вполне завидует.

Что произошло с поэзией после Лонгфелло? Мы знаем, кто победил на литературном рынке. Роман, этот исконно буржуазный жанр, особенно в своем массовом развлекательном варианте, уютно скрашивает досуг после напряженного дня в конторе, в поезде или во время трансатлантического перелета. У стихов, казалось, было хоть и маленькое, но преимущество — они коротки и легко обозримы. Для победы над романом этого, пожалуй, недостаточно, и поэты повернулись спиной к аудитории, попросту говоря, стали писать друг для друга, для университетского семинара, читатель из уравнения выпал. В основном поэзия сегодня — это продукт, которым ты удостоверяешь принадлежность к цеху поэтов, все та же рекурсия, дурная бесконечность.

Но вот поди ж ты, данные опросов, которые приводит Берлатски, свидетельствуют о том, что в США поэзию читают 14 процентов населения. Даже со скидкой на тот факт, что число самих поэтов, признанных и добивающихся признания, здесь наверняка не меньше, чем в России, цифра выглядит внушительной. Вот только не сказано, какую поэзию читают эти люди — у меня есть подозрение, что все же не университетскую.

Даже в отсутствии статистики есть поразительные примеры, приоткрывающие покров над этой тайной. Сразу после трагедии 11 сентября 2001 года в интернете вдруг запестрело стихотворение Одена "1 сентября 1939" с его пронзительной строкой: "Мы должны любить друг друга или умереть". Почему-то именно в этот момент оно стало для многих из нас напоминанием о нашей общей человечности, паролем сплочения перед ли-

цом зла. Видимо, поэт все же упустил что-то из виду, вынося суровый приговор собственному ремеслу.

Подводя итог своим разногласиям с Александер, Берлатски, надо сказать без твердой аргументации, заключает, что правильным вопросом будет не "какая польза от поэзии", а "какая польза от этого стихотворения". Звучит малоубедительно: вопросы о том, какая польза от сапожного ремесла и от данной пары ботинок тесно взаимосвязаны. И потом, что нам мешает писать только "эти" стихотворения?

Берлатски упоминает, хотя и не объясняет толком почему, о том, что деспотические режимы загоняют независимую поэзию в подполье. Я, однако, вырос при таком режиме и могу поделиться некоторыми соображениями. Я и мои коллеги понимали поэзию как некоторую операцию на мозге читателя, после чего туда открывается ход мыслям, которые раньше его не имели. Это совсем не то, что удовлетворить семинарским требованиям и получить диплом. И понятно, что режим не был склонен одобрять подобную хирургию. А уж насколько у нас получалось — совсем другая проблема. Что касается сторонников рекурсии, то я бы рекомендовал им отвести глаза от бесконечной галереи зеркал и посмотреть в зал.

Хранить вечно

Для календарных дат у меня в голове есть специальная дыра, куда они проваливаются, не успев миновать, и дело тут не в подобающем возрасту диагнозе — так со мной было всегда. Но теперь у людей с таким дефектом есть, хвала прогрессу, протезы памяти, Google и википедия, можно без труда проверить. С Карлом Проффером мы познакомились летом 1977 года, это было лето смерти Владимира Набокова, и нью-йоркское издательство "McGraw Hill" устроило по этому поводу нечто вроде поминальной конференции, а я как раз гостил в Нью-Йорке у Эдуарда Лимонова, наездом из Сан-Франциско. После торжеств мы с Карлом и с Иосифом Бродским оказались в ресторане в старом итальянском районе Манхэттена, где была обсуждена, в числе прочего, и моя дальнейшая литературная судьба. Вернее сказать, она была утверждена, хотя тогда я об этом, конечно, не подозревал.

Каждый раз, когда я вспоминаю эту встречу и все последующие, мне очень трудно отмахнуться от собственных биографических подробностей, потому что они неразрывно связаны с издательством "Ардис", которое было основано Карлом и его женой Эллендеей в начале 70-х годов прошлого века. Названия некоторых из этих зарубежных издательств, на которые мы, литературные эмигранты, имели свои понятные виды, были у меня на слуху уже накануне отъезда, но "Ардиса" в их числе не было, хотя я уже знал об одном из его первых важных проектов — альманахе "Метрополь", объединившем под одной обложкой видных представителей как офици-

альной, так и неподцензурной литературы того времени. Знал, естественно, из официальных советских источников, из которых всегда приходилось извлекать квадратный корень. И вот благодаря счастливой цепочке — Саша Соколов — Карл Проффер — Иосиф Бродский — я неожиданно оказался в числе его опубликованных авторов и даже на какое-то время сотрудников.

Сегодня об "Ардисе" должно быть известно всем, кто занимается русской литературой прошлого столетия профессионально, хотя как на самом деле обстоит дело — поди знай. К сожалению, эта известность не очень распространяется на собственно литературную среду, где возможности беспрепятственной публикации, несмотря на козни режима и узость образованной читающей аудитории, сейчас несравненно шире, чем в глухие 70-е, а память, увы, короче. И я, насколько мне под силу, пытаюсь этот пробел восполнить, попутно сортируя собственные интересы на личные и объективные.

Карлу Профферу в сентябре этого года исполнилось бы семьдесят пять лет, но скончался он, после тяжелой болезни, в возрасте сорока шести лет, хотя его детищу, благодаря Эллендее, был отпущен еще сравнительно долгий срок. Мичиганский университет в Энн-Арборе, где Карл преподавал русскую литературу все свои последние годы и где сам я в ту пору учился в аспирантуре, организовал по этому поводу симпозиум по творческому наследию "Ардиса", давно расформированного, а также выставку его архивов. Я был в числе приглашенных — по некоторому стечению обстоятельств единственный из его авторов в числе бывших сотрудников и помощников, то есть, как мне тут же пришло в голову, единственное из бывших животных среди ушедших на покой смотрителей любимого зоопарка.

"Ардис", на мой бесспорно пристрастный взгляд, был уникальным среди всех прочих тогдашних зарубежных издательств русской литературы. Во-первых потому, что он был основан не советскими эмигрантами, всегда так или иначе преследовавшими не только литературные цели, и даже не обязательно их в первую очередь, — это не осуждение, а просто реальный факт. Во-вторых, он не получал поддержки от организаций, для которых литература, включая русскую, не была главной отраслью их деятельности, — например ЦРУ. Он был продуктом чистого энтузиазма, любви к этой литературе двух людей, навсегда связавших с ней жизнь.

Карл и Эллендея Профферы впервые отправились в Советский Союз в 1969 году с рекомендательным письмом Льва Копелева, адресованным Надежде Мандельштам, и тогда же они впервые встретились с Иосифом Бродским. Само издательство началось с толстого (то есть просто очень толстого, но нечастого) англоязычного журнала "Russian Literature Triquarterly", под обложкой которого Профферам

удалось собрать лучшие силы тогдашних молодых славистов, уставших от казенной выправки стандартных отраслевых изданий.

Когда я впервые прибыл в Энн-Арбор, издательство было уже на полном ходу. Оно располагалось в семейном доме Профферов, но это был не обычный жилой дом, а просторный бывший гольф-клуб с прилегающим полем, в подвале которого собственно издательство и располагалось — книжные полки до потолка, на столах композеры — вроде электрических пишущих машинок, но способные выравнивать строки по правому полю, а опечатки приходилось замазывать белилами, иногда вырезать лезвием и вклеивать правильный вариант. Все это искусство я тогда вполне освоил, в том числе и печать вслепую обеими руками — этот навык, впрочем, у меня скоро прошел. Рядом была подсобка, куда складывали только что привезенные из типографии новые издания. Хотя в Союзе мне приходилось работать книжным корректором, этот процесс рождения книги у тебя на глазах был настоящим экстазом.

Карл и Эллендея предпочитали вставать поздно, и поэтому процесс, перемежаемый к тому же хозяйскими детьми и собаками, порой затягивался за полночь, иногда перетекал в вечеринку, если возникал повод. Это очень трудно было назвать рабочим местом, это было скорее место исполнения желаний — с паломничествами издалека, в том числе из-за пресловутого железного занавеса. Там я познакомился со многими, кого раньше если и видел, то только на сцене или в телевизоре — с Окуджавой, например. Правда, как до меня дошло окольными путями, мои стихи ему не понравились, но книжку свою он мне подарил, с автографом. Видимо, на правах инструкции.

Перечислять, что было издано за эти годы, здесь нет возможности, изданий были сотни. Проще упомянуть некоторых авторов, включая таких, кого "Ардис" фактически открыл. Это был в первую очередь Бродский, у которого там вышли, на мой взгляд, главные его книги. Это был Саша Соколов, бросивший мне в свое время спасательный круг. И еще Сергей Довлатов, Бахыт Кенжеев, Юрий Кублановский, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Эдуард Лимонов, Василий Аксенов. Университет тоже не оставался в стороне от этого плавильного котла: в пору моего там обучения на год впереди меня в той же аспирантуре был Лев Лосев, а среди преподавателей, не говоря уже о Карле, также Иосиф Бродский. Можно еще упомянуть, что Владимир Набоков, послуживший в каком-то смысле поводом к моей инициации, предоставил издательству эксклюзивное право на публикацию своих произведений на русском языке. "Ардис" был культурным магнитом для России, которому трудно подобрать сравнения, я знаю лишь две отдаленные параллели: Царскосельский лицей во времена Пушкина и литстудию Игоря Волгина "Луч", которой в этом году ис-

полняется 45 лет. Вот только в отличие от этих двух институтов располагался "Ардис" в западном полушарии, в предместье Детройта, на берегу реки Гурон.

При этом, как я уже объяснил, цели издательства были исключительно литературными, без политической подоплеки. Из этого никак не следует, что Карл и Эллендея были наивны относительно характера советской власти, они просто не считали нужным ее демонизировать, и оказались в конечном счете правы, вот только Карла доказательства этой правоты в живых не застали. Так или иначе, в конечном счете им запретили въезд в СССР, и запрет был снят только в перестройку.

Я был в те годы звеном общего энтузиазма, вот только я не подозревал, до какой степени на энтузиазме все предприятие и держалось. Кое-что прояснила Эллендея, выступая на упомянутом симпозиуме в Энн-Арборе. За независимость приходилось платить. Каждый год Карл неизменно отправлялся в банк за новой закладной под свой замечательный дом. И каждый раз он подробно объяснял банковскому клерку, чем он собственно занимается, кому и зачем это нужно и какая это прекрасная вещь — русская литература. Карл, надо полагать, сделал из этого человека эксперта — жаль, что его самого не оказалось на симпозиуме. Как бы то ни было, закладная исправно оформлялась, и так на протяжении многих лет. Странным образом добиться положительного баланса удалось лишь в перестройку, когда необходимость в публикации книг на русском отпала, а англоязычные и переводные для университетских нужд все-таки прибыль приносили. Русские неизменно шли в минус — включая три моих, а также мой скромный заработок.

Из всех праздников, которые мне выпали в жизни, "Ардис" был и остается главным, он затмевает даже ту минуту ликования, когда я поднимался по трапу самолета, предвкушая скорую Вену и окидывая взором покидаемую зону. Несколько лет назад мне приснился, вроде бы без всякого повода, странный сон. Будто мы все снова там, и Эллендея, и Карл (хотя его я так и не увидел), и Фред, и Рон, и Мэри-Энн, и даже дети и собаки. Мы блуждаем вокруг знакомого дома и никак не можем найти вход. Так оно получилось и в этот раз.

Иэн Макьюэн
Отступничество

Перевод с английского Виктора Голышева

Как у поздневикторианского священника, мучающегося в ночи Сомнениями, у меня бывают моменты, когда моя вера в прозу слабеет и, кажется, готова рухнуть. Верую ли в самом деле? — спрашиваю я себя. А затем: веровал ли когда-нибудь? Первыми уходят вывихнутые, всклокоченные тексты экспериментальной прозы. Ах, ладно... За ними — чудо непорочного зачатия магического реализма. Но ему я никогда не поклонялся. А вот когда ледяные воды скепсиса подступают к подножью самого реализма, я понимаю, что у меня начинается долгая ночь. Мое предприятие утратило всякий смысл. Романы? Я не знаю, как и куда отогнать мое неверие. Что сказал воображаемый Генри или сделала несуществующая Сью, и Генрино одинокое детство, его война, его развод, его восторги и порывания к истине, и как в нем отразился век... — не верю ни слову, ни замшелой условности, будто погода как-то связана с настроением Генри, ни в замшелые условности вообще.

© 2010 by Ian McEwan
© Виктор Голышев, 2014

Когда бог вымысла покидает тебя, уходит все остальное. Уставленный книгами храм, кафедра с микрофоном, почтительная паства, катехизис интервьюера, исповеди, замаскированные под вопросы, очередь чающих целительной силы автографа, благословение или проклятие рецензента. Каюсь, сиживал я в президиумах с единоверцами и заводил песнопения о том, что все мы, люди, выдумщики, и "не можем жить" без историй. Вы не можете жить без нас — всегда подразумевают священники. (О нет, мы можем.) Мое усомнившегося сердце падает, когда я захожу в секцию прозы книжного магазина и вижу заоблачные горы новинок на столах, умоляющие ярлычки над живописью обложки (*Он любил ее, но откликнулась ли она?*), задаток сюжета на супере, в настоящем времени: *Разорвав путы брака, Генри пускается в самые невероятные...*

Вот когда я начинаю думать, что сойду в могилу, не перечтя в пятый раз "Анну Каренину" и в четвертый — "Госпожу Бовари". Мне шестьдесят четыре года. Если повезет, впереди у меня еще лет двадцать осмысленного чтения.

Объясняйте мне мир! Дайте мне космологов, чтобы рассказали о начале времени, летописцев Холокоста, философа, подженившегося на неврологии, математика, чтобы открыл тупице красоту чисел, историков возвышения и упадка империй, знатоков английской гражданской войны. Не считая редких и коротких удовольствий, чем обогащусь я после очередного романа о раскаянии или торжестве Генри? Не поведает ли мне любезный романист, почему началась промышленная революция и как сообщает массу элементарным частицам бозон Хиггса, или как развивалась мораль, или что думал Сальери о своем хористе Шуберте? Если бы меня волновали сетования Генри, я мог бы прочесть за четыре минуты песню-фантазию Берримена[1]. И, сэкономив пятнадцать часов, засел бы за какое-нибудь судебное дело (реальные события!) — прекрасный путеводитель по странностям и варварствам человеческой души.

Такое отступничество вползает в широкую брешь между завершением одного романа и началом следующего. Это не затор и даже не столько долгая ночь, сколько глубокое безразличие. Радость где-то далеко. Иной раз проходят месяцы, а потом начинается сдвиг, перенастройка. Начинается с легкого толчка. Деталь или фраза могут побудить к возвращению в стадо. Не обязательно блестящие. От них должно лишь исходить художественное тепло.

Недавнее возвращение к вере началось с двух перечитанных рассказов. (Есть убедительность в лаконизме.) Первым был постоянно обсуждаемый и знаменитый "Условные знаки" Набокова. Удрученная старая чета в день рождения душевнобольного сына навещает его в психиатрической клинике. Мать не пользуется косметикой. "...Она выставляла на разоблачительный свет весеннего дня незащищенную белую кожу"[1]. Идеально настроенное и ритмически завернутое вокруг скромного или приглушенного парадокса — весна, обычно вестница надежды, несет только критику личного свойства. Вторым был рассказ Апдайка "Двуспальные кровати в Риме". Мейплы давно решили развестись, но сексуально не могут оставить друг друга в покое. По привычке они уезжают на отпуск в Рим. Туфли Ричарда, в Америке вполне удобные, здесь превращаются в орудие пытки, и он едва может ходить. По дороге им с женой попадается обувной магазин, и он покупает черные мокасины из аллигаторовой кожи. "Они были тесные, франтовские, но мертвые — они не жали с живым, возмущенным остервенением прежних". Мне понравилось "мертвые". Это мягкое замечание подразумевает, что аллигатор мертв. Мучение от американских туфель, видимо, происходило от живого существа. Земному, в собственной Апдай-

1. Генри — имя лирического героя песен-фантазий Джона Берримена (р.1978), британского музыканта, бас-гитариста группы "Коулдплэй". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

1. Перевод В. А. Харитонова.

ка формулировке, изящно отдано должное — непритязательным, комическим образом.

Бывший студент Корнелского университета вспоминал в "Три куотерли": "Ласкайте детали, — возглашал Набоков с раскатистым "р", и в голосе его звучала шершавая ласка кошачьего языка, — божественные детали!"

Я счастлив принять этот совет. Я не утверждаю, что в приведенных двух фразах есть нечто исключительное, а говорю только, что с них начало оттаивать мое равнодушие. Они подсказки, а не откровения. Обе они иллюстрируют удивительную способность прозы представить кристаллическую решетку сознания, мелкий шрифт субъективности. Обе — сообщения в третьем лице, но в них сидит жемчужина личного опыта — разоблачительный весенний свет и туфли, уже не живые и не кусачие. Оценив эти строки, вы объединяетесь не только с писателем, но и со всеми, кому они нравятся. В акте узнавания тесные границы "я" немного размываются. Этого не происходит, когда мы узнаем, что делает бозон Хиггса.

Я помню, как ребенком ласкал деталь в романе. Вспоминая такое, восстанавливаешь веру в прозу. Переживание было гипнотическое, с последствиями на всю жизнь — оно показало мне, как мир фактов и мир вымысла проникают друг в друга. Мне было тринадцать лет, я сидел один в школьной библиотеке, погрузившись в "Посредника" Л. П. Хартли. Герой, Лео, мальчик из бедной семьи, проводит летние каникулы 1900 года у школьного товарища, семья которого живет в поместье. В центре, разумеется, роль Лео как почтальона между тайными любовниками. Но меня увлекло описание жары и зачарованность мальчика термометром на домике — доберется ли он до ста градусов. В ту неделю приходит очередной выпуск юмористического журнала "Панч" и там на рисунке "мистер Панч под зонтиком вытирает пот со лба, а возле него, высунув язык, изнемогает от жары собачка Тоби"[1].

Помню, я отложил книгу и под влиянием неожиданного импульса пошел через зал к полкам, где стояли подшивки "Панча", снял том за 1900 год, нашел июльский выпуск. И они оказались там — изнывающая собачка, зонтик и мистер Панч, прижавший платок ко лбу! *Это была правда*! Я был пленен, очарован могуществом придуманного и вместе с тем реального. И почувствовал незнакомую грусть, ностальгию по миру, который мне не достался. На мгновение я переселился в Лео, увидел то, что он видел, а потом — я опять в 1962 году, я в интернате, и нет жары, и нет любовников, чтобы между ними бегать, а только этот маленький след в пожелтелом журнале.

Тогда я так об этом не думал, но я увидел, как реализм может быть подкреплен действительностью. Через двадцать лет я попробовал это сам. То, что никогда не проис-

1. Перевод М. А. Загота.

ходило, может переплестись с тем, что было на самом деле, воображаемый человек — взяться за руки с живым, он может жить в твоем доме, этот придуманный тобою Генри, может читать все, что ты читал, и даже спать с твоей женой. Атеист — соединиться с верующим, энциклопедия — с поэмой. Все, что было поглощено и обдумывалось в месяцы безверия — наука, математика, право и прочее, — ты можешь унести с собой и употребить, когда вернешься — в который раз — к своей истинной вере.

Марина Ефимова

Энтузиаст. Судьба Торнтона Уайлдера

В полдень в пятницу 20 июля 1714 года рухнул самый красивый мост в Перу и сбросил в пропасть пятерых путников...

Мое поколение смогло впервые прочесть эти строки, открывающие роман 1927 года "Мост короля Людовика Святого", только в середине 70-х. Его перевел (замечательно) Виктор Голышев. Очарованием романа было сочетание чуть мистического, легкого, поэтического стиля с прямо-таки российской (или немецкой, манновской) серьезностью духовного исследования.

Почему погибли именно эти пятеро?.. Либо наша жизнь случайна и смерть случайна, либо и в жизни, и в смерти заложен план...

И свидетель катастрофы — францисканский монах Юнипер — расследует пять судеб, внезапно оборвавшихся вместе с ивовыми прутьями моста.

Прочтя роман, мы кинулись читать (что могли найти) об авторе: сын пастора и брат пастора, закончил Йейль, потом Принстон, изучал архитектуру и археологию в Италии, преподавал французский язык в школе при Йейльском университете, потом — латынь и греческий в Чикагском университете... Словом, профессор, профессор и профессор. Нам и в голову не приходило, что Торнтон Уайлдер был одним из самых очаровательных шутников своего поколения. Его бывший ученик писал в воспоминаниях о своих школьных годах:

Мы любили мистера Уайлдера. Он не был похож ни на кого из преподавателей и всегда говорил неожиданные вещи. Например, когда мы с забывчивой медлительностью переодевались ко сну в общей спальне, застывая на несколько минут с носком или рубашкой в руках, мистер Уайлдер никогда не говорил раздраженно: "Побыстрей, пожалуйста, джентльмены..." Нет, задумчиво поглядев на нас некоторое время, он вдруг делал вид, что пытается загородить собой дверь, и взволнованно говорил: "Нет-нет, мисс, вы не можете войти... это — спальня мальчиков!.." Раздавался общий вопль, туча носков, брюк и джемперов падала на пол, и в минуту все были под одеялами.

Однажды кто-то из нас сказал ему: "Вы много курите!" Он сразу согласно кивнул: "Не останавливаясь. Прикуриваю одну от другой начиная с 1918 года". Мы любили его за веселую терпимость к нашему идиотизму и нечастое, но вовремя проявленное внимание к нашим чувствам. Мы понимали, что он разглядывает нас с интере-

© Марина Ефимова, 2014

сом, похожим на интерес зоолога к обезьянам. Но в школе все мы изголодались хоть по какому-нибудь интересу[1].

Все биографы пишут о необычайной образованности Торнтона Уайлдера. Это подтверждает и литературный критик, профессор университета Монтаны Дэниэл Хайберман, лично знавший писателя:

Он уже в юности был эрудитом. Одним из его главных увлечений была испанская литература, особенно — Лопе де Вега. А его роман "Небо — моя обитель" основан на книгах Сервантеса. В немецкой литературе он смаковал вещи Гессе, насколько я помню. Разумеется, он прекрасно знал русскую литературу и даже с помощью кого-то из славистов перевел чеховскую "Чайку". В общении Уайлдер был очарователен, скромен и уступчив, но только до тех пор, пока речь не заходила о литературе. Тут он становился человеком абсолютно категоричных мнений, хотя часто выражал их в очень смешной форме. Он так много знал, что испытывал энтузиазм по поводу вещей, которые мало кто читал: например, обожал письма мадам де Севинье[2].

Считается, что именно письма мадам де Севинье послужили примером для писем маркизы де Монтемайор к дочери в первой новелле романа "Мост короля Людовика Святого". Однако письма были и семейным жанром Уайлдеров. Сам Торнтон писал их сотнями: брату Амосу, сестрам Изабелле и Шарлотте, отцу, любимому профессору Уэйгеру, бывшим ученикам, старым друзьям и новым знакомым и, главное, матери. Письма маркизы де Монтемайор были посланиями любви (безответной) к дочери. Письма 20-летнего Торнтона были посланиями сыновней любви:

...Если бы коллеги узнали, сколько времени я трачу на письма матери, меня бы уволили. Вы знаете, что для моих сверстников матери — это люди, которые портят удовольствия?.. Все остальное — литература. А я приеду специально для того, чтобы повидать Вас, 17 ноября, в пятницу. (Пожалуйста, до этого времени приучите себя к мысли, что у меня отросли усы... чтобы у нас было время поговорить о чем-нибудь другом...) Со времени Средневековья сколько взрослых мужчин покрывали 100 миль ради счастья Вас увидеть?.. И всю дорогу думали о Вас?.. И признавались под присягой, что они поняли самые восхитительные места из всемирной литературы только в свете Вашей личности?..

Мадам, хотя я считаю, что Вы слишком молоды для этой роли, я, тем не менее, торжественно прошу Вас: станьте моей матерью... Согласны ли Вы взять этого человека в сыновья, чтобы осуждать и баловать, дразнить, провоцировать и видеть его лицо во время тысяч завтраков... И да поможет Вам мадам де Севинье[1].

1. Из книги Gilbert A. Harrison. The Enthusiast: A Life of Thornton Wilder. — Ticknor & Fields, 1983.
2. Из интервью профессора Дэниэла Хайбермана (университет штата Монтана), данного М. Ефимовой (радио "Свобода", 1997).

1. Из книги Gilbert A. Harrison. The Enthusiast: A Life of Thornton Wilder.

Роман "Мост короля Людовика Святого" посвящен матери. Это было третье литературное произведение Уайлдера. Первое — "Воспоминания римского студента" — было юношеским опытом. Второе — роман "Каббала" (якобы из жизни римского высшего света, увиденного им краем глаза во время учебы) — обратило на себя внимание критиков. Третий роман ("Мост...") вышел весной 1927 года. Отзывы критики, особенно британской, потрясли автора (тогда школьного учителя). Знаменитый палач новичков критик И. В. Лукас писал "Давно не читал ничего столь оригинального..." Другой критик отметил "тонкую идею..." Обозреватель журнала "Ивнинг стандард" писал: "Никогда не слышал имени Торнтона Уайлдера, но 'Мост...' — вещь абсолютно первоклассная". Американцы подхватили восторги англичан, и роман получил Пулитцеровскую премию. Уайлдеру был 31 год. Однако через три года, в 1930-м, после выхода его романа "Женщина из Андроса" (по пьесе древнеримского автора), в печати разгорелась жаркая полемика, в которой участвовали главные критики того времени, в частности, Майкл Голд:

Уайлдера волнуют маленькие лавандовые трагедии сказочных королевств... А где улицы Нью-Йорка, Нового Орлеана, Чикаго? Где безработные?.. Где дети-рабы на свекольных полях?.. Где страсти и смерти пенсильванских шахтеров?..[1]

1. Из книги Gilbert A. Harrison. The Enthusiast: A Life of Thornton Wilder.

Голд был прямо-таки американским Писаревым. Но за нелепыми требованиями непременного участия писателя в социальной и политической борьбе стояло и некое другое, более глубокое несогласие, которое так определил наш современник — поэт и литературовед Лев Лосев:

Для Голда Торнтон Уайлдер был, если так можно выразиться, беззастенчиво религиозным писателем. Присутствие божественного начала можно, разумеется, найти и у других его современников: у Фолкнера, Хэмингуэя, Фитцджеральда. Но, в отличие от них, Уайлдер был откровенно религиозен, он не скрывал, что как писателя его больше всего интересует присутствие Господа и Божьего замысла во всем, что происходит с человеком на земле. При этом он не был приверженцем какой-то определенной конфессии, это все было скорей на уровне некой личной философии. В его пьесе "Наш городок" есть чудная сцена: героиня со смехом цитирует письмо пастора, точней, адрес, который пастор надписал на конверте. Сначала нормально: улица, город, округ Стэттон, штат Нью-Гэмпшир, Соединенные Штаты Америки. А дальше: "Североамериканский континент, Западное полушарие, планета Земля, солнечная система, Вселенная... мысль Господа". Собеседник героини говорит: "И почтальон нашел?! Подумать только!"[1]

1. Из интервью профессора Дартмутского университета Льва Лосева, данного М. Ефимовой (1997)

Поскольку Уайлдер не принадлежал ни к какой конфессии, его религиозность все трактовали по-своему. Голд писал: "Религия в книгах Уайлдера есть религия Христа как главного английского джентльмена. Этот англо-католицизм — последнее прибежище американского литературного сноба..."[1]

Одни (в том числе и главный литературный критик того времени Эдмунд Уилсон) выступали против Уайлдера... другие — за него, в том числе Гертруда Стайн и известный издатель Джон Фаррар ("Фаррар, Страус и Жиру"). Одни не желали знаться с Уайлдером, другие приглашали его на обеды, на чтения, присуждали премии... Реакция самого Уайлдера была краткой: "Я ненавижу все побочные продукты литературы, кроме денег".

"Энтузиаст" — так назвал книгу о Торнтоне Уайлдере его биограф Гилберт Харрисон. И, конечно, не случайно: на все события жизни Уайлдер реагировал одинаково — с энтузиазмом. Еще будучи школьным учителем, он писал своему бывшему профессору:

Меня предупреждали: никогда не учи в школе — это убийственно скучно. Но я нашел здесь массу удовольствий: во-первых, отношения между тобой и классом, в котором ты сумел пробудить интерес. Во-вторых, наблюдения за существами, которые поступают, говорят и двигаются с такой трогательно бездумной естественностью... А когда они спят, сопя в 32 носа своими синуситами, аденоидами, гландами и сорванными связками, я даже их люблю... Мы ездим с ними смотреть китов с ламповидными глазами, которые дефилируют вдоль нью-джерсийского берега[1].

Таким же энтузиазмом отличалась и реакция Уайлдера на критику его первых романов... Он сразу написал две одноактные пьесы, где дело происходит в Америке (как требовали критики), плюс — одобренный литературным истеблишментом роман "Небо — моя обитель" (путешествие по Америке коммивояжера Джорджа Браша) и в 1938 году замечательную пьесу "Наш городок" — самую американскую из всех американских пьес. Пьеса по тем временам была новаторской. Она начинается авторской ремаркой: "Занавеса нет, декорации нет (кроме двух столов со стульями по разным концам сцены). На пустом просцениуме — помощник режиссера. Полутемно".

ПОМРЕЖ. Название нашего городка — Гроверс Корнер, штат Нью-Гэмпшир. Население — 1700 человек. Первый акт показывает один день в нашем городке, 7 мая 1901 года. И сейчас раннее утро этого дня... несколько минут до рассвета. Восток — вон там... видите, там уже чуть светает. Вон там — Главная улица... Там — Конгрегационная церковь... Через улицу — Пресвитерианская... Методистская и униатская — вон

1. Из книги Gilbert A. Harrison. The Enthusiast: A Life of Thornton Wilder.

1. Там же.

там... Баптистская – у реки. Католическая – за железной дорогой...[1]

В этой пьесе нет ничего, кроме течения жизни, от безмятежного детства до безнадежной старости, от юной любви Джорджа Гиббса и Эми Уэбб до полного охлаждения друг к другу их немолодых родителей... от рождения (неизвестного младенца в польском предместье в начале пьесы) до смерти Эми от родов и ее похорон в последнем акте... Пьеса движется незамысловато, но с такой значительной неумолимостью, что зритель (если ему повезет увидеть хорошую постановку) сидит, как загипнотизированный, долго не понимая, в чем гипноз. И только в конце, после похорон Эми и разговора мертвых на кладбище, в зрительном зале, как лава в проснувшемся вулкане, поднимается волна любви к уходящей жизни.

В 1939 году спектакль "Наш городок" (в котором помрежа-ведущего играл сам Торнтон Уайлдер) зрители приняли "на ура". Но Голливуд тут же убил пьесу, сделав сентиментальный фильм, в котором Эми выздоравливает, рожает второго ребенка... словом, "хэппи-эндинг". Фильм я не смогла досмотреть до конца, но мне выпало счастье в начале 90-х увидеть в Нью-Йорке постановку режиссера Грэгори Мошера, которая стала для меня прямо-таки новым религиозным опытом. А через несколько лет сам режиссер Мошер объяснил мне свое отношение к этой пьесе:

Пьесу "Наш городок" обычно считают объяснением в любви к американской провинции с ее безыскусностью и смирением. Но мне всегда была подозрительна эта трактовка, потому что в пьесе с самого начала есть неизбывная печаль. Вчитавшись в биографию автора, я обнаружил, что пьеса была написана в Европе, после Мюнхенского соглашения. Чудовища сорвались с цепи. Может быть, пьеса была панихидой по Западной цивилизации... ностальгией по жизни, а не по Америке маленьких городков и не по мороженому с содовой? В пьесе есть и радость, и шутки, и юная любовь, но за всем этим незримо стоят (как плакальщицы в греческой трагедии) судьба, смерть, печаль и... память о любви. Словом, эта пьеса не так проста, как обычно ее представляют. И когда ее ставишь, нельзя упрощать себе задачу, нельзя упрощать эмоции.

...Я помню, Сьюзен Сонтаг пришла на спектакль – просто потому, что друзья настояли. Я слышал, как в уборной у кого-то из актеров она говорила приятелю: "Почему я должна смотреть 'Наш городок'? Будто у меня других дел нет..." Но она подошла ко мне уже в первом антракте и потом после спектакля, и призналась, что ужасно недооценивала эту пьесу[1].

В 1948 году читатели с восторгом встретили роман "Мар-

1. Перевод М. Ефимовой (в сокращении).

1. Из интервью режиссера Грегори Мошера, данного М. Ефимовой (1997).

товские иды", но с начала 50-х годов отношение к прозе Уайлдера в Америке стало меняться. Профессора в университетах учили студентов, что настоящая американская проза – это Сол Беллоу, Филипп Рот и Норман Мейлер... настоящая драма – Артур Миллер и Теннесси Уильямс, а Торнтон Уайлдер – старомодный и посредственный писатель. Литературная молодежь (в том числе и Теннесси Уильямс) улюлюкала на его публичных выступлениях... Эту смену литературных вкусов и статусов так объясняет профессор Дэниэл Хайберман:

В 60-х Уайлдер уже не выглядел тем новатором-экспериментатором, каким он казался в 30–40-е годы. Дело, я думаю, отчасти – в триумфе стиля, который литературные неофиты подняли на щит. Между тем никто не прокомментировал это лучше самого Уайлдера, который сказал: "Многие считают, что литература – это стиль, в то время как литература – это код сердца..." Но была и другая важная причина. В 50–60-х годах литературную сцену заняли так называемые "сердитые молодые люди", и им претило то смиренное приятие жизни, которое свойственно Уайлдеру. К тому же он был слишком образован. В 60-х знания были не в моде[1].

Об этом уайлдеровском приятии жизни напомнил однажды священник нью-йоркской епископальной церкви Нил Блатц:

Помните, в конце романа Уайлдера "День восьмой" есть такая сцена: герой показывает собеседнику ковер. Сначала – изнанку: "Смотри, какой тут хаос, какие перепутанные и грязные нитки. Это – наш мир, каким мы, люди, видим его". Потом он переворачивает ковер и показывает его наружную сторону: "А таким видит наш мир Бог – дивный рисунок, который мы не всегда способны заметить"[1].

Роман "День восьмой" был написан как раз в 60-е годы. В эти два десятилетия (50 и 60-х) Уайлдер создал два произведения, совершенно противоположных и по жанру, и по духу. Одно – пьеса "Сваха". Эта комедия стала, может быть, самым популярным в мире мюзиклом. На музыку она была положена композитором Джерри Германом и получила название "Хелло, Долли!". Потиражные с этого мюзикла стали основным доходом Уайлдера в старости, что было чрезвычайно кстати, поскольку писатель, начиная с 1929 года, практически содержал двух своих сестер.

Чтобы написать второе из двух упомянутых произведений, Уайлдер на год уехал в Аризону. То есть уехал он куда глаза глядят, но осел в аризонском городке Дуглас просто потому, что там у него сломалась машина. И там он создал "День восьмой", который (по словам кого-то из тогдашних критиков) "начинается как загадка убийства, но постепенно

1. Из интервью профессора Дэниэла Хайбермана.

1. Из интервью, данного Владимиру Морозову (радио "Свобода", 1997).

превращается в загадку духа". Каждый персонаж этого романа вынужден решить, какому закону он должен следовать: человеческому, который он твердо знает, или божескому, о котором он только догадывается.

Торнтон Уайлдер, отвергнутый и литературными, и академическими кругами в начале 60-х, прожил еще 15 лет. Но было бы ужасной ошибкой думать, что эта отверженность, этот "побочный продукт литературы", хоть как-то отразился на его жизни. Уайлдер и в старости мог сказать про себя то, что сказал в юности, в письме к брату:

Знаешь, отчего во мне так много энергии? Оттого что мой брат-двойняшка умер при рождении, и его энергия добавилась к моей. Я постоянно чувствую энтузиазм: по поводу идеи, или книги, или человека[1].

Еще в молодости, в начале 30-х годов, когда Уайлдер стал профессором Чикагского университета, в ресторане с ним случился обморок. Это был результат переутомления, и писателю пришлось даже провести месяц в санатории. Но случилось это не оттого, что он переработал, а оттого, что перегулял. Биограф пишет:

Он завтракал с племянницей писателя Стивена Крэйна, обедал с драматургом Ноэлом Кауардом и со своим студентом, будущим президентом Йейля Эдвардом Леви, а ужинал с поэтом Робертом Фростом после вечернего спектакля. Он ездил в Калифорнию к кинорежиссеру Джорджу Кьюкору (у которого иногда был консультантом), ездил в Париж к Гертруде Стайн и в Вену к Зигмунду Фрейду, с которым вел долгие беседы. Он обсуждал музыку с Владимиром Горовицем и живопись с Джорджией О'Киф. Он навещал в больнице Дороти Паркер, пил в нью-йоркском баре с писательницей Уиллой Кэсер, и у него было по три коктейль-party на неделе[1].

Это – в 1933 году. И то же самое было в 1975-м, только с новыми друзьями – старые почти все умерли. 7 декабря Торнтон Уайлдер (ему было тогда 78 лет) собирался на званый обед к капеллану Йейльской церкви Уильяму Коффину. Перед обедом он прилег вздремнуть и умер во сне.

К книге "Энтузиаст" биограф взял эпиграфом фразу из любимого Уайлдером философа Серена Кьеркегора:

Голос, который провозглашает радость, но в котором слышна боль, доходит до сердца и остается там как сокровище.

1. Из книги Gilbert A. Harrison. The Enthusiast: A Life of Thornton Wilder.

1. Там же.

Вера Мильчина

“Я больше люблю тексты веселые и игровые”

Это интервью студент НИУ ВШЭ Алексей Лукашкин подготовил в рамках стажерской программы в “Moscow Review of Books”.

Андрей Лукашкин. Вера Аркадьевна, легко ли совмещать работу переводчика, комментатора и историка?

Вера Мильчина. Я перевожу в основном авторов первой половины XIX века, а их иначе, пожалуй, и не переведешь. Если не знаешь исторической реальности, то не поймешь переводимый текст. Значит, приходится искать факты для реального комментария. А если уж они найдены, то отчего бы не поделиться ими с читателем? Вот так постепенно накапливаются комментарии. В них, конечно, надо не переписывать Википедию и сваливать в кучу все, что вообще можно сказать о данном персонаже или событии. Надо стараться писать только то, что имеет прямое отношение к данному месту текста.

Могу привести несколько примеров из той книги, над которой мы сейчас работаем вместе с участниками моего переводческого семинара. Это сборник нравоописательных очерков “Французы, нарисованные ими самими”, вышедший в 1839–1842 годах. Привожу эти примеры просто потому, что они свежее в памяти.

Вот, например, в очерке “Мать актрисы” заглавная героиня “получила место в лотерейной конторе, но потеряла это случайное прибежище из-за злосчастного голосования палаты депутатов”... — сначала тут ничего непонятно, ведь не принимала же палата депутатов вся целиком решение о том, что-

бы одну немолодую даму лишить места? Такое случается, конечно, но при Июльской монархии палата депутатов этим не грешила. Значит, чтобы написать что-то осмысленное, нужно знать, что в Париже действовала государственная лотерея, и многие люди на ней разорялись, причем в основном бедные (поскольку ставки могли быть и небольшие). И потому в 1832 году парламент принял решение пожертвовать государственной выгодой и лотерею упразднить — но не сразу, а с 1 января 1836 года. Или вот другой пассаж на сходную тему — из очерка "Хозяйка табльдота". Тут вначале надо пояснить, что, собственно, такое сам этот табльдот; нужно сказать, что это слово происходит от французского table d'hôte и что это был общий стол в гостинице, где все постояльцы получали одно и то же кушанье (в отличие от ресторана, где посетители могли выбирать себе блюдо из длинного меню). И вот наш автор рассуждает о том, что хозяйка табльдота почему-то берет с гостей слишком дешевую плату. "Многие знатоки утверждают, что трапеза за шесть франков с человека вполне могла бы стоить все десять. В чем же расчет вдовушки? А вот в чем. После ужина вы проходите в гостиную, где уже приготовлены карточные столы. По приглашению хозяйки вы занимаете место за одним из них и... проигрываете 25 луидоров за пятнадцать минут". Для того чтобы понять этот пассаж, надо знать, как обстояло дело в 1839 году, когда написан этот очерк, с азартными карточными играми. Их в Париже тоже запретили, и поскольку, как и в случае с лотереей, между решением о запрете и вводом его в действие прошло время, то довольно трудно разобраться, когда именно это произошло; называют даты и 1836-й, и 1837-й. В каком-то смысле все они верны, но не полностью; на самом деле решение о закрытии игорных домов было принято в 1836 году, а закрыли их с января 1838 года, то есть 31 декабря 1837 года было последним днем, когда в Париже можно было разоряться на карточной игре официально. Но играть-то люди не прекратили, и вот многие табльдоты превратились как раз в тайные игорные дома. И поэтому хозяйка табльдота наверстывала то, что потеряла на сравнительно дешевых трапезах, на выгоде от игры, а никакого налога государству за это не платила. Говоря современным языком — "серые схемы". Для авторов очерков эта реальность была настолько очевидной, что они ничего не поясняли; но для современного читателя, да и для современного переводчика, все это совсем не очевидно. Поэтому наше переводческое дело — сначала самим понять, а потом объяснить читателю в лаконичном примечании: "Начиная с 1 января 1838 года все игорные дома в

Париже были закрыты по распоряжению правительства. Поэтому карточная игра в заведениях, подобных описанному в данном очерке, была незаконной".

Но в этих случаях хотя бы примерно понятно, что именно нужно искать. А самые коварные случаи — когда это непонятно. Вот в очерке "Хозяйка лечебницы" описаны пациенты этой самой лечебницы, в частности, такая не очень целомудренная пара: любвеобильная жена мясника, которая этому мяснику изменяла со всеми приказчиками, и старый виконт, который любит молоденьких девочек и потому на эту самую перезрелую жену мясника даже не смотрит. Эти двое друга друга ненавидят и дают друг другу обидные прозвища. Виконт прозвал жену мясника "прелюбодейная говядина", а она его — Contrafatto. И вот тут заковыка; слово-то явно значащее.

Все посмотрели в словари, и во франко-русский, и в итальянско-русский (слово-то итальянское). Contrafatto — это контрафакт, то есть пиратское издание; попытались как-то связать любовные забавы престарелого виконта с пиратством, но выходило туго и невнятно. Но мы-то искали в толковых словарях, а мысль, что это имя собственное — не литературного персонажа, а реального лица, — никому и в голову не приходила. И вдруг один из участников семинара решил посмотреть это слово просто в Google — и оказалось, что был такой человек по фамилии Контрафатто. Француз с итальянской фамилией. И был он, о ужас, священник-педофил. Покушался на невинность молоденьких девочек. В 1827 году его судили, это дело было довольно громким, и его помнили так хорошо, что в начале 1840-х годов можно было без объяснений его вставить в текст. Но нам-то объяснения очень нужны. Кстати, я буквально через две недели встретила упоминание этого Контрафатто в совсем другой статье того же времени — лишнее доказательство его популярности.

А. Л. С чего началась ваша переводческая деятельность, что для вас стало импульсом?

В. М. Импульс всегда был один — поделиться своим восхищением, дать возможность друзьям, не знающим французского, прочесть то, что прочла я. Я начала с перевода очень сложного произведения — именно потому, что оно мне страшно понравилось. Это был роман Бориса Виана "Пена дней". Он был (да и остался) такой удивительный, такой непохожий на все, что я читала до того, что мне захотелось его перевести. А поскольку переводить я толком не умела (это было в 1974-м, когда я была на четвертом курсе филологического факультета), то даже не могла оценить как следует

сложности работы. Сейчас бы, возможно, заколебалась: получится ли, ведь там чуть не каждая фраза — игра слов, а тогда и мысли такой не возникло. И — от той же неопытности и молодого нахальства — я перевела роман за несколько недель. Дала его почитать десятку друзей и на том успокоилась. О печатании я и не думала; даже не потому, что не знала, куда этот перевод предлагать, а потому, что была твердо уверена: такую литературу, написанную не по правилам "реализма", никто печатать не станет. Через десять лет "Пена дней", правда, вышла в переводе Лилианы Лунгиной, но, для того чтобы это произошло, понадобилось имя Лунгиной и ее переводческая репутация. А уже много позже, в конце 1990-х или в начале 2000-х я прочитала в "Ex Libris'е" очень интересную статью Марии Аннинской про историю русских переводов Виана, и с удивлением узнала, что она знает о моем переводе (а мы с ней в ту пору не были знакомы) и пишет, что он ходил "в самиздате". Потом — точно так же, для себя и для друзей, — я перевела "Лысую певицу", "Урок" и еще пару пьес Ионеско. Это тоже никуда не пошло, да и не могло пойти в то время. Можно сказать, что я переводила все это для собственного удовольствия.

А. Л. Что было вашим дебютом в качестве переводчика?

В. М. "Эстетика раннего французского романтизма", вышедшая в издательстве "Искусство" в серии "История эстетики в памятниках и документах" в 1982 году. Мы переводили эту книгу вместе с моей подругой Ольгой Гринберг (ее, к сожалению, уже нет на свете). Туда вошли тексты Шатобриана, Констана, Балланша и Жубера. Я в 1979 году защитила кандидатскую диссертацию о Шатобриане в русской литературе первой половины XIX века (Шатобриан в это время был безумно знаменит и популярен не только во Франции, но и в России) и по ходу ее написания читала, естественно, и самого Шатобриана, и литературу о нем, и сочинения его современников. А поскольку в одной из самых знаменитых книг Шатобриана, трактате 1802 года под названием "Гений христианства", много места отведено рассуждениям о литературе и искусстве, то возникла мысль, что можно это преподнести как памятник эстетики. Мысль эта пришла в голову Сергею Михайловичу Александрову, который тогда работал в "Искусстве" в редакции эстетики; он и Владимир Сергеевич Походаев (тоже, увы, уже покойный), который стал редактором книги, очень много сделали для того, чтобы эта книга появилась. Дело в том, что в то время невозможно было выпустить книгу, где бы на титульном листе стояло: "Гений христианства". Бенжамен Констан не был скомпрометирован в

глазах советского начальства, про Жубера и Балланша (современников и друзей Шатобриана) вообще никто ничего не знал, но вот Шатобриан имел клеймо "реакционера". В те времена ведь в учебниках истории литературы романтизм делился на прогрессивный и реакционный. И вот Шатобриан был, конечно же, "реакционный".

Я до сих пор помню, как приехала в Ленинград (тогда еще отнюдь не Петербург), в Пушкинский Дом, и Петр Романович Заборов, замечательный историк литературы, автор множества прекрасных статей о русско-французских литературных связях и монографии о Вольтере в русской литературе, когда узнал тему моей диссертации, изумленно отступил от меня и воскликнул: "А что, в Москве уже можно писать про Шатобриана?" Петр Романович знал, что, с точки зрения большого партийного начальства, про Шатобриана писать нельзя, а в издательстве "Искусство", к счастью для нас, было иначе: дружественно настроенные редакторы знали, но молчали, а начальство вообще не знало, кто такой Шатобриан, и потому не проявило бдительности. Вдобавок нам повезло. У серии была официальная редколлегия, а возглавлял ее М. Ф. Овсянников, такой корифей марксистско-ленинской эстетики, он-то хорошо знал, кто такой Шатобриан, — но, когда утверждали план серии, он болел. А когда выздоровел, книга уже вышла. И наши друзья из издательства рассказывали, что он очень сильно гневался и кричал про нашу книгу и про трактаты Петрарки (тоже "идейно невыдержанные"), что, если бы он был здоров, эти книги вышли бы "только через его труп" — довольно противоречивое высказывание, но правоверному марксисту Овсянникову было не до логики.

В общем, мы с Олей начали нашу переводческую карьеру не с легких текстов, а со сложных. И учились и учили друг друга по ходу работы; такое, можно сказать, ланкастерское взаимное обучение. В книге тексты расписаны так, как будто один текст переводила она, а другой — я. На самом деле каждая из нас читала и "свой", и "чужой" текст по многу раз. Мы правили друг друга, спорили, переписывали, проверяли, — так что переводы в этой книге общие.

А. Л. Оправдано ли существование сегодня "нечистых", смешанных переводчиков — тех, кто соединяет переводческие занятия и исследовательские?

В. М. В принципе каждый перевод требует от переводчика какого-то интеллектуального и фактического багажа. Но в современном тексте все-таки больше реалий, которые можно понять без специальных пояснений. Если современный автор упоминает Гарри Поттера, читатель сам догадается,

кто это, а если в очерке XIX века упомянуты Валентина и Индиана — не всякий вспомнит, что это заглавные героини первых романов Жорж Санд; а они упомянуты в очерке не случайно, а потому что там речь идет о том же, о чем писала Жорж Санд — о несчастливых браках и о борьбе женщины за свои права в семье. Значит, недостаточно указать названия романов и даты их выхода (это надо сделать непременно, но этого мало), надо еще объяснить, в чем там было дело.

А. Л. На что вы реагируете острее в переводимых текстах?

В. М. Я в принципе больше люблю тексты веселые и игровые, чем высокопарные и непробиваемо серьезные. Но в игровых текстах то и дело встречается игра слов, а это для переводчика всегда испытание. Писать в примечании "непереводимая игра слов" — это позорная капитуляция. Значит, надо что-то придумать взамен. Лучше, конечно, именно в этом месте. А в крайней случае — где-нибудь по соседству. Вот я сейчас перевела иронические сказки очень мною любимого Шарля Нодье (книга будет называться "Сказки здравомыслящего насмешника"; она скоро выйдет в издательстве "Текст"). И там есть фраза с шутовской этимологией: якобы французское слово "congratulation" (поздравление) происходит от глагола "grater" (скрести), хотя это, конечно, неправда, и Нодье это прекрасно знал. Ну и тут мне, можно сказать, повезло; язык помог; я заменила поздравление на "чествование", и написала, что оно недаром происходит от глагола "чесать" (а эти два слова, конечно, так же мало связаны, как и французская пара).

А кроме того, поскольку я перевожу в основном тексты XIX века, я стараюсь не употреблять уж очень явных неологизмов, таких слов, которые в русский литературный язык вошли только в XX веке. Конечно, мы, как ни стараемся, все равно не можем писать в точности на языке 1840 года. Но все-таки совершенно очевидных вторжений слов из другой эпохи лучше избегать.

Вот, например, в тексте речь идет о женщине, которая купается в роскоши. И переводчица, одна из участниц моего семинара, решила употребить красивое слово "изыск": "окружает себя всеми возможными изысками". Но у нас теперь есть такой прекрасный интернет-ресурс — Национальный корпус русского языка (ruscorpora.ru), где можно выстраивать примеры по времени создания; достаточно туда посмотреть, чтобы убедиться, что слово "изыск" впервые появляется в текстах на русском языке в 1920-е годы; значит, в переводе текста 1840 года ему не место (в отличие от слова

"изысканный", на которое, конечно, никакого запрета нет). Но — тут я опять возвращаюсь к игровым текстам — там, где автор шутит и, например, выделяет слово курсивом, там и мы имеет право употребить слово из сегодняшнего языка. Например, одна светская дама предлагает другой "подбросить" ее до дома.

А. Л. В какой момент вы решаете, что слово нужно "проверить"?

В. М. Наверное, интуитивно. Вообще-то, чем больше проверишь, тем лучше; это относится и к проверке смысла французских слов, и к проверке "старинности" русских слов и выражений. У той же Оли Гринберг было замечательное выражение "это слово значит не то, что хочется"; это значит, мы когда-то его неправильно запомнили и этот неправильный смысл все время пытается занять место правильного. Так что посмотреть в словарь всегда полезно. А для авторов XIX века надо обязательно смотреть не только в современный франко-русский словарь, но еще и во франко-французский словарь XIX же века. А то расскажет нам современный словарь, что слово "bouillotte" значит маленький чайник или, того хуже, кипятильник... А в тексте-то имеется в виду старинная карточная игра буйот. Кстати, есть не только слишком современные слова, которые лучше в переводе текста XIX века не употреблять, бывает и обратная ситуация: слова, которые, я бы сказала, без вины виноватые; иногда кажется, что они звучат слишком современно, а потом выясняется, что они в русском языке обжились еще в XVIII веке: пункт, момент. Или, например, претензия — я бы побоялась французское "prétention" переводить как "претензия", написала бы "притязания", а вот посмотрела в Национальный корпус русского языка — и вижу, что его еще Фонвизин употреблял. А вот "фон" или "такт" в 1840-е годы иногда употреблялись, но многими русскими авторами воспринимались как вопиющие неологизмы. Конечно, знать историю каждого слова невозможно — это дело лингвистов, историков языка. Но переводчику, если он имеет дело со старыми текстами, приходится то и дело к этой истории обращаться — чтобы проверить собственные ощущения, потому что они могут быть обманчивыми. Есть и еще серьезная проблема — это ожидания читателя и его познания. Если мы начнем напичкивать перевод русскими словами, вышедшими из употребления, современный читатель их не поймет и нам придется пояснять собственный перевод с лингвистической точки зрения. Это как-то нескромно. Но, я думаю, иногда это делать можно. Вот я переводила роман Бальзака "Изнанка современной истории" и упот-

ребила там выражение "под рукой". Это точная калька французского выражения "sous main", которое означает "по секрету". Тут пикантность в том, что и современные французы его не очень помнят; и русские читатели тоже: для них выражение "под рукой" актуализировано только в смысле "иметь что-то по рукой". Но Пушкин это выражение употреблял, и неоднократно. И почему не попытаться о нем напомнить — а для этого пояснить его смысл в примечании. А есть такие слова, которые с XIX века изменили свой смысл, и тут уж, как ни бейся, современное значение вытесняет старинное. Вот слово "сношения". В языке Пушкина оно совершенно невинное: сношения с Литвою, быть в сношении с Обществом любителей российской словесности и прочее в том же духе. Но к нашему времени слово "сношения" стало употребляться исключительно с эпитетом "половые" — и получается, что какие-нибудь "учтивые светские сношения между гостями" совершенно не звучат и вызывают незапрограммированные ассоциации. Значит, лучше не рисковать. А жалко.

А. Л. Какова техника вашего перевода, как вы работаете с французской фразой?

В. М. Известно, что французская фраза имеет гораздо более жесткий порядок слов, чем русская. Русскую фразу можно мять, как глину, интонировать с помощью порядка слов. У французов есть такая конструкция — mise en relief; например: "Ce fut le premier jour où elle voulut sortir "; дословно: "Это был первый день, когда она захотела выйти на улицу". В старых переводах, кстати, нередко так и писали. Но лучше все-таки так не делать, а написать: "В тот день она впервые захотела выйти на улицу".

Отдельная большая проблема — как переводить топонимы, прежде всего названия улиц. В русских переводах иногда можно встретить странное, на мой взгляд, слово "рю". Например, рю дю Бак. Но ведь французское "rue" — это просто улица. Значит, улица Бак. И в современном романе так и должно писаться: он жил на улице Бак. Но — оказывается, эти три буквы (Бак) имеют смысл, тесно связанный с историей Парижа. *Bac* по-французски — это паром; когда на правом берегу строили Лувр, камни привозили из каменоломни в деревне Вожирар (на левом берегу) и переправляли на пароме. А дорога к парому проходила как раз там, где проходит нынешняя улица. То есть она — Паромная. И в старом тексте ее можно так и назвать. Ведь мы же не возмущаемся, когда в классическом переводе "Трех мушкетеров" читаем про улицу Старой голубятни (а вовсе не Вье коломбье). А в старом Париже таких улиц с "говорящими" названиями много. Вот, то-

же на левом берегу Сены, в Латинском квартале, rue du Four. В XV веке на этой улице стояла общая печь, принадлежавшая аббатству Сен-Жермен-де-Пре, и жителям квартала предписывалось выпекать в ней хлеб. То есть для французского уха это "фур" – не просто набор букв, хотя, вероятно, не все нынешние парижане знают про печь XV века. В современном романе мы напишем "улица Фур", а в тексте XIX века я предпочитаю написать "Печная улица". Но читателя надо обязательно поставить в известность о том, как звучит это название по-французски. В своей книге о Париже первой половины XIX века я все топонимы перевела, но в конце приложила их список, чтобы любознательный читатель мог узнать не только перевод, но и транскрипцию названия.

В пунктуации тоже есть свои нюансы. Шатобриан, например, очень любил сложносочиненные конструкции, в которых он использовал точку с запятой или двоеточие в тех местах, где мне очень хотелось поставить "но" или "однако". Между тем известно, что эти конструкции – его любимый стилистический прием, такая, если угодно, "марка" его стиля. И тут, конечно, нужно следовать его манере.

А. Л. Шатобриан – из числа ваших любимых авторов. А кто еще вам интересен?

В. М. Мне, пожалуй, так повезло, что я переводила только тех, кого люблю. Вот они мне и интересны: Шатобриан, Бальзак, Дельфина де Жирарден, Шарль Нодье, Бенжамен Констан, Жермена де Сталь. Каждый по своему, конечно. Дельфину де Жирарден или Нодье я люблю за их иронию (порой весьма язвительную). Бальзака – за то, сколько всего интересного можно узнать, переводя его, Шатобриана – за потрясающее умение стремительно менять интонацию, переходить от возвышенного к бытовому, от архаизма к неологизму (таков он, конечно, не в "Гении христианства", а в главной своей книге, которую сами французы по-настоящему оценили только в XX веке и которая, между прочим, довольно сильно повлияла на Марселя Пруста, – в мемуарных "Замогильных записках"). Бенжамена Констана – за то, как он задолго до Стендаля и тем более до Пруста потрясающе "анатомировал" любовное чувство. А Жермену де Сталь я люблю за страстность (книга "Десять лет в изгнании" – это настоящее "объяснение в ненависти" Наполеону) и за концептуальность: увиденное в чужих краях она описывает не просто как диковины, а как некоторые, выражаясь современным языком, маркеры национального характера; например, ее страшно поразило, что русские – причем не только мужчины, но и женщины – скатываются летом с деревянных гор; но она не

ограничивается простой констатацией; тут же сразу следует хитроумное объяснение: русские женщины любят скатываться с деревянных гор, потому что это помогает им ощутить чувство опасности и тем самым хотя бы отчасти разделить с мужчинами "радости войны". Замечу, что Сталь писала все это еще до возникновения в Париже моды на катание с подобных гор (они назывались иногда русскими, а иногда египетскими или швейцарскими); она сочиняла мемуары по свежим следам, сразу после своего недолгого пребывания в России летом 1812 года, а горы вошли в моду после 1814 года.

А. Л. Чем вам интересен Гюго?

В. М. Гюго у нас переводили довольно много, но он ведь и написал за свою долгую жизнь, мягко говоря, немало. Собственно, я и переводила его один раз, причем этот перевод существует не как самостоятельно целое, а как приложение к статье. Она называется "Послесловие к 'Рейну' Виктора Гюго: националистическая риторика как форма компенсации утраченного величия". Там речь идет о том, как французы, после поражения Наполеона занимавшие на европейской политической сцене довольно скромное место, пытались "компенсировать" эту утрату прежней славы разнообразными рассуждениями о величии Франции.

"Рейн", вышедший в 1842 году, — это путевые заметки, рассказ Гюго о том, как он путешествовал по Германии; несколько описательных глав с изложением конкретных впечатлений уже были переведены на русский. Но для меня самое интересное в этой книге — пространное политологическое послесловие, где Гюго рассматривает соотношение сил на политической арене Европы в XVII и XIX веке, как будто это шахматные партии. И притом высказывает разные смелые соображения о будущем Европы, например, о том, что ее единственное спасение — в союзе Франции и Германии... Должно быть, во время франко-прусской войны в 1870—1871 годах он и сам раскаялся в этом своем утверждении; а потом в XX веке и Первая, и Вторая мировые войны, казалось бы, напрочь его мнение опровергли. И тем не менее в конечном счете он оказался прав: во всяком случае, сейчас Европа в самом деле основывается на этом союзе. Мне все это было нужно для нашего с Александром Львовичем Осповатом комментария к "России в 1839 году" Астольфа де Кюстина, потому что Кюстин в конце своей книги тоже занимается "политологическими" прогнозами и тоже уповает на союз Франции и Германии. А эта позиция была далеко не общераспространенной, и я думаю, что Кюстин успел познакомиться с "Рейном" и точка зрения Гюго оказала на него влияние.

А. Л. Для многих французских писателей важна работа с историческими источниками. Как вы "общаетесь" с историческим материалом?

В. М. Если говорить о писателях, а не о профессиональных историках, очень важно не забывать, что писатели многое берут из "вторых рук", и важно определить этот промежуточный источник. А эти промежуточные источники бывают иногда самыми неожиданными и удивительными. Вот Кюстин. Его дед и отец во время Французской революции воевали на стороне республиканцев, но были казнены по приговору Конвента. Кюстин рассказывает об их судьбе в начале своей книги о поездке в Россию, и это для него очень важно, в частности потому, что призвано показать: в самодержавную Россию едет не революционер, а человек, ненавидящий революцию, ведь она отняла у него близких людей. И вот совсем недавно я выяснила, что этот рассказ о судьбе деда и отца Кюстина и о тюремном заключении его матери, которая чудом избежала смерти, — все это почти слово в слово уже было написано *до* книги Кюстина — в многотомных мемуарах герцогини д'Абрантес, вдовы наполеоновского генерала и, между прочим, доброй знакомой Кюстина. Ее книги вышли прежде, чем Кюстин выпустил свою. Но из этого, кстати, не следует, что Кюстин был плагиатором; я думаю, что он рассказал герцогине историю своей семьи, а герцогиня к этому времени овдовела, разорилась и ей приходилось зарабатывать на жизнь литературным трудом, и вот Кюстин позволил ей использовать свои семейные предания, а потом, уже после смерти герцогини, вернул себе то, что принадлежало ему по праву. Но при этом у герцогини встречается точная цитата из одной газеты 1793 года, и Кюстин тоже вставляет ее в свою книгу, причем только в третье издание, именно эту цитату из газеты, посвященную его матери. Для меня очевидно, что он не ходил в Королевскую библиотеку листать подшивки старых газет, а перечитывал мемуары покойной герцогини, и цитату взял оттуда.

Кстати, когда писатель использует какие-то исторические реалии, он иногда ошибается, и довольно забавно. Вот в "Красном и черном" Стендаля описаны заговорщики, которые замышляют некий государственный переворот и посылают Жюльена с известием о нем к некоему важному лицу. Заговорщики, описанные в этой сцене, — примерно те люди, которые стали причиной Июльской революции, они хотели упразднить свободу печати и прочие конституционные свободы; словом, не республиканцы. Это оппозиция режиму справа, а не слева. И вот в дороге Жюльена встречает ужас-

ный иезуит, который всячески пытается ему помешать, хотя в реальности ему полагалось быть союзником таких "правых" заговорщиков. Но для Стендаля иезуиты — безусловное зло, поэтому он, противореча исторической реальности, делает иезуита противником этих заговорщиков. Французских комментаторов это приводит в недоумение, и они, фигурально выражаясь, разводят руками. А я бы, возможно, не обратила на это внимания, но я переводила прекрасную историческую книгу Мишеля Леруа "Миф о иезуитах от Беранже до Мишле". И узнала из нее, помимо массы интересных фактов о репутации иезуитов и о том, насколько она была (не)заслуженной, и вот это сведение о промахе Стендаля.

А. Л. Насколько сложно комментировать такого автора как Кюстин?

В. М. Кюстин отчасти облегчает работу комментатора: некоторые свои источники, такие как французский перевод истории Карамзина или "Историю России" Левека, он называет прямо. На другие намекает более или менее прозрачно — например, на книгу своего современника Ансело "Шесть месяцев в России" (она вышла по-русски в переводе Натальи Сперанской в 2001 году) — и тем самым дает подсказку. Вооружившись ею, обнаруживаешь, что Кюстин очень широко пользовался этим описанием России 1826 года, хотя, конечно, у него все гораздо резче и жестче. Но гораздо интереснее пытаться уловить то, что писатель (в данном случае Кюстин) черпал из общей интеллектуальной и политической атмосферы своего времени. Когда я занималась комментарием к книге Кюстина, я довольно много читала французских ежедневных политических газет 1830-х годов. Я, к сожалению, не могу доказать, что Кюстин читал конкретную газету от определенного числа. А я, со своей стороны, читала отнюдь не все газеты за все годы. Но газеты задают тон и атмосферу, формируют "повестку дня", и поэтому, зная, как газетчики оценивали то или иное событие (прежде всего, как они писали о России), можно понять, с какими представлениями, с каким багажом Кюстин ехал в Россию.

А про какие-то периодические издания можно утверждать с большей уверенностью, что Кюстин с ними знакомился.

Например, если в "Revue de Paris" — а это был очень популярный среди образованной публики журнал — мы находим в 1841 году очерки про Россию, то можно предположить, почти наверняка, что человек, пишущий книгу о России, эти очерки читал. То же самое можно сказать о книгах, связанных с Россией, которые выходили в те годы, когда Кюстин работал над своим сочинением. Иногда знакомство с такими

книгами позволяет объяснить, пусть гипотетически, довольно загадочные эпизоды.

Например, Кюстин описывает (с чужих слов, ибо сам он при этом не присутствовал) пожар на пароходе "Николай I", случившийся в 1838 году, и героическое поведение некоего молодого французского дипломата, который помогал товарищам по несчастью, а они ему даже спасибо не сказали. Петр Андреевич Вяземский, который, в отличие от Кюстина, видел этот пожар собственными глазами, упрекал автора "России в 1839 году" во лжи: мол, не было такого француза и подвиги его выдуманы. А между тем такой француз был — только не в реальности, а в литературном произведении — в поэме "Николай I" (имеется в виду не император, а именно пароход), которую выпустил французский аристократ Поль де Жюльвекур. Она вошла в его сборник "Зимние цветы" (1842), с которым Кюстин вполне мог успеть познакомиться. Жюльвекур был женат на русской, много лет прожил в России и использовал русскую тематику в своих романах (один из них назывался "Настасья, или Московское Сен-Жерменское предместье"). Кюстин был с Жюльвекуром знаком и, наверное, работая над книгой о России, должен был заинтересоваться произведением на отчасти сходную тему. А в поэме Жюльвекура как раз описан пожар на пароходе, во время которого некий иностранец гибнет, спасая девочку, и неблагодарные пассажиры (те, кому удалось спастись) тут же его забывают. Вот и получается, что эпизод пожара — исторический, а источник Кюстина, скорее всего, чисто литературный.

А. Л. Как работа с историей выглядит в Вашей последней книге "Париж в 1814–1848 годах: повседневная жизнь"?

В. М. В предисловии я объяснила, что это книга не научная, это в какой-то степени компиляция. Литература о Париже огромна — и научная, и нравоописательная. Мне интереснее всего было переводить очерки тех, кто описывал Париж "по свежим следам", а также выбирать живописные цитаты из книг и очерков русских путешественников. А есть еще превосходная французская антология "Франция, увиденная глазами американцев", это двухтомник, составленный замечательным историком Гийомом Бертье де Совиньи, и весь первый том посвящен Парижу. У американцев был свой взгляд, иногда совпадающий с русским, а иногда совсем иной. Сила этих свидетельств в том, что они исходят от современников. Но их нужно было постоянно корректировать и пояснять данными сегодняшних историков, которые работали в архивах, читали полицейские отчеты, тогдашнюю ста-

тистику. Вот так я постоянно чередовала одно с другим и одно другим уравновешивала. И проблема была в том, что этой литературы очень много. По-французски есть прекрасное выражение "embarras de choix" — дословно "затруднение в выборе". Вот это было как раз мое затруднение.

А. Л. Чему посвящен следующий проект?

В. М. Я уже упоминала свой переводческий семинар, который проходит в РГГУ под покровительством парижского Национального центра книги (CNL). Мы переводим сборник "Les Français peints par eux-mêmes" — "Французы, нарисованные ими самими" (по его образцу в Петербурге в 1841 году была издана книга "Наши, списанные с натуры русскими"). Но сборник огромный (там в общей сложности девять томов, из них Парижу посвящены пять). А нам нужно было сделать один том. Чтобы выбор был не совсем волюнтаристский, я придумала, что у нас будут только "дамские" тексты. Их, кстати, не так мало: ровно сорок. То есть книга выйдет с подзаголовком "Парижанки". Раз в месяц мы собираемся и обсуждаем переводы друг друга. Оказалось, что это страшно увлекательно, и я очень благодарна своим "семинаристам", потому что они иногда придумывают великолепные варианты.

А сама я работаю над переводом переписки Александра Первого и Лагарпа, его учителя, с которым император переписывался всю жизнь. Там три толстых тома, один я уже перевела, он еще не вышел. Комментариями занимается мой коллега Андрей Юрьевич Андреев, который и привлек меня к этой работе. То есть писать комментарии мне не нужно. Но во многих случаях, чтобы перевести какие-то описания швейцарской политической жизни (а Лагарп, к несчастью для меня, описывал ее очень подробно), приходится залезать в разные книги о Швейцарии.

А. Л. Вера Аркадьевна, у вас множество премий и наград. Они как-то соотносятся с динамикой ваших переводческих и историко-литературных интересов?

В. М. Нет, конечно. Вы же не думаете, надеюсь, что я начинаю переводить книгу в надежде, что за нее могут дать премию? Я очень счастлива, потому что могу писать про то, что мне интересно, и переводить то, что я люблю. Хотя, грех скрывать, если потом оказывается, что эту работу оценили, — это очень приятно.

Насчет одной из этих наград могу рассказать забавную историю. У меня есть медаль Французской академии; она, кстати, замечательна тем, что на обороте у нее написано "M. Véra Miltchina" [см. фото. — *Ред.*]. Понятно, почему: когда эти медали задумывались, женщинам не было места во Француз-

ской академии и медалей академических им не присуждали. А Академия — заведение традиционное, и форма надписей тоже традиционная. И вот после заседания Академии тогдашний ее непременный секретарь Морис Дрюон подходил по очереди ко всем присутствующим и заводил с ними короткую учтивую беседу. Видимо, помощник ему объяснял, кто есть кто. Мы же не знакомы с ним были. Он подошел, поздравил меня и спрашивает: "А вы знаете, зачем вам эта медаль?" (А у него самого вся грудь увешана маленькими копиями медалей — французский аналог наших орденских планок.) Я честно призналась, что не знаю, и тогда он с довольным видом ответил: "Сейчас я вам объясню. Вот когда будете составлять ваш Curriculum Vitae, будете писать: 'Имею медаль Французской академии'". И ведь не зря он это сказал, он был мудр, старый Дрюон: это и оказалось главное ее применение.

Мне неудобно хвастаться этой медалью, но если надо послать CV устроителям какой-нибудь конференции, то там я о ней упоминаю, — как и было сказано Дрюоном. А вообще-то самые лучшие медали — это мои переводы, статьи, комментарии, если они нравятся тем, кто их читает.

А. Л. Спасибо за беседу.

Александр Ливергант
Оскар Уайльд

Главы из одноименной книги

Глава вторая. Образцовая семья

ПЕРЕНЕСЕМСЯ, как писали в старых романах, на полвека назад. До европейской славы юному Оскару Уайльду еще далеко, до беды — суда и тюрьмы — еще дальше. Пока же играется светская — не сказать комедия — мелодрама. Место действия мелодрамы — Меррион-сквер, одна из центральных, самых, как теперь бы сказали, престижных, улиц провинциального Дублина, где селятся люди знатные, известные и не бедные. Время действия вполне еще безмятежная середина позапрошлого века, очередной мятеж в Ирландии за несколько лет до рождения нашего героя закончился, следующий вспыхнет спустя лишь полвека.

А вот и главные действующие лица. Низкорослый, неопрятный, необычайно энергичный и знаменитый дублинский хирург. Его хобби — археология, этнография и слабый пол. Его супруга — пышнотелая, молодящаяся, велеречивая, литературно одаренная светская львица; выше мужа на голову — в прямом, а в чем-то и в переносном смысле этого слова. Пишет стихи, переводит; неравнодушна к политике и к сильному полу, однако семейным ценностям принципиально верна. И их младший отпрыск — крупный в мать, рыхлого телосложения, миловидный, начитанный, обласканный маменькин сынок. На голове — это в десять-то лет — цилиндр, как у взрослого, из-под цилиндра вьются светлые локоны. У него полные, презрительно поджатые губы, красивый, раскатистый голос, он впечатлителен, замкнут, инфантилен. И на всю жизнь, несмотря на блестящий ум, инфантильным, наивным, экзальтированным, по-детски доверчивым останется.

Про такие браки, как брак Уильяма Уайльда и Джейн Элджи, принято говорить, что они совершаются на небесах. И то ска-

© Александр Ливергант, 2014
Книга будет полностью опубликована в серии "ЖЗЛ" в издательстве "Молодая гвардия".

зать. И он, и она люди известные, на виду и на слуху, и не только в Дублине, но и во всей Ирландии; вполне обеспеченные, светские, разносторонне одаренные. Оба много печатаются, много путешествуют, много трудятся, но и в свое удовольствие жить умеют. И он, и она увлекаются кельтскими легендами, древними мифами, поверьями, обоих заботит судьба исчезающего на глазах гэльского языка. Уильям Уайльд выпустил том собранных им самим "Ирландских народных суеверий", Джейн Элджи Уайльд — "Древние легенды, мистические заклинания и суеверия Ирландии".

Брак держится не только на общности интересов; муж с женой живут в мире и согласии — во всяком случае внешне. У Уайльдов трое детей, родились они с разницей всего в два-три года, два мальчика и девочка. Родители занимаются их воспитанием и образованием, много, как принято говорить, в них вкладывают, при этом в детях "не растворяются" — блюдут профессию, каждый свою: он лечит, она сочиняет; их дом — один из самых открытых и хлебосольных в Дублине.

Любят — и ничуть не меньше детей — свой угнетенный, но не сдавшийся на милость завоевателя "остров святых и ученых". Несгибаемый патриотический дух передают и детям. В сборнике стихов, выпущенных леди Уайльд в 1864 году, в посвящении "Моим сыновьям Уилли и Оскару Уайльдам" есть такие строки: "Я научила их сызмальства внятно произносить слово РОДИНА. Научила, что родина — это то, за что все мы в случае надобности должны отдать жизнь". Научить — научила, но Оскар, в котором было немало ирландского — одно имя чего стоит: Оскар Фингал О'Флаэрти ("Оссианское имя, — восторгалась счастливая мать, — величественное, таинственное"), — будь то лекция, или статья, или художественное произведение, национальное чувство демонстрировал очень редко. А впрочем, когда французы или американцы называли его англичанином, вежливо их поправлял: "Я ирландец".

Трудно сказать, готова ли была чета Уайльдов пожертвовать ради родины благополучием и известностью, тем более — жизнью, но патриотами — и не только на словах, но и на деле — муж и жена, несомненно, были. Уильям Уайльд, правда, был патриотом больше по части ирландской старины и статистики (малоутешительной). А его супруга — скорее по литературной части. "Сильные нации сражаются, — напишет она со временем в очерке об авторе "Ирландских мелодий" Томасе Муре, — а угнетенные слагают стихи". Она и слагала.

Патриотами, оговоримся, Уайльды были в молодости. С возрастом же, как это обычно и бывает, супруги остепенились, поостыли и бестрепетно принимали от "британских уг-

нетателей" в знак признания своих заслуг (и в самом деле немалых) почести, орденские ленточки, назначения, пожизненные пенсии.

За Уильяма Уайльда Джейн Элджи, двадцатилетняя дочь дублинского адвоката, выходца из англо-ирландской семьи протестантских священников, вышла замуж в 1851 году, когда отшумел бурный — и не только в Ирландии, но и во всей Европе — достопамятный 1848 год. Когда стал уже понемногу забываться "картофельный голод", унесший чуть ли не миллион ирландских жизней, — вдвое больше унесет в 30—50-е годы эмиграция.

> Измученные люди, что вы пожнете?
> Трупы, что ожидают мщенья? —

задавалась риторическим вопросом в стихотворении "Голодный год" Джейн Элджи, будущая леди Уайльд.

Памятным 1848 год стал и для Джейн Элджи, она же Сперанца. Именно так подписывала юная поэтесса свои пламенные, внушающие ирландцам надежду (отсюда и псевдоним) стихи о предстоящей революции — ее придется ждать еще лет семьдесят, — о картофельном голоде, об эмиграции. И ничуть не менее пламенные антибританские статьи-воззвания, которые регулярно печатались в патриотической "Нейшн", еженедельной газете, выходившей в Дублине с августа 1842 года баснословным тиражом — четверть миллиона экземпляров. В передовице от 22 июля 1848 года, озаглавленной "Час пробил" ("The Hour of Destiny"), Сперанца возвестила: "Давно назревшая война с Англией, по сути, началась".

Прежде чем объявить войну Англии и стать Сперанцей, Джейн Элджи подписывала свои зажигательные стихи совсем другим, мужским, именем — Джон Фэншо Эллис, и редактор "Нейшн" Чарльз Гэвин Даффи был крайне удивлен, когда в редакцию вместо ожидавшегося бородатого джентльмена впорхнула высокая, статная красотка в ярко-красном платье. Даффи был смущен, а его посетительница не скрывала своего удовольствия: розыгрыши Джейн Элджи Уайльд удавались всю жизнь.

Программой минимум и для "Нейшн", и для Сперанцы, про которую Питер Акройд в "Завещании Оскара Уайльда" не без яда и не вполне справедливо напишет, что "ее народолюбие простиралось не далее Графтон-стрит", были, собственно, две вещи: независимый ирландский парламент и просвещение нации в патриотическом духе. "Мы должны не только вырвать наш народ из бездны беспросветной нищеты, — говори-

лось в одной из передовиц "Нейшн", — но и очистить его с помощью возвышенной и героической любви к родине". Вообще, авторы "Нейшн", и Сперанца в первую очередь, громких слов не жалели. "Дадим народу понять, какая творится несправедливость!" — восклицала Сперанца на страницах газеты, а в стихотворении "Энигма" ставила точки над "i":

Мы, отчаявшись, молились чужой королеве
За право жить в нашей собственной чудесной стране.

Знала бы неукротимая Сперанца, что пройдет совсем немного времени, и "чужая королева" ("foreign Queen") удостоит ее супруга рыцарского звания...

Программой же максимум, если называть вещи своими именами, был призыв к мятежу. Причем если другие авторы "Нейшн" о вооруженном сопротивлении британской короне писали намеками, завуалированно, то Сперанца не церемонилась — призывала к восстанию, что называется, битым словом. Из передовицы "Нейшн": "Пусть же все мыслящие и чувствующие люди отбросят партийные склоки и разногласия и объединятся ради великой цели — независимости Ирландии". В конце концов объединиться ведь можно и без оружия в руках. А вот что пишет Сперанца в статье "Жребий брошен" ("Нейшн", 29 июля 1848 года): "Во имя нашей поруганной, обесчещенной родины... во имя всех, умерших от голода, сосланных и казненных, совершим же еще один дерзновенный и решительный шаг. Переведем на мгновение дух, а потом — восстанем. Обрушим с севера, юга, востока и запада удар по английскому гарнизону — и земля будет нашей!" Ничего удивительного, что после таких слов судьба газеты была решена. Газеты и ее главного редактора Чарльза Гэвина Даффи. "Нейшн" прикрыли, а Даффи судили за подстрекательство к бунту и отправили за решетку: статью "Жребий брошен" приписали ему. Даффи, однако, был обязан Сперанце не только своим тюремным заключением, но и освобождением: неустрашимая патриотка явилась на процесс и во всеуслышание заявила: "Если считать, что эти статьи являются преступлением, то преступница одна я!"

После закрытия "Нейшн" оставался еще пусть и более умеренный, но тоже оппозиционный "Дублинский университетский журнал", куда в январе 1849 года перебирается неутомимая Сперанца, которая любила говорить про себя, что она "создана для величия" ("destined for greatness"). Тон "созданной для величия" поэтессы, правда, заметно меняется, в стихах теперь меньше "сперанцы" и больше скорбных ноток:

мол, вы жертвою пали в борьбе роковой. В стихотворении с показательным названием "Руины" отчетливо звучит сигнал к отступлению:

Мечтатели, кто станет вас винить,
Что цели вы достигнуть не сумели?

Сперанца бьет отбой, но не в ее обыкновении уйти в тень, "отсиживаться в стороне от жизни", как кто-то очень точно про нее сказал; громкие патриотические вирши Франческа Сперанца (как она именовала себя на итальянский лад в переписке с Лонгфелло) писать продолжает. Стихотворение "К Ирландии" датируется 1868 годом и печатается в еще одном патриотическом издании — журнале "Национальное обозрение". И свою роль в освободительном движении Франческа Сперанца оценивает без ложной скромности: "Я выражаю душу великой нации. На меньшее я, признанный поэтический голос моего народа, не согласна". "Я жрица у алтаря свободы", — напишет она со свойственным ей пафосом сыну Оскару четверть века спустя. Как сказали бы сегодня, с самооценкой у Франчески Сперанцы всегда было все в полном порядке.

На страницах "Дублинского университетского журнала" "жрица у алтаря свободы" и встречается в 1850 году с неопрятным, нечесаным, одетым как придется специалистом по ушным и глазным болезням Уильямом Уайльдом, чьи амбиции — и успехи — в то время были куда более скромными, чем у его избранницы. Что, тем не менее, не помешало счастливой молодой жене написать подруге: "Он знаменитость, в его профессии ему нет равных, он умен и образован, как мало кто, к тому же это лучший собеседник в Дублине..."

Кипучей энергии, разносторонним способностям и интересам этого человека — лучше сказать, человечка: Уильям Уайльд прискорбно мал ростом, чего не скажешь о его статной, царственной супруге, "трагической королеве", как ее за глаза называли в дублинском бомонде, — можно было только позавидовать. Сын деревенского врача, он в отличие от своих братьев-священнослужителей пошел по стопам отца и стал ведущим специалистом Ирландии по ушным и глазным болезням. В неполные тридцать лет открыл в Дублине больницу Святого Марка. Основал и пять лет выпускал "Дублинский ежеквартальный медицинский журнал", за год до рождения второго сына, Оскара, удостоился высокого звания хирурга-окулиста королевы в Ирландии, успешно и добросовестно трудился на ответственном посту особого уполномоченного по медицинской переписи, собирал статистические данные по

ушным и глазным болезням, за что и удостоился рыцарского звания. Все вышеперечисленные обязанности нисколько не мешали ему заниматься вдобавок еще и топографией "родного края". Дотошно описывать, как живут, что едят, что носят, как развлекаются, как обставляют свои жалкие жилища аборигены на западе страны — последние считанные носители гэльского языка, которые, кстати сказать, и снабжали топографа необходимой и, увы, не вселяющей оптимизма информацией.

Находил Уильям Уайльд время и для статей по истории медицины, и для занятий фольклором, археологией, за что не англичане и не ирландцы, а вовсе шведы наградили его орденом Полярной звезды. Описывал этот трудоголик и свод старинных рукописей, хранившихся в Королевской академии Ирландии, за что удостоился почетной золотой медали Каннингема. Не отставал сэр Уильям от своей супруги и по литературной — лучше бы сказать, по "научно-литературной" — части, ибо не переводил и стихов не сочинял. Зато сочинял многое другое. В общей сложности под его именем вышло двадцать книг — целая библиотека, и на все вкусы. Он, как уже отмечалось, — автор "Ирландских народных суеверий", выдержавших не одно издание. А также классических для своего времени учебных пособий "Практические замечания по ушной хирургии", "Ушная хирургия", "Эпидемиологическая офтальмология". А также огромного числа статей, путевых и биографических очерков (среди которых есть и очерк о настоятеле дублинского собора Святого Патрика Джонатане Свифте), служивших, по мнению одного из его коллег и почитателей, "образцом высокой науки, эрудиции и прилежания".

Был сэр Уильям Уайльд и образцом по части "науки страсти нежной". Помимо трех "законных" детей от Сперанцы, за ним числились еще, по меньшей мере, четверо — заведенных, впрочем, еще до брака. Его старший незаконнорожденный сын, Генри Уилсон, пошел по стопам отца, был ассистентом сэра Уильяма в больнице Святого Марка и дослужился до звания профессора в "головном предприятии" — Королевском колледже хирургов Ирландии; его сэр Уильям выдавал за своего племянника. Что же до двух незаконнорожденных дочерей, то судьба их незавидна. В ноябре 1871 года на балу, куда отправились сестры, вспыхнул пожар, и обе барышни получили смертельные ожоги. Имеется и альтернативная версия — увы, с тем же финалом: одна сестра подошла якобы слишком близко к камину, и на ней загорелось платье; вторая бросилась ей на помощь...

По Дублину ходило немало анекдотов о любовных похождениях неутомимого сэра Уильяма — некоторые совершенно

неправдоподобные. Рассказывали, например, будто во время своего пребывания в Швеции сэр Уильям ухитрился переспать с женой принца, пока тот после глазной операции на время лишился зрения...

Репутация легкомысленного сэра Уильяма всерьез пострадала, однако, лишь однажды, когда он соблазнил свою пациентку — не первую и не последнюю, — девятнадцатилетнюю дочь профессора Тринити-колледжа Мэри Трэверс. Родив от сэра Уильяма сына, мисс Трэверс не смолчала, обвинила титулованного хирурга в том, что тот изнасиловал ее во время операции, прямо под хлороформом, и подала на него в суд. Честное имя великого врача и просветителя оказалось подмоченным, пришлось к тому же заплатить немалую сумму — 2000 фунтов — судебных издержек. Скандал вышел громкий — как уверяют биографы, на всю Ирландию.

На всю Ирландию — но не на Меррион-сквер. "Муж и жена — одна сатана": леди Уайльд не только не разошлась с провинившимся супругом, но и, в соответствии со своим жизненным принципом: "Fidanza, Constanza, Speranza"[1], выступила в его защиту. "Весь Дублин выражает *нам* сочувствие!" — писала она, пусть и покривив душой, когда зловредная мисс Трэверс сочинила и распространила по городу брошюру, которая была написана от имени Сперанцы и в которой во всех подробностях описывалось, как некий вымышленный доктор Квилп надругался над своей юной пациенткой.

Вообще, толерантности леди Уайльд не было предела: летом на даче под Дублином собирались все дети сэра Уильяма — равно брачные и внебрачные. Когда же сэр Уильям лежал на смертном одре, леди Уайльд дала возможность проститься с ним таинственной незнакомке под траурной вуалью — по всей видимости, матери одного из его внебрачных детей. Хотя злой на язык дублинский художник Гарри Фрэнсис и называл Сперанцу "ходячей карикатурой на материнство", Джейн Элджи Уайльд слишком много времени уделяла детям, а также — себе, литературному труду и светской жизни, чтобы всерьез обращать внимание на такие мелочи, как супружеские измены своего знаменитого мужа.

Тем более что у сэра Уильяма имелись грехи и посерьезней. При том, что был он отличным собеседником ("лучшим собеседником в метрополии", — говорила про него, как всегда не скупясь на громкие слова, лояльная жена), умел "держать стол", за который по субботам садилось, бывало, до ста чело-

1. Супружеская верность, Постоянство, Надежда (*итал.*).

век, Уайльд старший мог себе позволить самую постыдную неопрятность. Ему ничего не стоило, к примеру, преспокойно высморкаться в салфетку, начать чистить ногти вилкой или попавшимся под руку гусиным пером, отпустить малопристойную шутку. И даже — и это в присутствии крупных политиков, университетской профессуры, известных поэтов и писателей, актеров, музыкантов — запустить большой палец в тарелку с супом, дабы убедиться, что суп подали горячим.

В отличие от мужа, Сперанца, гранд-дама, как она сама себя называла, по многу раз на дню менявшая туалеты — в основном красных или лиловых цветов, обвешенная, точно новогодняя елка, драгоценностями, сморкаться за столом или чистить ногти гусиным пером обыкновения не имела. Держалась гранд-дама comme il faut и, в подтверждение своих воспитанности и здравомыслия, по вечерам, чтобы ее, не дай Господь, не застали навеселе, уединялась у себя в спальне, где вслух читала Оскару "Мельмота-скитальца" — увлекательное сочинение своего дяди Чарльза Роберта Матьюрина, вдохновившего и Вальтера Скотта, и Бальзака, и Бодлера, а впоследствии и самого Оскара Уайльда — последнего, правда, не на художественное произведение, а на определенный образ жизни.

Оскар, тот самый, высокий, рыхлый, нескладный подросток в цилиндре, с выбивающимися из-под него светлыми локонами, довольно быстро себе уяснил, что мать с отцом — люди разные, пусть их и многое объединяет. И хотя мальчик чуть ли не каждое лето ездил с отцом на девственный запад страны, где с подростковой страстью копался в земле в поисках кельтских черепков, он раз и навсегда взял сторону матери. Родители, впрочем, почти никогда не ссорились, просто каждый жил своей жизнью — залог счастливого брачного союза. Скажет же со временем их младший сын: "Самая прочная основа для брака — взаимное непонимание".

Оскар подолгу гулял по Дублину с разряженной, осененной дежурной светской улыбкой леди Уайльд, тем более что друзей в детстве у него было немного, да и те, что были, не слишком его жаловали. Заслушивался, или на прогулке, или забираясь к ней вечером в постель, ее патриотическими и романтическими стихами, в его поэтическую душу, впрочем, не запавшими. Когда же в доме бывали гости (а гости на Мерион-сквер не переводились), сидел под столом у ее ног.

И готов был поверить, когда леди Уайльд ему внушала, что его настоящий отец — вовсе не сэр Уильям, а поэт и ирландский патриот Смит О'Брайен. Претендовать на почетное право называться отцом Оскара Уайльда мог и извест-

ный юрист Айзек Батт. Это он защищал на суде редактора "Нейшн" Чарльза Гэвина Даффи и был свидетелем благородного поступка ворвавшейся в здание суда Сперанцы. Одно время по Дублину ходили непроверенные, но стойкие слухи, будто у Айзека Батта, человека умного, к тому же блестящего собеседника (и он тоже!), и будущей леди Уайльд был долгий и страстный роман.

Как бы то ни было, на отца Оскар был ни внешне, ни внутренне ничуть не похож, и ростом, и статью, и вкусами, да и характером тоже пошел в мать. Постоянно чем-то занятый, вечно куда-то спешивший отец не уделял ему (да и старшему Уилли тоже) почти никакого внимания. Мать же, хоть и была больше всего на свете увлечена собой, находила для сына время, одевала его на свой довольно экстравагантный вкус (не отсюда ли будущие ярко-красные сорочки и зеленые гвоздики или подсолнухи в петлице?), опекала его, защищала от жизни, в чем замкнутый, мечтательный, меланхоличный младший сын очень нуждался. Как не вспомнить Бунина: "Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа". Точнее не скажешь: робкая и нежная душа второго сына четы Уайльд не столько жила, сколько "грезила жизнью".

Отношения между детьми, как это нередко бывает в многодетных семьях, были непростыми. С младшей сестрой Изолой Оскар мало сказать ладил — очень ее любил и, когда она внезапно, неполных десяти лет, умерла от воспаления мозга, долгое время был безутешен, всякий раз оказываясь в Дублине, бывал на ее могиле и сочинил в память о сестре душещипательное стихотворение с соответствующим названием: "Requiescat"[1]. Вот его первая строфа в переводе М. Кузмина:

Ступай легко: ведь обитает
Она под снегом там.
Шепчи нежней: она внимает
Лесным цветам.

И после его смерти друзья нашли среди вещей покойного конверт с локоном Изолы и надписью "Волосы моей Изолы".

А вот со старшим братом отношения у Оскара не задались, хотя первые годы они жили душа в душу. Вместе рыбачили на "диком западе" Ирландии, в Лоу-Корриб, где у отца был охот-

1. "Покойся с миром" (*лат.*).

ничий домик "Мойтура"; впоследствии Оскар назовет это место "пурпурным островком". Вместе ездили в горы Уиклоу, в Гленкри, на ферму, "под крылышко" капеллана находившейся поблизости часовни Святого Кевана преподобного Придо Фокса. Вместе ездили на море — либо в курортный городок Брей в графстве Уиклоу, либо в Дангарвен, графство Уотерфорд. Вместе учили ненавистный немецкий с гувернанткой-немкой и любимый французский — с французской бонной: родители на образование детей денег не жалели. Вместе сиживали за столом со взрослыми и слушали их разговоры, дав слово, что не раскроют рта. Вместе были отправлены в закрытую школу в Эннискиллене, в ольстерском графстве Фермана: отец (в отличие от матери) был убежденным протестантом и "папского" учебного заведения для своих детей не потерпел бы. Вместе учились в дублинском колледже Святой Троицы — оплоте протестантского образования в католической Ирландии.

Уилли был близок, особенно в детстве, с матерью, что видно хотя бы из материнской "сравнительной характеристики" сыновей: "Оскар — большой, крепкий младенец, который не думает ни о чем, кроме еды. Уилли же хрупок, высок, сообразителен. У него большие, выразительные глаза. Он проник мне в самую душу". Как говорится, почувствуйте разницу. Поначалу леди Уайльд "ставит" на старшего. "Уилли, — с нескрываемой гордостью пишет она своей шведской подруге, — мое всё... Я воспитаю его героем, а быть может, и президентом будущей Ирландской республики". Если старший в ее представлении был героем, то младший — скорее игрушкой. Дело в том, что, забеременев во второй раз, леди Уайльд ждала девочку и поначалу к младшему сыну как к девочке и относилась: баловала, наряжала в яркие, необычных цветов и покроя наряды. Не отсюда ли женственность, экзотические вкусы и экзотический же — назовем это так — образ жизни классика английской литературы?

Младшего брата несостоявшийся "президент Ирландской республики" недолюбливал, завидовал ему, хотя вида старался не подавать. В свою очередь, и леди Уайльд заставляла себя быть "объективной" и делить, особенно после смерти дочери, материнскую любовь между сыновьями поровну. Трудно сказать, получалось это у нее или нет, но из сохранившихся писем видно, что если сначала любимым сыном был Уилли ("мое всё"), то, когда сыновья подросли, материнское сердце воспылало к Оскару. "Уилли хорош, ничего не скажешь, — запишет она в дневнике, — но Оскар... из него получится нечто потрясающее". "Трагическая героиня" была тщеславна, нерадивый,

пьющий, ленивый старший сын радовать ее перестал, перестал быть "умненьким и своенравным", как она с нескрываемой нежностью писала про одиннадцатилетнего Уилли в письме подруге. Блестящим же Оскаром, первым во всем, за что бы он ни брался, невозможно было не гордиться — до поры до времени.

Не слишком способный (в семье не без урода), хотя со временем и овладевший бойким журналистским пером, Уилли будет и впредь вести себя с Оскаром покровительственно, чтобы скрыть зависть к талантливому брату. Сначала — к его академическим успехам в Порторе и в Тринити-колледже (где сам Уилли преуспел больше в спорте, чем в науках), затем — к литературным. Беспутный старший брат поменял в жизни много профессий: подвизался не только журналистом, но и юристом, критиком и даже драматургом. От отца Уилли унаследовал любовь к прекрасному полу; от матери, как, впрочем, и Оскар, — любовь к шампанскому, позе и фразе, и весной злополучного 1895 года весь Лондон будет потешаться над тем, как театрально сокрушается старший брат во время скандального процесса над младшим. "Бедный Оскар, один Бог будет ему судьей!" — вздыхал, проливая пьяные и не слишком горькие слезы, Уилли, пока Оскар Уайльд в наивной надежде на победу (материнская speranza!) ждал решения суда. А когда спустя два года Уайльд выйдет на свободу, Уилли изречет: "Оскар вышел из тюрьмы еще более великим, чем в нее вошел!"

Но жизнь разведет братьев много позже. Пока же — повторимся — у них все поровну: и любовь матери, и безразличие отца, и отменное джентльменское образование. И отношения между ними безоблачны. Такие же, как у их родителей, чей брак совершился на небесах.

Глава пятая. "*Евангелие Красоты — языческому племени*", *или Театр одного актера*

На вопрос репортера, поднявшегося на палубу "Аризоны", бросившей 2 января 1882 года якорь в нью-йоркском порту: "Мистер Уайльд, что вас привело в Америку?", высокий, крупного сложения молодой человек с густыми, ниспадающими на покатые плечи темно-каштановыми волосами на прямой пробор, в светло-зеленом, отороченном мехом длинном пальто, из-под которого виднелась рубашка с широким воротником, в кожаных штиблетах и в шляпе без полей, ши-

роко улыбнувшись, нараспев ответил: "Я приехал из Англии, поскольку мне казалось, что Америка — лучшее место на свете".

Вопросы, где бы Уайльд ни был — в южных штатах, Канаде, Чикаго, Филадельфии или Сан-Франциско, — газетчики, по большей части, задавали одни и те же: "С какой целью вы приехали в Соединенные Штаты?", "Вы не могли бы дать ваше определение эстетского движения?", "Как вам нравится Америка?" И Уайльд исправно расхваливал Америку, а американцы в ответ расхваливали Уайльда, приехавшего за тридевять земель, как писала одна американская газета, "преподать Евангелие Красоты языческому племени". И "язычники" встречали своего кумира громкими аплодисментами, слушали его рассуждения о роли Красоты в жизни человека, некоторые же, в основном представительницы прекрасного пола, распалившись от его умных, красивых и несколько необычных мыслей, а также от запоминающегося вида самого мыслителя, умоляли прислать им в письме прядь его волос. "Еще одна лекция, — писал матери Уайльд, — и, вот увидишь, в Лондон я вернусь лысый, как коленка".

До Лондона, впрочем, было еще далеко. По приезде Уайльд не без свойственного ему кокетства сообщил нью-йоркским журналистам, что не знает, сколько времени он здесь пробудет, все, мол, будет зависеть от того, понравятся ли американцам его лекции. Лекции понравились — не всем, но многим. И даже не столько сами лекции, сколько лектор — артистичный, броско одетый, остроумный, красноречивый, с превосходной реакцией. Понравился настолько, что Уайльд разъезжал по Штатам без малого год.

Да и отчего было не разъезжать? Условия лекционного турне Уайльда вполне устраивали. Его сопровождал чернокожий слуга Тракер, который тащил его чемоданы, — а при эстетской страсти хозяина к постоянному переодеванию, а также чтению, чемоданов было немало. "Интересно, что бы сказал Торо о моей шляпной картонке! — писал Уайльд американской писательнице Джулии Уорд Хау летом 1882 года. — Или Эмерсон — о размерах моего сундука, поистине циклопических!" На Юге, правда, Уайльд был вынужден ездить с Тракером в разных вагонах: чернокожим в спальный вагон (и это почти через двадцать лет после окончания Гражданской войны) вход был запрещен. Помимо Тракера сопровождали Уайльда репортер местной газеты плюс некий мистер Вейл, которому полковник Морс поручил не спускать с "апостола эстетства" глаз. Жил Уайльд в приличных отелях или на частных квартирах, еду ему приносили из близлежа-

щих ресторанов, по вечерам приглашали на банкеты в его честь или в клубы, иногда в оперу. На вокзалах и в портах его обыкновенно встречала толпа восторженных или, по крайней мере, любопытствующих почитателей — далеко не все, впрочем, присутствовали потом на его лекциях. Поезд останавливался, из спального вагона в сопровождении трех неизменных спутников на перрон выходила британская знаменитость. Темно-бордовый шарф, светло-бежевый бархатный пиджак, канареечного цвета жилет, широкополое сомбреро, в одной руке лилия, в другой — трость слоновой кости. И тогда по толпе встречающих пробегал восторженный шепоток: "Вот он! Это и есть Оскар Уайльд?!" Но — мы забежали вперед.

С чего могло начаться турне Уайльда, как не с афоризмов? Еще в порту Уайльд пошутил дважды — и обе шутки вошли в историю литературы. Отвечая на вопрос еще одного репортера (их на палубе "Аризоны" скопилось немало), как прошло плавание, Уайльд ответил: "Атлантический океан меня разочаровал. — И добавил: — Атлантический океан не слишком мне полюбился, он не столь величествен, как я ожидал: слишком кроток, должен был реветь, а не ревел". Уже на следующий день лондонская "Пэлл-Мэлл газетт" отозвалась телеграммой своего, не лишенного чувства юмора, читателя: "И я разочарован мистером Уайльдом. Атлантический океан". А проходя таможню, на дежурный вопрос "У вас есть, что заявить?" Уайльд пошутил во второй раз, еще удачнее, чем в первый: "Мне нечего заявить, кроме своего гения". Эту фразу знают, кажется, даже те, кто не читал ни строки из написанного Уайльдом. Существует и третий знаменитый американский афоризм Уайльда: "Не стреляйте в пианиста, он делает все, что в его силах", — но Уайльду он, как выясняется, не принадлежит: писатель увидел, запомнил и присвоил себе это предостережение, вывешенное на стене, над головой тапера, в заштатной пивной заштатного шахтерского городка Ледвилл в Скалистых горах.

Из гавани Уайльда отвозят в гостиницу, адрес гостиницы от репортеров утаивают — до первой лекции в нью-йоркском Пикеринг-холле под интригующим названием "Английское возрождение" остается всего несколько дней, а мэтр еще "не совсем готов".

И с этого момента писатель отрабатывает многомесячный контракт: становится главным действующим лицом монументального спектакля, который можно было бы назвать "Апостол эстетства в Америке". Режиссер этого трехактного спектакля — уже известный нам импресарио Д'Ойли Карта

полковник Морс, тот самый, кто еще в сентябре телеграммой из Нью-Йорка предложил Уайльду контракт на турне из пятидесяти лекций. Пролог к спектаклю, имевший место на палубе "Аризоны", тоже, кстати, дело рук Морса: кто как не он, безупречный "менеджер по связям с общественностью", обеспечил присутствие на пароходе многочисленной журналистской братии? Морс обеспечивает все, от "а" до "я". Отвечает за маршрут лекционного турне, за количество лекций в неделю — Уайльд готов читать вдвое больше лекций, чем предусмотрено по контракту: "Чтение лекций меня не утомляет". А также за гостиницы, рестораны, культурную программу и даже за заказ костюмов для выступлений.

Из классицистического триединства места, времени и действия соблюдается в этой пьесе — и соблюдается неукоснительно — только единство действия: лекционное турне. Место же "театра одного актера" — бескрайние просторы Соединенных Штатов Америки и Канады. Время, и тоже бескрайнее, — девять месяцев, с января по сентябрь 1882 года; дистанция стайерская.

Краткое содержание пьесы, которая могла бы называться на советский манер "Культуру — в массы". Акт первый: Уайльд перед лекцией встречается в гостинице с местными газетчиками; утро вопросов и ответов. Акт второй: лекции и реакция на них "зрительного зала" — прессы и "культурной общественности". Акт третий: культурная программа гастролера; встречи и развлечения. Своеобразным приложением к спектаклю, его, так сказать, обрамлением, является внелекционная деятельность Уайльда, также, естественно, имевшая место.

Акт первый

Уайльд, как уже говорилось, останавливается в первоклассных гостиницах или на частных квартирах и по утрам, облачившись в халат и царственно развалившись в кресле (или на ковре) с сигаретой, беседует с местными репортерами. Он вежлив, радушен, улыбчив, разговорчив, за словом в карман не лезет. "Читаю все газеты, какие попадутся, — сообщил он журналистке из Вашингтона Мэри Уотсон. — Все они конкурируют друг с другом в стремлении написать то, чего я не говорил". Жалуется: вечерние приемы и банкеты в его честь обременительны. Поезда в Америке хорошие, но путешествовать по стране на быстром поезде неинтересно — хочется прокатиться верхом. Кроме того, надоело бесконечно отвечать на письма: "Люди почему-то думают, что у меня нет других дел — только на их письма отвечать!" Дарит репорте-

рам (выборочно разумеется) сборник своих стихов и при этом кокетничает: "Иногда, знаете ли, забываешь собственные стихи". На вопрос, сколько ему было лет, когда он написал первое стихотворение, отвечает глубокомысленно, хотя и несколько невпопад: "Иногда в двадцать лет чувствуешь себя старше, чем в сорок". Шутит: "Меня обслуживают несколько секретарей, один ставит за меня автографы, другой принимает цветы, а третий с таким же цветом волос и такой же прической, как у меня, рассылает девушкам свои локоны, выдавая их за мои..." Если вместо репортера его посещает какая-нибудь важная, влиятельная особа — вручает рекомендательные письма от английских важных, влиятельных особ; рекомендательных писем, как, впрочем, и экземпляров "Стихотворений", у него с собой сотни — запасся основательно. Одним словом, творит себе легенду, ибо им же самим сказано: "Правда человеческой жизни не в том, что́ человек делает, а в той легенде, которую он вокруг себя создает".

Как уже говорилось, не устает хвалить Америку. Послушать Уайльда, так в Америке все лучше, чем в Англии: поезда быстрее, поэты талантливее, образование демократичнее, к тому же "у нас нет таких лилий, как у вас". Лучше и газеты: "Американская газета — это журнал будущего". И женщины: "Америка — замечательная страна, а самое замечательное в этой замечательной стране — американская женщина", "Нигде не видел столько красивых женщин, как в Америке". "Здесь, — уверяет Уайльд растроганного репортера, — люди без предрассудков, любят правду, смотрят правде в глаза". Надо думать, Уайльд не раз вспоминал эти свои слова, когда на следующий день читал, что́ написал о нем в свежем номере газеты "любящий правду" репортер.

Америку принято ругать, особенно в Англии, за отсутствие традиций; Уайльд же минус меняет на плюс: "Отсутствие у вас традиций — источник вашей свободы и силы. У вас больше самостоятельности в мыслях, чем в Европе". Вектор лекционного турне направлен с востока на запад, и, оказавшись в Калифорнии, Уайльд рассуждает о том, насколько запад ему больше по душе, чем восток: "Запад лучше, независимее, ведь восток заражен безумством Европы". Уайльд, конечно, кривит душой. Преимущество Сан-Франциско над Нью-Йорком и Бостоном не в этом. Восточное побережье хуже западного не столько потому, что восток "заражен безумством Европы", сколько по причине куда более тривиальной: чем ближе находился Уайльд от тихоокеанского побережья, тем его лучше принимали и даже повышали в "чине": в Техасе называли "капитаном", в Неваде — "полковником", а в Южной

Калифорнии, на границе с Мексикой, — "генералом". Вообще, одноэтажная Америка была к нему снисходительней, чем "многоэтажная". Комплимент "Калифорния — это та же Италия, разве что без итальянского искусства", согласитесь, довольно сомнителен, но в дело шел и он. В своих дифирамбах Уайльд расчетлив, можно даже сказать, циничен; он действует с поправкой на тот город или штат, в котором находится: в Сан-Франциско хвалит Сан-Франциско, в Балтиморе превозносит богатую природу и поэзию Эдгара По. В городах с многочисленной ирландской диаспорой напоминает аудитории, что он ирландец, рассуждает о вине Англии перед Ирландией: "Мы порой забываем, как Англия перед нами виновата. Она пожинает плоды семи веков несправедливости". Этой же, не слишком оригинальной мыслью делится и на американском Юге, тем самым проводя аналогию между янки и Англией, конфедератами и Ирландией. Общий же смысл славословий в адрес Америки прост — соломку подстелить, настроить американцев в свою пользу. Получается — правда, не всегда.

Акт второй

Как вскоре выяснится, разочаровал Уайльда не только Атлантический океан. И не только Ниагарский водопад, про который Уайльд заметил, что молодожены, приезжающие провести медовый месяц на Ниагаре, испытают свое первое разочарование в семейной жизни. Разочаровала "подлая и продажная" (определение Уайльда) пресса, она явно не оправдала ожиданий Уайльда–Морса, хотя и здесь, в Америке, "отрицательный пиар" точно так же способствовал популярности "апостола эстетства". Наметилась даже тенденция, на первый взгляд (но только на первый) парадоксальная: чем хуже об Уайльде писали местные газеты, чем больше клеветали, ругали и издевались, тем больше на его лекциях собиралось народу — отрицательный герой, известное дело, всегда притягательнее положительного. Когда балтиморская газета с возмущением сообщила своим читателям, что Уайльд согласился прийти на прием в местном клубе только в том случае, если ему заплатят 500 долларов, — на следующее утро в лекционном зале яблоку негде было упасть. Хотя, конечно же, не слишком приятно было читать "Нью-Йорк трибьюн", где тебя называют "грошовым Рёскином" и "напыщенным мошенником", или националистическую "Айриш нейшн", где колумнист в порыве патриотических чувств восклицал: "Рассуждает о прекрасном, а его родина тем временем сгибается под гнетом тяжкой тирании". Или злые пародии на себя

в ближайшем родственнике "Панча", нью-йоркском юмористическом журнале "Проказник". Впрочем, у Уайльда хватало и чувства юмора и здравого смысла, чтобы не падать духом. Тем более что по большому счету оснований для этого не было.

Во-первых, слава Уайльда за океаном — всегда громкая, хотя и не всегда "позитивная" — росла, его стихи вышли в Америке (правда, издатель обошелся без согласия автора) и продавались на каждом углу по 10 центов за экземпляр: "В поездах репортеры продают мои украденные стихи". Вся Америка распевала популярные песенки вроде "Вальсы Оскара-незабудки" или "Оскар, Оскар дорогой". По городам, где выступал Уайльд, были развешены афиши величиной с человеческий рост, в которых аршинными буквами сообщалось о его лекциях; одну такую афишу он имел возможность лицезреть прямо из своего номера люкс в Монреале. По стране ходили многочисленные анекдоты с участием Уайльда. Вот лишь два из них, и тот и другой довольно неприхотливы. Первый: "Уайльд пожаловался, что в Америке нет руин и курьезов, на что некая пожилая дама заметила: 'В первом виноваты не мы, а время. Что же до курьезов, то мы их импортируем'". Второй: диалог между Уайльдом и светской дамой в Вашингтоне. "Дама: 'Так это вы мистер Уайльд? Где же ваша лилия?' Уайльд: 'Осталась дома, сударыня. Как и ваши хорошие манеры'". Американское турне принесло Уайльду — отраженным, так сказать, светом — еще бóльшую известность и в Англии. "О тебе говорит весь Лондон, — писала сыну с присущей ей патетикой в сентябре 1882 года леди Уайльд, — кебмены интересуются, кем я тебе прихожусь... наш молочник купил твою фотографию. По возвращении тебя встретят ликующие толпы и тебе придется прятаться в кебах".

А во-вторых, "культурная общественность" больших городов нередко вставала на защиту эстета от клевещущей прессы: литературные общества Бостона и Нью-Йорка устраивали званые обеды, где ораторы в своих "послеобеденных речах" возмущались выпадами местных газетчиков, а люди искусства, вспоминал Уайльд, "почитали меня как юного бога".

"Лучшей рекламы моим лекциям не придумаешь!" — воскликнул юный бог, когда комик Юджин Филд с лилией в одной руке и с раскрытой книгой в другой проехал по Денверу в открытом экипаже. Вряд ли расстроился лектор, когда перед началом лекции в бостонском Мюзик-холле несколько десятков гарвардских студентов, наряженных под эстетов

(штаны до колен, зеленые галстуки, развевающиеся кудри, в руках подсолнухи), ворвались в зал и, пробежав по проходу, заняли места в первых двух рядах, заранее с этой целью освобожденных. Не расстроился уже хотя бы потому, что готов был, видимо, к этой "акции" и в тот день нарядился в обычный, "не эстетский" костюм. Или когда в Рочестере, штат Нью-Йорк, старый негр в белой кожаной "эстетской" перчатке, пританцовывая, прошел в первый ряд, уселся и под свист и улюлюканье зала бросил на сцену, к ногам лектора, букет белых лилий. "Они, вне сомнений, ведут себя вызывающе, — отозвался Уайльд на эти и другие подобные эпизоды, — но ущемляют они не меня, а пришедших на мою лекцию".

В лекционных залах, где Уайльд выступал, по меньшей мере шесть раз в неделю, и не только вечером, но порой и утром, бывало "разом густо — разом пусто". В Чикаго, например, зал был набит битком, собралось, если верить Уайльду, три тысячи человек, и никто не ушел раньше времени. Уайльд писал матери, что "на него" приходит больше людей, чем полвека назад приходили на другого ничуть не менее знаменитого британского гастролера — Чарльза Диккенса. Пишет, что с ним обращаются, как с наследным принцем. Порой теряет чувство юмора и превращается в Хлестакова. "Бывая в обществе, я становлюсь на самое почетное место в гостиной, — пишет он жене своего лондонского приятеля Джорджа Генри Льюиса, — и по два часа пропускаю мимо себя очередь желающих быть представленным. Я благосклонно киваю и время от времени удостаиваю кого-нибудь из них царственным замечанием, которое назавтра появляется во всех газетах... Вчера мне пришлось уйти через служебный выход: так велика была толпа". "Во всех городах открывают после моего посещения школы прикладного искусства и учреждают общедоступные музеи, прося у меня совета относительно выбора экспонатов". Время от времени наступает отрезвление. "Верно, — признается он лондонскому знакомому, — меня идут слушать из чистого любопытства — но ведь потом пишут письма". Бывало, и не раз, что уже через четверть часа после начала лекции многие уходили или же, пока Уайльд пил воду, полупустой зал взрывался аплодисментами: мол, уж лучше пей, чем говори.

Подобные эксцессы Уайльд переносил, повторимся, с неизменным чувством юмора, сохранял "хорошую мину": "От похвал я робею, но, когда меня оскорбляют, я знаю, что возношусь к звездам". Он исправно, ровно в назначенное время (хотя пунктуальностью не страдал) поднимается на сцену. На нем экстравагантный костюм, всякий раз другой, дабы при-

влечь внимание не столько к теме лекции, сколько к своей особе — а потом он еще удивляется, почему в вечерних газетах пишут не о содержании лекции, а о том, как он был одет. Обыкновенно его лекционный наряд, заказанный Морсом по его просьбе, — это штаны до колен, батистовая рубашка, черные шелковые чулки ("Странно, что пара шелковых чулок способна привести в такое замешательство целую нацию!"). А также туфли с пряжками, пиджак с кружевными рукавами, плащ, наброшенный на плечо. А в руке подсолнух или лилия, на пальце кольцо с печаткой, на печатке, как и полагается эстету и эллинисту в одном лице, классический греческий профиль. Его представляет — все заранее отрепетировано и согласовано — либо сам полковник Морс, либо его агент. После чего Уайльд, не торопясь, извлекает из кожаной папки машинописный текст лекции и, отставив ногу и горделиво откинув голову (сын своей матери!), так же неспешно принимается несколько монотонно, но внятно читать лекцию, почти совсем не отрывая глаз от бумаги и не отвлекаясь.

Первую свою лекцию Уайльд прочел не в Пикеринг-холле 9 января 1882 года, а еще на палубе "Аризоны". Репортеры были первыми американцами, которые не без удивления узнали, что в жизни человеку не хватает не денег, как им всегда казалось, а Красоты. "Высшая цель в жизни, — вещал Уайльд разинувшим рты газетчикам, — жить. Живут лишь немногие. Истинная жизнь — понять свое совершенство, превратить свои мечты в реальность".

Вид у лектора был, о чем мы уже не раз упоминали, весьма экстравагантный, а вот лекции, в сущности, — вполне доступные и даже полезные. Уайльд никогда не вдавался в философские и эстетические дебри, он прекрасно чувствовал аудиторию, да и был заранее подготовлен к тому, что слушать его придут не студенты Оксфорда. То, что он рассказывал американцам из "глубинки", из Денвера или из Цинцинатти, не слишком знакомым с наукой о Красоте, было своеобразным ликбезом эстетства, общедоступным конспектом лекций его учителей, Рёскина и Пейтера.

Рассказывал Уайльд о том, как важно жить самим и воспитывать детей в атмосфере красоты, которую называл "тайной жизни". О том, что миссия истинного искусства — "остановиться и взглянуть на вещь во второй раз". О том, что политика, религия, даже сама жизнь интересуют его только как предмет искусства. "Кавалеры и пуритане, — пояснял Уайльд американцам, не слишком хорошо разбиравшимся в хитросплетениях английской истории, — интересны своими костюмами, а не взглядами". Говорил о том, кто такие прерафаэли-

ты; объяснял, что искусство Россетти, Ханта и Морриса — это прежде всего реакция на "пустые условности ремесла". Объяснял, что английский ренессанс, то есть искусство прерафаэлитов, как и ренессанс итальянский до него, — это "перерождение человеческого духа". Что школа прерафаэлитов восходит к Джону Китсу: "Китс был тем семенем, из которого выросли Бёрн-Джонс, Моррис, Россетти в живописи и Суинберн в поэзии". Не раз повторял свои любимые мысли. О том, что не искусство подражает жизни, а, наоборот, жизнь подражает искусству. Что искусство следует любить за то, что оно искусство, а не критиковать с позиций морали либо социальных реформ. Что поклонение Богу — это "поклонение всему, что красиво". Что стремление к Красоте — это "не более чем возвышенная форма стремления жить". Что эстетское движение — не мода, а возвращение к истокам искусства, что цель эстетства — научить людей любить Прекрасное, и не на картинах, а в повседневной жизни: "Искусство, которому учишься по книгам, в лучшем случае ничего не стоит". Не раз повторял любимые тезисы Рёскина, переосмысливая их на свой лад: "Крах в искусстве ведет к коррупции в обществе", "Машинная цивилизация делает из людей машины, мы же хотим, чтобы ремесленники работали не только руками, но и головой, чтобы они были художниками, то есть людьми". Рассказывал, почему эстеты так любят лилию и подсолнух, в чем их символика; объяснял, что в Италии лилия ассоциируется с искусством, что на Востоке подсолнуху поклоняются. Много говорил об искусстве одеваться: "Умение хорошо одеваться в безупречной сообразности"; демонстрировал это искусство на своем примере — не всегда убедительном, но всегда запоминающемся: никогда не забывал, что многие приходили не столько слушать его, сколько на него смотреть. Не забывал и поэзию, целую лекцию посвятил ирландским поэтам 1848 года, где шла речь, разумеется, и о Сперанце. Часто заводил речь о театре, театр называл "искусством в действии", говорил, что драма — это "перекресток искусства и жизни", призывал собравшихся "сохранить на сцене всю красоту, которая ушла из жизни", — эта мысль в самом скором времени найдет свое воплощение в его собственной драматургии, в "Герцогине Падуанской" и в "Саломее".

Акт третий

Культурная программа "апостола Красоты" ("сибарита", "эпикурейца" — как его только не называли) и, одновременно, мощная "пиар-компания" (умел Уайльд себя рекламировать, ничего не скажешь) начались уже на следующий день

после прибытия. Писатель явился на спектакль "Пейшенс" в нью-йоркский "Стэндард-тиэтр", и, когда на сцене появился его "двойник" Реджинальд Банторн[1] и зрители, все как один, повернулись к ложе, где он восседал, Уайльд громко, на весь зал, изрек свой, уже третий за два дня афоризм: "Банторн — это один из тех комплиментов, которые посредственность делает всем тем, кто посредственностью не является". Как всегда, нашелся.

В отсутствии фантазии не обвинишь не только гостя, но и рачительных хозяев. Морс постарался на славу, и в первый же вечер в Нью-Йорке состоялся пышный прием, где Уайльду авансом оказали высшие почести. Перед застольем оркестр сыграл "Боже, храни Королеву" (в своем рвении устроители не учли, что Уайльд — ирландец), на обеденный стол водрузили гигантскую вазу с лилиями, перед кувертом гостя положили еще две лилии, трогательно перевязанные красной ленточкой. Фигурировала лилия и в петлице каждого гостя, а также в песне (слова местной поэтической знаменитости Сэма Уорда, музыка Стивена Массетта) "Лилия в долине", которую присутствовавшие, крепко выпив, исполняли нестройным хором. Не ударил лицом в грязь и Уайльд: острил за столом напропалую, а перед уходом под гром аплодисментов преподнес Уорду сборник своих стихов с посвящением по-французски — знай наших!

Приемов такого размаха, пожалуй, больше не было, но развлекали устроители Уайльда изо всех сил, упор, понятно, делали на американской экзотике. В оперу водили редко, куда чаще — по злачным ночным клубам. Возили, как читатель уже знает, на Ниагарский водопад, устраивали встречи с индейцами, рудокопами, которым Уайльд рассказывал о картинах Боттичелли, опускали в рудник под названием "Несравненный", где был уже накрыт банкетный стол. Эстет простому народу понравился: "Малый не промах", — равно как и простой народ — эстету: "Каждый из них поэма!...они свободнее и артистичнее остальных американцев, потому что следуют за Природой". В Солт-Лейк-Сити познакомили с бытом и обычаями мормонов, которые его обрадовали, сказав: "Мы даем вам для лекции наш самый большой зал — на тридцать человек". В Небраске облачили в горняцкую одежду и повели в местную тюрьму, в камеру смертника, где приговоренный к высшей мере, не обращая внимания на посетителей, преспокойно читал

1. Поэт-эстет, пародия на Уайльда и эстетское движение в оперетте "Пейшенс" Гилберта и Салливана.

приключенческий роман. Еще больше удивила гастролера общая камера, где Уайльд обнаружил среди стоявших на полке книг том Данте в переводе Шелли; знал бы он, что спустя каких-нибудь тринадцать лет он и сам будет читать за решеткой "Божественную комедию"...

Уговорили выступить в Сент-Поле, штат Миннесота, на праздновании Дня святого Патрика — вспомнили, что он ирландец. В Канзасе Уайльд был свидетелем того, как целый город оплакивает смерть знаменитого канзасского головореза Джесса Джеймса и раскупает в качестве реликвий его домашние вещи. Главным же "блюдом" культурной программы были встречи с известными людьми; тут, правда, подстерегали и неудачи. Главный редактор авторитетного журнала "Атлантик" Томас Бейли Олдрич, несмотря на все уговоры издателя из Филадельфии Джеймса Стоддарда, встретиться с Уайльдом отказался наотрез, назвав его "позером" и "шутом гороховым", в связи с чем Уайльд написал Джорджу Керзону: "Представь гневный клекот американского орла, оскорбленного тем, что я не считаю брюки красивым предметом одежды". Не произвел Уайльд впечатления и на "живого классика" американской литературы Генри Джеймса, и это еще мягко сказано. Обычно корректный, выбирающий слова Джеймс назвал Уайльда "надутым болваном", "невежей" и даже "грязным животным". Уайльд в долгу не остался. "Джеймс пишет романы так, будто сочинять для него — тяжкое наказание", — заметит он в своем программном эссе "Упадок лжи". Герой Гражданской войны генерал Грант остался к Уайльду равнодушен — и не таких, дескать, видали, зато известному писателю и врачу, основателю журнала "Атлантик" Оливеру Уэнделлу Холмсу, а также первым поэтам Америки, Лонгфелло и Уитмену, Уайльд пришелся по душе. Особенно Уитмену, сказавшему про Уайльда: "Мне он показался естественным, честным, искренним и мужественным парнем... Не понимаю, отчего газеты пишут о нем с издевкой". Поэты быстро перешли на "ты", хотя по-английски сделать это не просто. В разговоре об английской поэзии возникли, правда, некоторые трения: Уайльд расхваливал Теннисона, а "авангардист" Уитмен заявил, что Теннисон "живет вне времени и пространства", и со стариковской прямотой посоветовал Уайльду, говоря советским языком, "сбросить Теннисона с корабля современности". "Старикан" (как назвал его в одном из писем в Англию Уайльд) был растроган, напутствовал гостя неформальным "Прощай, Оскар! Да благословит тебя Бог!" и даже пустил слезу — возможно, впрочем, из-за выпитого с гостем виски. Уитмен нашел в Уайльде родственную душу: шестидесятитрехлетний американский поэт и двадцати-

восьмилетний английский одинаково любили позу и преуспели в саморекламе. В Луисвилле Уайльд, причем по чистой случайности, встретился с племянницей своего любимого Китса, и та подарила ему бесценную рукопись "Сонета синему цвету". Однако самое сильное впечатление произвели на Уайльда не великий американо-канадский водопад, и не великий американский поэт, и даже не угольная шахта в Скалистых горах, названная его именем, а техасские нравы. По возвращении из Америки Уайльд с увлечением рассказывал в Париже Эдмону Гонкуру про Техас, где все мужское население вооружено до зубов: "Револьвер — их учебник по этикету". Где в зале местного казино судят и вешают преступников, которых потом еще вдобавок расстреливают из пистолетов. И где на роль в шекспировских спектаклях подбирают не профессиональных актеров (вероятно, за их отсутствием), а преступников с соответствующими навыками. Роль леди Макбет, к примеру, предложили женщине, которая отсиживала срок за то, что отравила своего любовника. Уайльду (да и любому на его месте) на всю жизнь запомнилась афиша этого спектакля: "Роль леди Макбет исполняет мисс Х., приговоренная к десяти годам каторжных работ". Такой рекламе сам полковник Морс мог бы позавидовать.

Коль скоро мы заговорили о театре, вспомним, какую цель, помимо заработка, преследовал Уайльд, пустившись в далекое путешествие за океан. Цель эта была проста и вместе с тем мало реальна: пробить на американскую сцену "Веру"[1], а также договориться о постановке второй, пока еще только задуманной, пьесы — "Герцогиня Падуанская". Для этой цели Уайльд, находясь в Нью-Йорке в начале и в конце своего лекционного турне, облюбовал театр "Мэдисон-сквер-тиэтр" и молодого режиссера Стила Маккея. Чтобы убедиться, что театр и режиссер на что-то способны, Уайльд совмещает приятное с полезным. Встречает в порту приехавшую на гастроли свою давнюю приятельницу, обворожительную Лилли Лэнгтри, смотрит спектакль с ее участием на сцене "Мэдисон-сквер-тиэтр" и даже пишет на этот спектакль рецензию — разумеется похвальную. Результат: Маккей готов *в принципе* осуществить постановку обеих пьес Уайльда — но откладывает постановку в долгий ящик: спектакли могут состояться не раньше конца лета — осени 1883 года, то бишь почти через год.

1. "Вера" — первая, малоудачная, пьеса Уайльда из русской истории.

Со вторым заданием Уайльд также справляется не лучшим образом. Перед отъездом он обещает матери и Реннеллу Родду[1], что попробует найти для их стихов издателя. Издать в Америке стихи Сперанцы сорокалетней давности было занятием бесперспективным, и мать, и сын об этом и не мечтали. Родд же на Уайльда рассчитывал. И Уайльд, казалось бы, добился успеха: договорился со Стоддардом, что тот в течение года издаст поэтический сборник Родда "Южные песни", а Уайльд напишет предисловие. Известно, однако, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. В процессе подготовки стихов к печати, Уайльд, по просьбе Стоддарда, меняет название сборника, переносит, не поставив Родда в известность, из английского издания в американское авторское посвящение: "Оскару Уайльду, сердечному брату" — и, в довершение всего, рассказывает Стоддарду об их с Роддом романтических странствиях по Европе. В результате вместо благодарности — обида, причем обоюдная: Уайльд обижен за то, что не оценены его усилия, Родд — за самоуправство и разглашение секретов. В итоге — разрыв отношений. И нелестные — далеко не всегда справедливые — строки из воспоминаний Родда об Уайльде: "...безрассуден, ненадежен, никогда не думал о завтрашнем дне... ленивый, ветреный..." Про ветреность мы слышим не впервые.

Подведем итог американского турне. Известность Уайльда перекинулась из Англии через океан, из-за океана же, сделавшись куда более громкой, бумерангом вернулась в Англию: домой Уайльд — Сперанца была права — вернулся более знаменитым, чем уехал. И еще более уверенным в себе. Он вошел во вкус и подумывал даже о лекционном турне по... Австралии, уже подыскивал себе устроителя. Да и как не войти во вкус: в Америке "скиталец с миссией", как назвал себя однажды Уайльд, недурно заработал. Когда 27 декабря 1882 года он поднялся на борт отплывавшей в Ливерпуль "Ботнии", в кармане у него лежало шесть тысяч долларов, а было бы все семь, если б перед самым отъездом он не попался на удочку карточному шулеру и в одночасье не проиграл в нью-йоркском казино тысячу.

Кем зарекомендовал себя в Америке Оскар Уайльд? Талантливым лектором? Позером? Острословом? Неутомимым путешественником, азартно накапливающим впечатления? Организатором и вдохновителем чужих и собственных дел? И тем, и другим, и третьим, и четвертым, и пятым. Собой, во всяком

1. Реннелл Родд — поэт, дипломат; оксфордский друг Уайльда.

случае, Уайльд остался доволен. "Я читал лекции, скакал, позволял носиться со мной, как со знаменитостью. Вызывал восторги, подвергался хуле, терпел насмешки, принимал знаки преклонения. Но, разумеется, был, как всегда, триумфатором", — писал он весной 1882 года английской актрисе Бернард Бир. Сказать, что Уайльд в Америке был "всегда триумфатором" было бы, как мы убедились, некоторым преувеличением. И тем не менее, Америка и в самом деле раскрыла в нем много разнообразных дарований. Кроме одного — литературного, про него пока почти ничего неизвестно.

Глава шестая. "*Бедная дорогая*" *Констанс*

Леди Уайльд, как всегда, преувеличила, написав сыну, что по возвращении его будут встречать ликующие толпы; прятаться в кебах не пришлось: англичане — не американцы. И все же оснований для оптимизма было немало.

Во-первых, появились деньги — правда, ненадолго. И в Лондоне, и в Париже, куда Уайльд, запасшись, как водится, экземплярами "Стихотворений" и рекомендательными письмами, отправится уже через месяц после возвращения из Америки писать "Герцогиню Падуанскую", он тратил их направо и налево.

Во-вторых, наметилась перспектива продолжить чтение лекций — правда, не в Австралии, а дома, в Англии, а также в Шотландии и Ирландии, "цивилизовать провинцию", как называл эту свою деятельность Уайльд. И не только провинцию: Уайльда позвали даже в Королевскую академию — большая честь для человека без специального искусствоведческого образования, даже если человек этот — "апостол Красоты". Уайльд не отказывался ни от чего, ведь за лекции очень неплохо платили, деньги же были очень нужны — и не только на собственные, как обычно немалые, расходы, но и на состарившуюся мать. Леди Уайльд никогда не жаловалась, держалась, на то она и гранд-дама, молодцом, но без помощи младшего сына оплачивать свои счета могла теперь далеко не всегда. Еще совсем недавно Уайльд сам брал у матери в долг, теперь же настал черед Сперанцы. На старшего же Уилли положиться было нельзя: он и себя-то, несмотря на бойкое журналистское перо, толком прокормить не мог, помочь ему "выплыть" могла разве что богатая невеста. Три лекции Уайльда, во многом благодаря недюжинному организаторскому таланту все того же Морса, уже были заявлены: "Мои впечатления об Америке",

"Красивый дом" и "Красота, вкус и безвкусица в одежде", причем первая должна была состояться (и в конце мая 1883 года состоялась) в самом центре Лондона, на Пикадилли, в престижном "Принсез-холле". И не беда, если британский эстет номер один позволял себе банальности вроде: "Художники должны не копировать красоту, а создавать ее", — громкая слава искупала любые промахи.

В-третьих, известность Уайльда продолжала неуклонно расти: после американского опыта к славе превосходного собеседника и острослова добавилась не менее громкая слава увлекательного рассказчика. И — безжалостного критика: дифирамбы в адрес Америки остались в Америке; по возвращении из-за океана Уайльд сменил милость на гнев. В эссе 1889 года "Упадок лжи" он будет рассуждать о грубом, торгашеском духе американцев, об их "плоском материализме", о "равнодушии к поэтической стороне бытия"[1]. А также — о скудости воображения и отсутствии у "языческого племени" высоких идеалов. В подтверждение антиамериканизма Уайльда биографы любят цитировать его слова: "Хороший американец, когда умирает, отправляется в Париж". Но у этого афоризма есть продолжение, для "языческого племени" куда более обидное: "А куда отправляется плохой американец? — В Америку". Об "огромном запасе доброжелательности" Уайльда писали многие его современники, упоминали о ней и мы. Однако о том, сколь эта доброжелательность была недолговечна, а порой и обманчива, лучше всего, пожалуй, сказал английский режиссер Эдвард Гордон Крэг, неплохо Уайльда знавший. "В нем не было ни малейшей злобы, — читаем мы в дневнике Крэга (запись от 22 июля 1893 года), — и был огромный запас доброжелательности, и его лесть порождалась этой доброжелательностью. Он льстил, потому что был добр, — но горе тому дураку, кто принимал эту лесть за чистую монету"[2]. Сомнительно, чтобы "языческое племя" — по крайней мере, его наиболее проницательные представители — заблуждалось на сей счет.

Как бы то ни было, самоутвердиться за счет заокеанских "язычников" Уайльду не составляло труда, без его забавных, издевательских и шокирующих историй "из американской жизни", которым далеко не все верили, не обходилась ни одна великосветская гостиная, ни один знатный дом. В том числе и в Париже. За три с лишним месяца пребывания во французской столице острый ум Уайльда, его наблюдательность,

1. Перевод А. Зверева.
2. Перевод К. Атаровой.

вкус и артистизм оценили и Сара Бернар, и Дега, и Верлен, и Эдмон Гонкур, и издатель радикальной газеты "Призыв", англоман Огюст Вакери, с которым Уайльд любил поговорить об английской поэзии. В парижских литературных салонах, в театрах — и в партере, и в актерских уборных, — в мастерских художников, среди импрессионистов и поэтов-декадентов он вскоре сделался своим человеком. Был своим человеком и в Лувре, куда ходил, как на работу, и часами простаивал перед статуей Венеры Милосской, ведь сам же многократно повторял: "Нет ничего более истинного, чем Красота".

В четвертых, в марте того же 1883 года Уайльд заканчивает "Герцогиню Падуанскую" и с энтузиазмом пишет в Америку Мэри Андерсон, что это — "шедевр моей юности". Шедевр юности Уайльда, романтическая трагедия в духе "Гамлета" и "Сида", где мститель Гвидо Ферранти, подобно Вере Сабурофф, разрывается между любовью и долгом, заказчице, Мэри Андерсон, понравился не слишком. "Пьеса в ее теперешнем виде, боюсь, не устроит публику... провал не нужен ни Вам, ни мне... роль герцогини не для меня..." — написала она Уайльду в ответном письме. И чтобы подсластить пилюлю: "По-прежнему пребываю в восхищении от Ваших талантов". Уайльд, однако, не падает духом: ведь остается еще "Вера". Мари Прескотт, в отличие от Мэри Андерсон, готова играть заглавную роль; Уайльд пошел ей навстречу: целиком переписал второй акт, ввел любовную сцену в конце четвертого — и в августе, полный радужных надежд, вновь собирается в Америку на заключительные репетиции и премьеру. Уайльд еще не знает того, что знаем мы: "Вера" продержалась на подмостках нью-йоркского театра недолго. На премьере с последнего акта уходили, рецензии, за вычетом двух-трех, были довольно кислые, основной их тон был: "Долой нигилизм!" и "Скучно!", а "Нью-Йорк таймс" выразилась начистоту: "Уайльд — шарлатан и любитель, а его пьеса лишена всякого смысла!" Досталось и Мари Прескотт: "Второсортная актриса, только и умеет что брюзжать — на сцене и за сценой!" В качестве последнего средства, чтобы попытаться любой ценой "спасти" спектакль, Мари Прескотт предложила Уайльду самому сыграть роль князя Павла. Или хотя бы выступить в конце, перед уже опустившимся занавесом, с зажигательной речью. Уайльд отказался, ни тот ни другой вариант его не устраивал, и спектакль спустя неделю был снят. Но весной 1883 года Уайльд, повторимся, всего этого еще не знает. Не знает и предвкушает...

На подъеме Уайльд был еще и потому, что поменял "имидж": эпатировать было больше некого. После Америки он гораздо меньше рассуждает об эстетстве и эстетах, одевается

куда строже — по французской моде тех лет, забывает про лилии и подсолнухи, коротко стрижется — как сам говорил, "под Нерона". О чем торжественно сообщает Роберту Шерарду, своему парижскому приятелю, второсортному поэту и будущему биографу: "Теперь перед вами Оскар Уайльд второго периода, и он не имеет ничего общего с джентльменом, носившим длинные волосы и ходившим по Пикадилли с подсолнухом в руке". Эту реплику, как всегда остроумно, обыграл давний "друг" эстетства журнал "Панч": "Распродается имущество известного эстета, который уходит из бизнеса. Как то: увядшие лилии в товарном количестве, засохшие подсолнухи, растрепанные парики и маловразумительные стишки". "Никто меня не узнает, — не без гордости писал Уайльд матери по возвращении в Лондон из Парижа летом 1883 года. — Все мне говорят, что я заметно помолодел..." А еще говорят, что он, постригшись, многое потерял. "После того как Оскар постриг волосы... звезда его закатилась", — заявила — и ошиблась — "Пэлл-Мэлл газетт". Произошло все ровно наоборот — взошла.

В шестых... но о шестом поводе для оптимизма следовало бы рассказать подробнее, а для этого — вернуться на несколько лет назад.

В далеком уже июне 1881 года, когда Уайльд еще пребывал "под сенью девушек в цвету", Лилли Лэнгтри и двух Элен, Терри и Моджески, — его вместе с матерью пригласили на чашку чаю в особняк на Ланкастер-гейт. Пригласили, понятное дело, неспроста. Принадлежал особняк юристу "старой школы" Джону Хорейшо Ллойду, давшему приют своей внучке, юной Констанс Мэри Ллойд, невесте на выданье. Жила Констанс у нелюдимого, замкнутого деда "без всякой славы", в свет выходила мало, а меж тем обладала всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Была хороша собой, богата, умна, скромна, прекрасно образованна, знала языки, французский и итальянский в совершенстве, играла на фортепиано. И что, может быть, самое главное, отличалась покладистым, при этом сильным характером, была отзывчива, обаятельна и вовсе лишена легкомыслия молодости. Одним словом, невеста хоть куда — не чета прежним увлечениям Уайльда вроде Флоренс Болком или Вайолет Хант, дочери художника-прерафаэлита Уильяма Холмена Ханта. К деду с теткой Констанс переехала за отсутствием родителей: отец, тоже юрист, Хорас Ллойд рано умер, а еще раньше разошелся с женой, мать была замужем вторым браком, и ей было не до Констанс и ее старшего брата, необычайно, как бывает, когда дети растут без родителей, к сестре привязанного. Ответный визит заставил себя ждать некоторое время, однако состоялся, после чего

Сперанца дала понять сыну, что от *такой* невестки не отказалась бы. Молодые люди стали видеться, увлеклись друг другом, в их вкусах и привычках нашлось немало общего. Потом в наметившемся было взаимном расположении наступает полуторагодовой перерыв: Уайльд сначала ездит с лекциями по Америке, а потом живет в Париже. После же возвращения из Парижа встречи возобновляются, и 21 ноября 1883 года Констанс, которая в это время гостит в Дублине, узнает, что Оскар приехал прочесть пару лекций и выступит в "Гейти тиэтр". Она приходит на лекцию в окружении сонма родственников, после лекции приглашает Оскара на чашку чаю, спустя еще два дня присутствует на второй лекции — "Мои впечатления об Америке", а еще через три пишет брату Отто: "Готовься услышать невероятную новость. Я помолвлена с Оскаром Уайльдом и абсолютно, безмерно счастлива!"

Почему Уайльд решил жениться? При его уже давшей себя знать нетрадиционной сексуальной ориентации вопрос не праздный. Одни говорят, что потому и женился, чтобы скрыть эту самую нетрадиционную ориентацию, чтобы быть "как все", ведь его увлечения молодыми людьми тайной не были: Эдмон Гонкур подметил, что у Уайльда "сомнительные сексуальные наклонности", а "Нью-Йорк таймс", которая, как мы убедились, не слишком жаловала "апостола Красоты", называла его "двуполым". Другие утверждают, что женился Уайльд на деньгах или же под нажимом матери: у леди Уайльд почти сразу установились с Констанс дружеские, доверительные отношения "помимо" Оскара; нежные письма невестке Сперанца подписывала так же, как и сыну, на своем любимом итальянском — "La Madre devotissima"[1]. Третьи — что в Констанс Уайльда прежде всего подкупили ее верность, готовность во всем подчиняться спутнику жизни, его взглядам, привычкам, вкусам. "Когда ты станешь моим мужем, — писала жениху после помолвки будущая миссис Уайльд, — я прикую себя к тебе любовью и преданностью..." Четвертые — что Констанс сразу же и бесповоротно поверила в гениальность жениха, и это решило дело. Действительно, надо было быть Констанс, чтобы похвалить, например, "Веру". "Если пьесу принимали плохо, — с завидной лояльностью пишет она жениху в ноябре 1883 года, спустя три месяца после провала, — то либо актеры неважно играли, либо публика была настроена против тебя". "Она знает, что я величайший поэт современности, — писал приятелю Уайльд, — так что в литературе она разбирается недурно".

1. "Преданная мать" (*итал.*).

Уайльд, как всегда, иронизирует, но в данном случае его самоиронию преувеличивать не стоит. Полушутя полусерьезно отвечает Уайльд и на вопрос, за что полюбил Констанс он: "Она мало говорит, и мне всегда интересно, что она при этом думает". Ближе же всего к истине, однако, был бы самый банальный ответ на вопрос, почему Уайльд женился "на этом юном, чрезвычайно серьезном и загадочном создании", как он отозвался о невесте в письме американскому скульптору Уолдо Стори. Во-первых, потому что, пусть и ненадолго, влюбился. А во-вторых, потому что *пришло время* жениться, а это, согласитесь, аргумент, хоть и довольно расплывчатый, зато мудрый: он, в сущности, примиряет все точки зрения.

Как бы то ни было, начиналось все лучше некуда. Вторую половину 1883-го и начало 1884 года Уайльд разъезжает с лекциями по английским, шотландским и ирландским городам и весям. "Сегодня я в Брайтоне, завтра в Эдинбурге, а послезавтра в Корнуолле", — жалуется он невесте, с которой то и дело разлучается и обменивается нежными письмами и телеграммами, порой по несколько в день. Эпистолы полны любовных восклицаний с обеих сторон: "Моя единственная любовь!" — "Мой дорогой, только мой Оскар!" Расставаясь с Констанс всего-то на несколько дней, Уайльд безутешен. Вот выдержки из его писем невесте, где он, сын своей матери, дает волю чувствам: "Воздух наполнен музыкальными звуками твоего голоса. Мои душа и тело, кажется, больше не принадлежат мне, а слиты в каком-то утонченном экстазе с твоей душой и телом. Без тебя я чувствую себя опустошенным". Или: "Моя дорогая и горячо любимая!.. О гнусная правда жизни, что не позволяет нашим губам слиться в страстном поцелуе, хоть души наши и одно целое!.. Без тебя я не живу!.." Уайльд, однако, живет и даже, отбросив привычную лень, усердно зарабатывает изрядно надоевшими ему лекциями себе на свадьбу — чего не сделаешь при такой "мотивации". Брак тем не менее был в финансовом отношении неравным. На два неудобных вопроса Джона Хорейшо Ллойда, который, впрочем, жениху симпатизировал, каково его, Уайльда, финансовое положение и каковы его долги, жених не дал, да и не мог дать, сколько-нибудь внятного ответа.

Свадьбу сыграли при минимальном числе гостей и максимальном освещении в прессе. Из светских колонок ведущих лондонских и дублинских газет любопытствующий получал полное представление о том, как были одеты невеста и мать жениха, кто те немногие счастливцы, что удостоились приглашения в церковь, как держались жених и невеста. А держались они (таков был общий глас) выше всяких похвал. "Жених по-

целовал невесту спокойно и с достоинством", — провозгласила "Кентербери таймс". Из-под венца молодые отбыли, и не куда-нибудь, а в Париж, где сняли номер в недешевом "Ваграме" на улице Риволи окнами на Тюильри. И все три недели медового месяца интенсивно культурно развлекались. Опера, Лувр, мастерские импрессионистов, Салон, где в это время вывешены две картины Уистлера, "Макбет" в театре "Матен" с Сарой Бернар в роли леди Макбет. Уайльд сочиняет стихи по-французски: "Impressions de Paris", "Le Jardin des Tuileries", читает "Красное и черное" Стендаля и только что вышедший и наделавший в Париже много шуму роман Гюисманса "Наоборот", эту "настольную книгу декадента", с которой потом будут сравнивать "Портрет Дориана Грея". Ходит с женой и друзьями по ресторанам, на приемы — однажды даже молодые устроили свой собственный. Шерард засвидетельствовал пламенную любовь Уайльда к молодой жене, припомнив, как они с Уайльдом, оставив Констанс в гостинице, отправились прогуляться и как Уайльд, не прошло и получаса, послал жене огромный букет (лилий, разумеется) с нежной запиской. Засвидетельствовала любовь мужа к жене и жены к мужу и всезнающая пресса. "Он обожает свою робкую юную жену и гордится ею, — говорилось в одном лондонском таблоиде. — Проявляет, что для мужа редкость, огромный интерес к ее туалетам... Он ее наставник в вопросах культуры и вкуса, профессор в искусстве любви, он центр ее вселенной".

По возвращении из Парижа в конце июня Уайльд вновь отправляется читать лекции, но на этот раз расстаются молодожены ненадолго. На дублинскую лекцию "Красивый дом" слушателей пришло маловато: соотношение цены и качества, как видно, оказалось не в пользу лектора и устроителей, и стало ясно, что "лекционный период" в жизни Уайльда близок к завершению, отчего, впрочем, отношения Оскара и Констанс только выиграли. И тут тема "красивого дома" получает иное, реальное, воплощение. Молодым, до того жившим по чужим домам и квартирам, подвернулось собственное жилье, да еще какое! Давно хворавший Джон Хорейшо благополучно — и очень вовремя — скончался, и в январе 1885 года Уайльды въехали в его четырехэтажный дом на Тайт-стрит, в двух шагах от "братьев эстетов", Фрэнка Майлза и Джеймса Уистлера. Сильно устаревшая обстановка особняка Уайльда, придерживавшегося прогрессивных взглядов, устроить никак не могла, а то, что не устраивало мистера Уайльда, не устраивало и миссис Уайльд. Предстояло создать "красивый дом", на этот раз не на бумаге, а в жизни, и Уайльды взялись за дело — сообща и с завидным энтузиазмом. Гнездышко было свито за какие-нибудь

полгода и поразило воображение даже видавших виды знатоков. Усилиями испытанного Эдварда Годвина, а также Уистлера и самого Уайльда дом на Тайт-стрит, 16 стал вызовом мрачноватым интерьерам викторианских особняков. И гостиная, и кабинет хозяина дома, и спальня, и холл, и камин, и занавески были решены в светлых, бело-желто-голубых тонах, как нельзя лучше передававших радостное, жизнеутверждающее настроение молодоженов. На этом лучезарном фоне особенно броско смотрелись красная скатерть и красный же абажур, а также расписанный золотыми драконами потолок, на что обратил внимание пришедший на Тайт-стрит, 16 одним из первых двадцатилетний Уильям Батлер Йейтс. На стенах висели рисунки и гравюры Бёрн-Джонса, венецианские этюды Уистлера — свадебный подарок молодоженам, а над письменным столом хозяин дома повесил, забрав в рамку, тот самый оригинал сонета Китса, который привез из Америки. Не было недостатка, как и во всех домах, где доводилось жить Уайльду, в изящных статуэтках, в светлой — в тон стен и пола — мебели, в лилиях и подсолнухах, стоящих в напольных голубых вазах.

Все, одним словом, шло "по плану"; предусматривал план и череду приемов, "разогревавших" — если буквально перевести с английского — новый дом. На новоселье присутствовал весь лондонский культурный бомонд. Поэтический цех представляли Роберт Браунинг и Алджернон Чарльз Суинберн, прозаический — Джордж Мередит, театр — Генри Ирвинг, Эллен Терри, сэр Бирбом Три и, конечно же, Лилли Лэнгтри, изобразительное искусство — Рёскин, Бёрн-Джонс, Уистлер и еще один небезызвестный "европейский американец" — Джон Сингер Сарджент. Дело теперь было за потомством — какая счастливая семья без детей? И потомство не заставило себя ждать: летом 1885 года у Уайльдов рождается первый сын, любимчик родителей Сирил, а спустя полтора года — второй, Вивиан.

Все атрибуты счастливого брака были теперь налицо. Вот только пылкая любовь Оскара к Констанс, еще совсем недавно "изящной маленькой Артемиде с глазами-фиалками, копною вьющихся каштановых волос", после рождения второго сына пошла, увы, на убыль. Во всяком случае, теперь его часто и подолгу не бывает дома. Не он ли сам говорил: "Для сохранения здоровых отношений в семье хозяина дома не должно быть ни видно, ни слышно"? Когда же супруга принимает гостей, муж либо отсутствует вовсе, либо приходит к десерту. И, возможно, не без задней мысли — есть, мол, у меня дела и поважней. Мягко ступая, не торопясь, статный, высокий, раздобревший хозяин дома пересекает гостиную, облокачивается на каминную полку из белого мрамора, смотрит

со скучающим видом поверх гостей. Тонная, язвительная улыбка, надменный изгиб губ, в откинутой руке дымящаяся сигарета, сиреневая сорочка, светло-фиолетовый галстук. Еще мгновение, и он заговорит; его монолог перенасыщен неожиданными, броскими сравнениями, тонкой иронией, неиссякаемым острословием. Таких людей французы называют causeur — краснобай, говорун, но без отрицательного оттенка этих русских синонимов. Точно таким же он представал в литературном салоне своей матери; падкая до сенсаций светская молодежь заполняла гостиную Сперанцы, если на приглашениях значилось: "Ожидается мистер Оскар Уайльд". Точно так же он будет выходить на сцену после окончания спектакля по его пьесе: занавес опустился, а баловень судьбы стоит на авансцене с сигаретой в зубах и терпеливо ждет, когда улягутся аплодисменты. Образ давно выстроен, все продумано до мелочей — каждый жест, каждый поворот головы, каждая самая неприметная деталь туалета. Творит себе легенду — вот только Констанс в этой легенде с каждым годом, каждым месяцем занимает все меньше места.

Вместе с тем скандалов в семье не бывает, "здоровые отношения" превыше всего — выяснять отношения на Тайт-стрит не принято. Констанс любит Уайльда ничуть не меньше, чем в первый день после свадьбы, называет его в письмах "мой герой", "мой бог", не устает повторять общим знакомым, что его не стоит. Ведет же себя в высшей степени достойно, не попрекает мужа за то, что тот не уделяет ей внимания, она не опускается до разговоров о деньгах, хотя тема эта остается весьма актуальной. Верно, Констанс получила от деда немалое наследство, Уайльды не бедствуют, но муж, как и прежде, деньги тратит легко, делает долги, любит шутить, что тех, кто долг возвращает, скоро забывают.

Уайльду же с женой стало скучно, он вообще — будь то книги, спектакли, картины или люди — быстро загорался и быстро остывал. Когда же он "остыл" к жене? Если верить Фрэнку Харрису (а верить ему можно далеко не всегда), Уайльд разлюбил Констанс, когда та, забеременев, подурнела. "Когда я женился, — признавался будто бы Уайльд другу, — моя жена была красивой девушкой, белой и изящной, словно лилия, с пляшущими глазами и веселым, заразительным смехом, звучащим, как музыка. Примерно через год все ее изящество куда-то подевалось; она подурнела, стала грузной, бесформенной". "Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны"[1], — вторит

1. Здесь и далее роман "Портрет Дориана Грея" цитируется в переводе М. Абкиной.

автору один из героев "Портрета Дориана Грея" лорд Генри Уоттон: его опыт общения с представительницами слабого пола мало чем отличается от опыта Уайльда. При этом Уайльд оставался с Констанс ласков, вежлив, предупредителен, посвящал ей свои сочинения — второй сборник сказок "Гранатовый домик", к примеру. Со стороны охлаждения между супругами не было заметно. Констанс вела себя, как и прежде, — на людях во всяком случае. Уайльд же, если верить корреспонденту еженедельника "Летучая мышь", встретившему его на утреннем спектакле с участием Лилли Лэнгтри, "выглядел подавленным и задумчивым", что, впрочем, ни о чем еще не говорит. У Констанс был, пожалуй, лишь один серьезный недостаток: у нее отсутствовало чувство юмора. В сочетании с некоторым переизбытком добропорядочности и несколько нарочитой религиозностью недостаток этот становился проблемой — тем более по контрасту с язвительностью и цинизмом (пусть и напускным) мужа. Приятель Уайльда, поэт-декадент Ричард Ле Гальенн, вспоминает, как за обеденным столом в доме Уайльдов зашла как-то речь о миссионерах, и Констанс, естественно, принялась с горячностью превозносить их веру и чувство долга.

"— Миссионеры, дорогая? — перебил ее Уайльд. — Неужели ты не понимаешь, что Господь послал миссионеров в пищу обездоленным, живущим впроголодь людоедам? Всякий раз когда каннибал должен умереть от голода, Небеса в своей бесконечной милости посылают ему аппетитного, пухленького миссионера.

— О, Оскар! — вскричала Констанс с выражением нескрываемого ужаса на лице. — Ты что, серьезно?! Нет, ты шутишь!"

Очень точно определил отношение Уайльда к Констанс журналист и детский писатель Артур Рэнсом — он, как и Ле Гальенн, не раз бывал у них в доме. "Она из тех женщин, — заметил однажды Рэнсом, — имена которых мужья, вовсе не желая их обидеть, предваряют эпитетами 'моя бедная дорогая...'"

В этой биографии слово "парадокс" встречается очень часто, быть может, слишком часто. Вот еще один. Уайльд равнодушен к подруге жизни, он, "ее профессор в искусстве любви", пренебрегает своими супружескими обязанностями — и при этом привязан к детям, уделяет им немало времени. Подолгу читает сыновьям, особенно когда они болеют: в детстве оба были хворыми, особенно младший. И не только читает, но и поет: состоит отцовский репертуар в основном из ирландских народных песен, их некогда напевал ему сэр Уильям. Читает, в том числе и книжки собственного сочинения, поет, но не забывает и воспитывать — на свой манер, с неизменным юмо-

ром. Обклеивает стены детской напоминаниями о том, что утром и перед сном следует возносить молитвы Господу, не лениться и рано вставать. К последнему нравоучению имелась приписка: "Только не берите пример с вашего отца и, когда вырастите, хотя бы изредка садитесь завтракать не позже двух часов дня". А может, позабыв про нравоучения, с азартом подростка играть с детьми в шумные игры: этот одетый с иголочки, большой и нескладный денди часами ползал на четвереньках по детской и громогласно рычал, изображая медведя или льва. Когда же отец исчезнет из их жизни, братья долго будут ощущать эту утрату, доживший до старости младший сын, литератор и переводчик Вивиан (старший погибнет в Первую мировую), подробно напишет об этом в своих воспоминаниях.

Констанс же, "бедная дорогая" Констанс, словно оправдывая свое имя[1], по-прежнему считает Оскара, как выразился лондонский таблоид, "центром своей вселенной", в холодности мужа ругает себя — чем-то, значит, не угодила, чего-то не поняла. Как тут вновь не вспомнить лорда Генри, поучавшего еще неопытного Дориана Грея: "Женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему пропал..." Шестого акта в мелодраме "Бедная дорогая Констанс" не будет, интерес Уайльда к "спектаклю" пропал, Констанс, тем не менее, в письмах брату и подругам твердит, *как* же ей повезло в жизни и *как* они с Оскаром любят друг друга. Твердит так часто, что возникает некоторое подозрение: уж не начинает ли она сама в этом немного сомневаться?

"Прошла любовь, явилась муза". В полном соответствии с этой пушкинской формулой, младшее поколение Уайльдов — как и старшее лет за тридцать до них — компенсирует оскудевшую личную и семейную жизнь жизнью светской, общественной, творческой.

Препоручив сыновей няне, Констанс, со свойственными ей пылом и упорством, из "домашней" жены преображается в деловую женщину, заводит светские и деловые связи.

Устраивает пышные приемы, которые называет "домашними посиделками" ("at-homes"). Посиделки становятся популярными, а их хозяйка приобретает статус законодательницы мод, у нее берут многочисленные интервью, а в ноябре 1894 года популярный журнал "Сегодня", который, кстати сказать, возглавлял тогда Джером Клапка Джером, публикует большой материал о вкусах миссис Уайльд, ее доме, детях, пристрастиях под броским названием: "Миссис Оскар Уайльд у

1. Constance — постоянство (*франц.*).

себя дома". Хозяин же особняка на Тайт-стрит "посиделками" пренебрегает. Чего не скажешь о его старшем брате: на каких только приемах, раутах и вечерах не бывал в поисках богатой невесты Уилли — в это время театральный критик авторитетного журнала "Ярмарка тщеславия". И поиски увенчались успехом, увы, мимолетным: Констанс на одном из своих "эт-хоумс" свела его с богатой американкой, даром что мулаткой, вдовой крупного коммерсанта, оставившего жене неплохое наследство — несколько периодических изданий. Вскоре после знакомства состоялась свадьба, Оскар был приглашен, но демонстративно не явился, молодые отбыли за океан, но продлилось счастье недолго: миссис Фрэнк Лесли была не из тех, кто терпит безделье и пьянство супруга. Отправив Уилли восвояси без гроша за душой, она заявила репортерам: "От него не было толку ни днем, ни ночью". Примечательно, что темнокожая миссис Лесли-Уайльд была старше Уилли на двадцать лет...

Культурно развлекается. Ходит по гостям, на вернисажи, в театры, на приемы, званые обеды, аукционы — и не с Уайльдом, который предпочитал выходить в свет без жены или же вовсе отсутствовал, а, как читатель уже догадался, с подругой номер один, со своей свекровью. Сперанца в Констанс души не чаяла, относилась к ней, как к дочери, и Постоянство платило Надежде тем же. Констанс чуть ли не ежедневно переписывалась со свекровью, посвящала ее — при своей-то замкнутости — в свои дела и заботы. При этом никогда не жаловалась, была постоянной гостьей ее светского салона — в отличие от ее царственного сына, который не часто удостаивал своим посещением не только журфиксы супруги, но и матери. Когда Уайльд отсутствовал особенно долго — только в одном 1891 году он побывал в Париже трижды, и все три раза без жены, — Констанс проявляет трогательную заботу о постаревшей леди Уайльд, исправно навещает ее на Оуклистрит, распоряжается, чтобы у нее было все необходимое. Сперанца в долгу не остается. Искренне жалея невестку, да и не желая выносить сор из избы, пишет Оскару умоляющие письма. Вот как кончается письмо леди Уайльд сыну, в котором она превозносит его роман "Портрет Дориана Грея": "Вчера вечером у меня была Констанс. Она так мила со мной. Я к ней ужасно привязалась. Возвращайся же домой, и поскорей. Она очень одинока и тоскует без тебя".

Взялась, чтобы не тосковать, за перо. Сочиняла статьи об истории одежды, которые печатала в гламурных, говоря сегодняшним языком, журналах, для чего часами просиживала в Британском музее. Сотрудничала с феминистским журналом

"Женский мир", который одно время, пока не надоело (не ходить же в редакцию каждое утро!), издавал ее знаменитый супруг. В "Женский мир" тоже писала про историю одежды, за два года существования журнала сочинила две статьи — о современной детской одежде и муфтах. Писала также о том, как следует одеваться, одна ее публикация так и называлась: "Одевайтесь с умом". Писала и в газету Общества рациональной одежды (имелось и такое). Сама эту газету основала и одно время возглавляла; на ее страницах, а также в лекциях, которые читала от Общества, беззаветно воевала с тугими корсетами и туфлями на высоком каблуке: не зря же считается, что феминизм — прибежище несчастливых женщин.

Однажды попробовала себя в роли романистки: села сочинять роман в духе своего любимого Гюго, но далеко не продвинулась. И сказительницы: выпустила в свет две книжки сказок. Первая так и называлась: "Сказки моей бабушки", название второй носило оттенок еще более ностальгический — "Давным-давно". Забавно, что сказки мистер и миссис Уайльд сочиняли примерно в одно и то же время — правда, с разным успехом.

Вслед за свекровью, дотошно работавшей над фольклорным наследием сэра Уильяма, составила сборник афоризмов своего знаменитого мужа. Назвала сборник "Оскариана" и включила в него многие знаменитые изречения Уайльда, впоследствии с ее легкой руки вошедшие в антологии юмора, сатиры, бессчетные словари афоризмов. Но это впоследствии. В январе же 1895 года "Оскариана" вышла, прямо скажем, не массовым тиражом — пятьдесят экземпляров. Правда, второй тираж, напечатанный спустя четыре месяца, в четыре раза превысил первый. При жизни Уайльда его афоризмы пользовались куда большим спросом не на бумаге, а за обеденным столом.

После неудачной попытки стать актрисой (лавры близкой подруги мужа, Лилли Лэнгтри, как видно, не давали ей покоя, своего же принца Уэльского у Констанс, увы, не нашлось) занялась театральной критикой, благо было кому свести ее с людьми театра, объяснить, кто есть кто в лондонском театральном мире. Рецензии на спектакли Констанс удавались лучше, чем газетные и журнальные статьи про одежду, тем более — сказки или романы: она всегда, еще до Уайльда, любила театр, была наблюдательна, не лишена вкуса, владела пером. Но, во-первых, свое авторство она упорно скрывала, писала, как правило, анонимно. И не столько из скромности, сколько оттого, что явление "женщина — театральный критик" плохо вязалось с викторианским укладом. А

во-вторых, ее куда больше интересовали туалеты зрителей, нежели игра актеров. Когда читаешь ее рецензию на "Венецианского купца", где Генри Ирвинг блистательно играл Шейлока, создается впечатление, что большую часть премьерного спектакля в театре "Лицеум" Констанс просидела спиной к сцене и лицом к зрительному залу.

Занималась филантропией и политикой. Энергично собирала деньги для сиротских приютов, вступила в Либеральную ассоциацию женщин Челси при Либеральной партии, видным членом которой был некогда ее дед. В этой ассоциации, благодаря упорству, сверхнадежности и добросовестности, стала вскоре играть ведущую роль. Участвовала в выборах в Совет лондонского графства, куда с 1888 года получили доступ представительницы слабого пола. Стала выступать. В апреле 1888 года делает доклад на конференции, организованной Женским комитетом Международной ассоциации арбитража и мира. Первого сентября 1889-го отправилась, уговорив пойти и мужа, которому на этот раз не удалось сослаться на дела, в Гайд-парк на митинг в поддержку бастующих докеров, где также выступила с пламенной речью.

Увлеклась спиритизмом: добросовестно, как и все, что она делала, вращала блюдечки и вызывала души умерших. Восторженно приветствовала приехавшего в Лондон "живого классика жанра", теософа номер один Елену Петровну Блаватскую.

Чего не сделаешь от безысходности.

Глава седьмая. "Не бывает книг нравственных или безнравственных"

2

"Искусству дела нет ни до каких моральных одобрений и порицаний".

Эта мысль из "Пера, полотна и отравы" проходит рефреном в письмах Уайльда, которые он в конце июня — начале июля 1890 года, спустя неделю после выхода в свет журнального варианта "Портрета Дориана Грея", направляет в газеты и журналы в ответ на критические отзывы на свой скандальный роман. Роман, написанный по инициативе уже известного нам американца Стоддарда, издателя ежемесячного журнала "Липпинкотс мансли мэгэзин". То ли Стоддард предложил Артуру Конан Дойлу и Уайльду, у него в тот вечер ужинавшим,

сочинить в течение полугода для "Липпинкотс" по роману, то ли Конан Дойл и Уайльд, разгорячившись от выпитого, сами вызвались это сделать. Как бы то ни было, победителей в этом "соревновании" не оказалось. Спустя без малого год (за полгода не управились) на редакционном столе лежали две рукописи: "Знак четырех" Конан Дойла и "Портрет Дориана Грея" Уайльда.

Уайльд пишет письмо за письмом, адресуя их и издателям, и рецензентам, однако его спор с критиками — это разговор слепого с глухим: критики его не слышат, они почти единодушно обвиняют Уайльда в безнравственности, что, между прочим, чрезвычайно встревожило Констанс. "С тех пор как Оскар написал 'Дориана Грея', — пожаловалась она в письме к брату, — с нами перестали разговаривать". Жалобы Констанс — явное преувеличение, но контуры будущего скандала уже намечаются. Мало сказать, в безнравственности — в безнравственности, позаимствованной у французов, известных развратников. "Эта история позаимствована из прокаженной литературы французских декадентов, — писал в июле 1890 года рецензент "Дейли Кроникл". — Вредная книга, отдающая зловонными испарениями морального и духовного разложения".

Итак, Уайльду "шьют аморалку". Уайльд же решительно отказывается рассматривать свое произведение — как, впрочем, и любое другое — в категориях "моральный — аморальный". Повторяет, точно заклинание, уже многократно им говорившееся. "Не могу понять, как произведение искусства можно критиковать с моральной точки зрения". "Искусство и мораль несочетаемы". "Не бывает книг нравственных или безнравственных". "Художник творит не для того, чтобы читать мораль, а чтобы доставить себе удовольствие". Автор рецензии в "Скотс обсервер" заявил, что ему неясно, что же все-таки предпочитает автор — добродетель пороку или порок добродетели, на что Уайльд в письме редактору журнала, поэту и журналисту Уильяму Эрнсту Хенли, лапидарно возразил: "У художника не бывает никаких моральных предпочтений". Самым нелицеприятным из двухсот с лишним отзывов на роман можно считать рецензию обозревателя "Сент-Джеймсез газетт" Сэмюэля Генри Джейса, которую тот не без яда назвал "Изучение фатовства" ("A Study in Puppydom") и которую, обращаясь напрямую к автору, закончил провидчески: "Если все, что Вы написали, — всерьез, то не удивлюсь, если в самом скором времени Вы окажетесь в полицейском участке". А самым лестным, конечно же, — Сперанцы: "Лучше тебя сегодня не пишет никто. Когда читала последнюю сцену твоей книги, чуть было не лишилась чувств". Ее бы устами...

Одним словом, Уайльд и его критики говорят на разных языках. И не о том. Вернее, автор, отстаивая свою точку зрения, говорит с ними не о том. Пишет о значении отрицательного "пиара", что, мол, английского читателя интересуют только аморальные книги. Что хорошие люди (это, видимо, в ответ на упрек, что у него в романе люди только плохие) банальны и "художественно неинтересны". Что герой должен быть выдуман, а не взят из жизни. Что художественная литература не должна подвергаться цензуре, "нельзя ограничивать свободу искусства". Что критики не понимают разницы между искусством и жизнью. (Что, кстати, случается довольно часто.) Что Дориан Грей не холоден и расчетлив, а, напротив, крайне импульсивен. (Как будто холодность и расчетливость не сочетаются с импульсивностью!) Что художник — повторимся — творит, исключительно чтобы доставить удовольствие самому себе. Что художнику, проще говоря, на читателя (зрителя, слушателя) наплевать.

Уайльд, по всей вероятности, понял, что разговора с критиками не получилось, ощутил необходимость объясниться, поставить точки над "i". Так рождается предисловие к роману, которое появляется в "Двухнедельном обозрении" через полгода после выхода в свет журнального издания романа и за два месяца до публикации издания книжного — кое в чем смягченного. Никакого предисловия в обычном понимании этого слова, собственно, нет. Есть два десятка афоризмов, первоначально — не без привычного уайльдовского кокетства — названных "Догмы для престарелых" ("Dogmas for the Aged"). Представляют собой "Догмы" основные тезисы эстетства, в которых наиболее часто повторяющееся слово — Красота (разумеется с большой буквы), а сквозная мысль, хорошо уже читателю известная: искусство бесполезно, писатель пишет исключительно для себя, нравственной или безнравственной литературы не существует.

О романе как таковом в этом "афористическом" предисловии не сказано ничего или почти ничего — разве что с каких позиций он написан. Не сказано, к примеру, что написал роман Уайльд *о себе*. О себе в трех лицах. Автор романа является прототипом сразу трех главных действующих лиц. Об этом, собственно, говорит и сам Уайльд. Спустя три года после выхода "Портрета" он пишет Ральфу Пейну: "В книге много от меня самого. Бэзил Холлуорд — это я, каким я себя представляю; лорд Генри — это я, каким меня представляет свет; Дориан — каким бы я хотел быть, возможно, в иные времена". Да, всех трех главных героев Уайльд писал с себя — до известной степени, естественно. Сказал же Бэзил Холлуорд,

что всякий портрет, написанный с чувством, — это портрет самого художника, а не его модели.

Художник Бэзил Холлуорд, как и Уайльд, — воплощение высокого служения искусству, эдакий "гений чистой красоты", за что он и поплатился жизнью, — определенная аналогия с Уайльдом просматривается и тут. А также — исключительной порядочности и верности. "Никакое предательство, пусть самое гнусное, никакое вероломство, пусть самое низкое, не замутнит для меня образ идеальной дружбы". Эти слова из письма Уайльда Шерарду, датированного 17 мая 1883 года, мог бы написать и Холлуорд; не потому ли Уайльд считал, что Холлуорд — "это я, каким я себя представляю"? У Холлуорда, впрочем, есть и еще один прототип. Если верить Ричарду Эллману, это некий Бэзил Уорд, тоже художник, которому Уайльд позировал в 1884 году. Закончив портрет, Уорд якобы сказал Уайльду: "Вот было бы прелестно, если бы вы остались таким же, как сейчас, а портрет ваш состарился". И брошенная вскользь фраза легла в основу романа. В паре "Холлуорд — Дориан Грей" Уайльд словно предвидел свои неравные, унизительные отношения с юным сэром Альфредом Дугласом. "Иногда, — признается Холлуорд лорду Генри, — он [Дориан. — *А. Л.*] бывает ужасно не чуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Я на всю жизнь пленен Дорианом". Пройдет несколько лет, и признание Холлуорда растянется в многостраничную исповедь Уайльда "De Profundis". С самим же Дорианом Холлуорд и вовсе говорит почти теми же словами, что Уайльд — с Бози[1]: "Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь — и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной". Так и кажется, что читаешь "Тюремную исповедь".

Лорд Генри Уоттон, как и Уайльд, — воплощение эстетства, гедонизма, эпикурейства. И праздности — оба превозносят праздность как норму жизни. Полностью первоначальное название программного эссе Уайльда "Критик как художник" звучало так: "Истинные задачи и назначение критики с некоторыми замечаниями о том, как важно ничего не делать". "Возведенное в культ безделье представляется мне достойным занятием для мужчины" — это написал в письме в "Скотс обсервер" Уайльд, но с тем же успехом мог бы обронить, лениво развалившись в кресле, и лорд Генри. Тут, впрочем, сходство между автором и одним из его героев, признаемся,

1. Домашняя кличка сэра Альфреда Дугласа, сожителя Уайльда.

натянуто. Лорд Генри ленив, как сказали бы сегодня, "по жизни". Уайльд же "играет лень", для него это скорее поза: язык не повернется назвать ленивым человека, который в одном только 1891 году выпустил четыре книги и сочинил две пьесы. Верно, Уайльд намного "продуктивнее" своего героя, но в остальном очень на него похож. Лорд Генри, как и Уайльд, предпочитает мужское общество женскому. Он не слишком страдает, когда от него уходит жена, постоянный круг его общения, как и для Уайльда, — мужчины, причем мужчины молодые, которых он учит жизни. В эти годы и Уайльд для многих юных творческих натур, большей частью выпускников университетов, своих эпигонов, также играл роль лорда Генри, был учителем — и искусства, и жизни, считался богом и этим пользовался. Для лорда Генри, как и для Уайльда, мысль — это всегда увлекательная, парадоксальная игра ума. И для того, и для другого красота и мораль не имеют никаких точек соприкосновения. В своих нравоучительных монологах лорд Генри воспроизводит идеи Уайльда из "Души человека при социализме", из "Упадка лжи" или из эссе "Критик как художник", вслед за Уайльдом рассуждает о "неоспоримой Красоте", о ее "высшем праве", о том, что "подлинный секрет счастья — в искании Красоты". Повторяет, чуть ли не слово в слово, теорию Уайльда о расплате за излишество и самоограничение. При этом отношение автора к своему герою при всем их сходстве не лишено известной иронии: лорд Генри — это, быть может, не столько Уайльд, сколько карикатура на Уайльда. И на уайльдов. Если угодно — автопародия. Когда-то, еще в Америке, Уайльд наряжался под Банторна. Теперь "наряжается" под лорда Генри Уоттона.

Дориана Грея, как уже говорилось, многое связывает с поэтом и отравителем Томасом Уэйнрайтом[1]. Но и с создателем Грея и Уэйнрайта — тоже. И Оскар, и Дориан эгоцентричны, экзальтированны. Оба стремятся сохранить молодость: читатель помнит, что Уайльд списывал себе два года, да и вообще молодился. Оба с легкостью, в одночасье, разлюбили любимых женщин. Уайльд — Констанс, Дориан Грей — актрису Сибил Вейн, оказавшуюся простой смертной, а вовсе не "богиней среди простых смертных". И тому и другому присущ культ чувственной жизни; Дориану Грею его привил лорд Генри, Оскару Уайльду — в определенной степени родители, потом — Оксфорд, эстетское окружение. И того и другого отличает "открытое добродушие и приветливость... обаятельная,

1. Герой эссе Уайльда "Перо, полотно и отрава".

почти детская улыбка". Обоих привлекает обрядность католической религии, церковные облачения, таинство жертвоприношения. Оба — и автор, и его герой — ведут двойную жизнь, о чем еще будет сказано. Как и в другом "Портрете", "Портрете мистера У. Х."[1], Уайльд повторит судьбу своего героя, "жаждущего утешений порока". В "Портрете Дориана Грея" он сам себя разоблачает, вкладывая — вспомним Фрэнка Харриса — оружие в руки своих врагов, когда описывает, как чистосердечный Холлуорд пытается добиться от развратника Грея ответа на вопрос, почему дружба с ним губительна для молодых людей, которых он заразил "безумной жаждой наслаждений": почему почтенные люди его сторонятся? ради чего он "развращает всех, с кем близок"? И этим оружием враги и завистники Уайльда не преминули воспользоваться. При столь разительном сходстве автора и главного героя нет ничего удивительного в том, что на процессе роман "Портрет Дориана Грея" использовался в качестве одной из улик против его создателя.

Не обратили внимание критики и на то, что Уайльд, которого Роберт Росс называл "бесстрашным литературным вором", многое позаимствовал из иноязычных литератур. Когда читаешь "Портрет", напрашиваются сравнения и с "Шагреневой кожей" Бальзака, и с романом "Наоборот" современника Уайльда, французского эстета и декадента Гюисманса, которым, как мы помним, Уайльд зачитывался в Париже во время своего медового месяца. И, конечно же, — с "Фаустом", ведь изначальная идея романа фаустовская: молодой человек продает душу в обмен на вечную молодость. Не обнаружили критики в романе и излюбленной, выношенной идеи Уайльда о том, что искусство выше жизни. Писатель выстраивает столь свойственную его афористическому дару парадоксальную формулу: герой сохраняет молодость и красоту внешне, зато стареет в душе, что отражается на его портрете. То есть суть его порочной натуры дает себя знать не в *жизни*, а в *искусстве* — стало быть, напрашивается вывод: искусство выше, проницательнее, реальнее жизни.

И в безнравственности критика обвинила Уайльда сгоряча: мол, аморален герой — значит, аморален и автор. Кстати говоря, именно это обвинение вызвало особенно болезненную реакцию Уайльда, заметившего в письме в "Скотс обсервер" от 9 июля 1890 года: "Ваш рецензент совершает вопию-

1. "Портрет мистера У. Х." — рассказ-эссе Уайльда о прототипе человека, которому адресованы "Сонеты" Шекспира.

щую, непростительную ошибку, пытаясь поставить знак равенства между художником и предметом его изображения". Ошибку — скажем от себя — довольно распространенную. В действительности же, своей притчей (а "Портрет Дориана Грея" можно прочесть и как притчу) Уайльд доказывает обратное. Раз Дориан многое заимствовал у Уайльда, раз он аморален и разрушает себя как личность — не означает ли это, что Уайльд, увидевший в Дориане Грее "свои собственные грехи", подвергает сомнению *свою* философию жизни? Что судьба героя — это трагедия эстетизма, что герой — жертва *своего* эстетского образа жизни? Не приходит ли писатель к выводу, что безнравственность и гедонизм в конечном счете ведут к духовному опустошению, к гибели? Что гедонизм — это вовсе не святость, о чем любил рассуждать Пейтер. Не следует ли из всего этого, что своим романом Уайльд осуждает ту самую безнравственность, в которой его, как он писал, "грубо и глупо" обвиняют. А значит, бывают-таки книги нравственные и безнравственные. И "Портрет" — вопреки всему, что пишет и говорит о романе автор, — нравственная книга. Вот и рецензент "Скотс обсервер" Чарльз Уилби, чуть ли не единственный критик, написавший на роман положительную рецензию, нашел в книге "уйму нравственного".

Сам Уайльд, боюсь, едва ли согласился бы с таким ходом мысли и — тем более — с такими выводами. Он ведь больше всего на свете боялся прослыть моралистом. А между тем был им, сам же писал Конан Дойлу, что мораль в его романе "слишком очевидна". Еще один парадокс.

Наталья Малиновская
Личное дело

Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли, –
Спасибо вам, вы хорошо горели.

Арсений Тарковский

Когда меня спрашивают о профессии, я "затрудняюсь ответить", как говорят социологи. Филологу, скорее всего, скажу "переводчик", переводчику – "испанист", а человеку, далекому от гуманитарных забот, попросту "служу в университете"[1]. Если любопытствуют, уточняю – "по филологической части". Почему? Казалось бы, никаких сомнений: и в дипломе написано "романо-германская филология", и преподавала я долгие годы именно ее – Средние века и Возрождение и литературу Испании в самых разных вариациях, и писала об этом, то предисловия, то статьи. Но все это не помогло ощутить себя ни литературоведом, ни преподавателем[2] – почему? Мешала другая – переводческая – ипостась?[3] Да почему же мешала, когда она может только помочь – помочь вчитаться. Кто как не переводчик "медлит над строкой" и перечитывает, перечитыва-

© Наталья Малиновская, 2014

1. Уже почти год, как не служу.

2. Странно считать себя преподавателем, будучи твердо убежденной в том, что *научить нельзя*, а можно только *помочь научиться*. И в том, что я не настоящий преподаватель, я никогда не сомневалась. Хотя бы потому, что знала совершенно замечательных мастеров преподавательского дела, которые умели за два занятия преобразовать хаос, царящий в ученической голове, в космос – то есть действительно научить, а не просто заинтересовать предметом. Мне посчастливилось учиться у Эды Ароновны Халифман и Эрнестины Иосифовны Левинтовой – мое восхищение им и бесконечная благодарность. И вот что еще очень важно в преподавании, нисколько не меньше преобразования хаоса в космос: и Эда Ароновна, и Эрнестина Иосифовна, если говорить высоким слогом, были своего рода нравственным камертоном, что de facto ни в какой профессии не может быть обязательным требованием, но тем более драгоценно.

3. Переводчиком – настоящим переводчиком, профессионалом – я себя тоже не ощущаю. И сделала слишком мало, и, главное, видела настоящих мастеров, и знаю, как они работают.

ет? А ведь филологу тоже положено начинать с текста, все другое после, ибо вторично. Все так, да не так.

Филологу естественно дистанцироваться — докопаться и объяснить, найти закономерность, а переводчику (разумеется, при необходимом филологическом багаже) — почувствовать текст своим, сказать его заново. И сказанное в равной мере будет своим и чужим. Филолог обязан свободно ориентироваться в целостной картине литературного процесса и внятно представлять себе любой ее эпизод sine ira et studio[1], — "ничего личного", как теперь говорят. У него исследовательский интерес, тяготеющий к итоговой теории. (Понятно, что и у филолога есть свои предпочтения, но все же литература для него — своего рода дрозофила, с которой биолог возится изо дня в день, обходясь без эмоций.) Проще говоря, филолог волен любить "предмет исследования", а волен не любить, а у переводчика, который берется не за любимое, ничего путного не выйдет[2]. И вот из филологии, наверное, мне нужнее всего оказалась ее прикладная сторона — то, что важно переводчику, что помогает сделать русскую книгу[3].

Но перевод — еще не книга, дорога из одного языка в другой (из одной культуры — в другую) слишком многое оставляет за кадром и потому требует комментария, дотошного и подробного, и рассказа об авторе, о времени, которое расставляло в его книгах свои акценты, о том, кто был рядом с автором и что это для него значило, и мало ли о чем еще — всякий раз о разном.

Я не знаю, как называется эта профессия — сделать книгу целиком: придумать ей композицию, перевести, прокомментировать и рассказать об авторе. Это не наука, не филология как таковая, но на редкость увлекательное дело, и мне посчастливилось знать людей, которые блистательно владели этим умением — о них речь впереди. Именно этому, чуть-чуть разобравшись в профессии, мне захотелось научиться. Но

1. Sine ira et studio (*лат.*) — без гнева и пристрастия; цитата из Тацита.
2. Здесь сугубые профессионалы, уверенные, что умения достаточно, со мной никогда не согласятся. На этом, видно, и разошлась питерская переводческая школа с московской, а Гаспаров с Гинзбургом.
3. Полагающие, что выученный язык гарантирует общение с оригиналом, заблуждаются. В первом приближении — возможно, но еле-еле в первом. Эта иллюзия — детская болезнь начальных курсов филфака. С каким апломбом и убежденностью неофиты, едва прикоснувшиеся к языку, разносят в пух и прах любой перевод: куда ему до подстрочника, мерила точности! И как нескоро (и не все) догадываются, что просто плохо знают язык, не говоря уж обо всем другом, что остается за строкой. А уж до осознания того, что и со своим языком мы, относительно грамотные люди, далеко не всегда справляемся, вообще редко кто доходит.

прежде надо было дойти до профессии (о которой до того ни дня не мечтала).

Известно, что нормальный человек предисловий не читает — это специфическое занятие подневольных студентов и почитателей "Литературных памятников". Не подозревая об этом, годов восьми-девяти, я прочла введение к толстенному тому сказок братьев Гримм, уже читанных-перечитанных, и поразилась тому, что ведет оно куда угодно, только не к сказкам. Попытка (она же пытка) продолжилась: я прочла предисловие к "Тристану и Изольде" Бедье — уже тогда у меня не было книжки любимей (чем так заворожила столь юное существо эта история, а не Золушка или Ромео и Джульетта, — тайна великая и посейчас неразгаданная). Результатом вышеописанных попыток стало подозрение, что предисловия так и положено писать — не о том; это, видимо, и есть окололитературная наука. Вследствие первых впечатлений филология, естественно, не числилась в желанных профессиях.

Но судьбе виднее: для начала, приняв облик медкомиссии, она вышвырнула меня из балетного училища, потом разъяснила, что семь ежедневных часов за роялем мне тоже не по силам, и придушила мечтанья о Шопеновском конкурсе в Желязовой Воле, а чтобы уж совсем неповадно было, вновь в облике медкомиссии, на сей раз химфака (что мне было там делать?), еще раз отправила меня на все четыре стороны. По дороге домой, до глубины души оскорбленная этими от ворот поворотами, я зашла на филфак (пристанище бездельников, как я полагала) и приступила к выбору. Русская литература или западная? Понятно, западная, все равно Цветаевой заниматься нельзя... А язык? Ни секунды сомнений: только испанский! Ни об английском, который кое-как знала, даже мысль не промелькнула, ни о французском, несмотря на парижский миф, неизменно присутствующий в анамнезе юности, — "Париж фиолетовый, Париж в анилине..." Испанский — ни с того ни с сего. "Откуда у хлопца — у дивчины то есть — испанская грусть?" Да вот именно оттуда, но, чтоб понять это, нужно было жизнь прожить. А тогда было ощущение, что это и не выбор вовсе, а так — случай.

И точно так же через два месяца выбрала Лорку — на всю оставшуюся жизнь. Открыла подаренный папой на рожденье агиларовский том Лорки, прочла одно стихотворение, другое, впала в иллюзию, что все понимаю, и уже больше о музыке не жалела. Только через двадцать лет я свела концы с концами и поняла, почему Испания. Из генной памяти? Из самого раннего детства? Или то была тень, отброшенная будущим?

Я родилась далеко от Москвы и еще дальше от Испании — на другом конце света, в Хабаровске, куда отца после Забайкальского фронта назначили командовать Дальневосточным округом. Мои первые десять лет прошли там, первая моя школа стояла на берегу Амура — другой берег только угадывался где-то далеко, откуда уже рукой подать до Китая. В 1956-м переехали в Москву, и жизнь переменилась, а я, как почувствовала себя в столице провинциальной девочкой, так и чувствую до сих пор[1].

В Хабаровске домашняя жизнь была многолюдней, чаще приходили гости, и тогда заводили громадную, как сундук, радиолу. Помню вертящийся круглый ярлык с собакой у граммофона и глянцевый, уже затертый конверт испанской пластинки: алая надпись и смуглый женский профиль — черный завиток на щеке, роза за ухом, высокий гребень в кудрях. Ее ставили часто — "Крутится испанская пластинка"... (Наверно, так же, как в симоновских стихах, крутил эту пластинку походный патефон на всех папиных военных дорогах в часы передышки — где только ни звучал этот высокий чистый голос...)

Годы спустя я услышала его снова — в лингафонном кабинете Иностранной библиотеки (в те времена еще не протянулась вездесущая паутина, и все, угодное душе и ушам, не доставлялось на дом в ту же секунду). Помню, как вдруг пересеклись параллели, знать не знающие друг о друге: будущая профессия и самая ранняя память. Вот, оказывается, кто пел мне колыбельную, и вот кто сложил музыку этой песенки про четырех мулов! Пела Ла Анхентинита, подруга Лорки, и это он аранжировал для ее спектакля старинную песенку. Каким чудом не разбилась эта драгоценная пластинка по дороге из Мадрида в Москву (а далее — везде, где пришлось воевать и кочевать...)? Как удалось дожить этому хрупкому тонкому кругу не только до конца войны, но и до моего рожденья? Ведь не книжка же — пластинку нельзя уронить!

Но и книжка тоже была — и есть (в отличие от пластинки) до сих пор: это прижизненное издание Лорки — "Кровавая свадьба". Вместе с испанской грамматикой и словарем Ларуссом, родом оттуда же, из Мадрида 1936-го, стоят они у меня и по сей день на мемориальной полке. Странный выбор — бы-

1. А когда и Москва, и народ, ее населяющий, враз преобразились, не мне одной стало казаться, что все мы, люди тогда уже не первой молодости, *эмигрировали, только не знаем куда.* И вокруг, укрепляя в этом ощущении, вырастали новоделы в стекле и шизофренических башенках, увешанные рекламами, — ненатуральные, как декорации. И разве что сущностный "вид Отечества" оставался узнаваем, но в том мало радости...

ло бы естественно привезти книжку Альберти (стихи его что ни день печатались в республиканских газетах, а голос звучал по радио), однако отец привез Лорку, его пьесу — ту самую, которую спустя полвека я взялась переводить. Все-таки в жизни нет случайностей, раз тянется живая нить от книги, купленной той далекой военной зимой в Мадриде, до спектакля, который и сегодня идет в московском театре.

А еще — Марокко. Пятнадцати лет мне довелось увидеть эту страну, отделенную от Испании проливом не намного шире Амура. Это был немыслимый дар судьбы (которая потихоньку делала свое дело). В те годы никто, кроме дипломатов, нигде не бывал, разве что в ближних странах (уже удача). Но отцу приходилось ездить с официальными и неофициальными визитами, и изредка, по неведомым соображениям, велели брать семью. Так я повидала, помимо ближних стран, Финляндию и Марокко (не считая трех дней проездом в Париже).

Из Парижа в Марокко мы летели вечером и внизу были только огни. Едва началась Испания, папа прильнул к иллюминатору и, когда подлетали, позвал меня: "Видишь, звездой светится — лучи расходятся. Мадрид". Звезду я не разглядела, но поняла: есть, может быть, единственное место на земле, куда ему хотелось бы возвратиться — Мадрид, с которым он сроднился за два военных года. Что думал он тогда, в самолете? "Этого не может быть, потому что не может быть никогда?" И правда, Франко оказался живуч.

А через всю марокканскую поездку шло рефреном: "Вот здесь — похоже", "И закат похож, и горы у горизонта", "И название испанское — Касабланка, и дома, как там, белые, и апельсины цветут". Это было удивительно — не то, что похоже, а то, что папа об этом говорит (он был крайне немногословен).

В Марокко всю поездку отца сопровождал местный высокий военный чин, воевавший в свое время у Франко на том самом участке фронта, где папа был советником у Листера[1]. Прежде противники в буквальном смысле слова, четверть века спустя они с отцом исполняли дипломатические роли. И все долгие автомобильные переезды проговорили по-испан-

1. Энрике Листер Форхан (1907—1994) — военачальник в республиканской армии времен Гражданской войны в Испании, впоследствии видный деятель испанского коммунистического движения. После поражения Республики эмигрировал в СССР, в 1941—1945 гг. служил в Красной армии, затем жил в Югославии. После смерти Франко вернулся в Испанию.
Его сын Энрике Листер — ныне профессор Университета в Пуатье, в котором преподает русскую литературу.

ски о том, что тогда было их жизнью, а для прочих остается страницей военной истории. Меня поразил заинтересованный и, как мне показалось, не то, чтобы дружеский, но все же... тон их бесед. Так я и не знаю, что это — хорошо исполненная норма дипломатии, или действительно время сгладило давнее разделение. И понимание поверх противостояния спустя годы возможно. (Как я жалею, что с детства научена не задавать вопросов — ибо всякий вопрос, согласно рыцарскому кодексу, неделикатен.)

Я кончала третий курс, когда папы не стало, — он не успел узнать, что из меня вышло в профессии, но, когда я принесла ему, уже в госпиталь, свою первую статейку о Лорке по-русски, он написал в верхнем углу газетной страницы по-испански: "Смотри, Пассионария, о ком пишет моя дочка". И подписался своим испанским псевдонимом — *коронель Малино*. Велел положить в конверт и отправить Долорес Ибаррури. (А спустя полгода, уже после похорон, меня позвали к ней самой — из ее рук я получила членский билет Общества испанских политэмигрантов, пожалуй, единственный документ, которым дорожу. И еще один агиларовский том, на сей раз, конечно, Альберти.)

От той статейки, затейливо поименованной ("Лорка, ветер и великий свет"), тянется еще одна нитка судьбы — и, наверно, самая важная. Кто-то из друзей принес газету с моим опусом только-только начавшему публиковаться после долгих и напрасных хождений по самым разным редакциям Анатолию Гелескулу: "Глянь, тут про твои переводы". — "Да ну?" И все — я написала, он прочел.

Лишь через четыре года судьба вновь принялась за дело: передала через университетского научного руководителя мое дипломное сочинение[1] Валерию Сергеевичу Столбову, в те годы руководившему латиноамериканской (а значит, и испанской) редакцией издательства "Художественная литература". И вот об этом человеке надо сказать особо, потому что без Валерия Сергеевича не было бы тех книг, без которых русская испанистика попросту немыслима. Назову только главные. Это он вместе с Ниной Яковлевной Бутыриной перевел "Сто лет одиночества", и благодаря, в первую очередь, его переводу эта книга стала событием нашей литературы. (У "Осени патриарха" был другой переводчик — и, несмотря на Маркеса, почти никакого резонанса.)

1. А уж из его рук диплом "взял почитать" А. Г.

Когда вышли "Сто лет одиночества", никто из восторженно рассуждавших о романе, как водится, о переводчиках[1] и словом не обмолвился (за одним исключением: Е. Евтушенко прислал Валерию Сергеевичу письмо, в котором радовался удаче и поздравлял с "явлением русского Маркеса"). Впечатление, что роман вышел из-под пера Маркеса по-русски, и впрямь возникает — настолько естественны интонации, выверен стиль и богат словарь. Но жаль, что даже те, кто испытал влияние Маркеса и осознал это, не догадались, что в их прозе отозвались не только новации Маркеса, но и находки мастеров, воссоздавших его по-русски[2].

Валерий Сергеевич имел обыкновение читать то, что принято называть "самотеком" — редчайшее и ныне напрочь забытое свойство. И, отыскав в этом бурном потоке проблеск способностей, рисковал — так он стал печатать переводы Гелескула (геолога, а не филолога, о чем ему еще долго напоминали); дал мне, вчерашней студентке, писать предисловие к двухтомнику Лорки (а полагалось бы — академику, профессору, доктору наук); так, спустя несколько лет, прочитав диплом уже моей ученицы Натальи Ванханен о Беккере, сказал: "Пускай делает книжку!", что она и сделала. Страницы не хватит, чтобы перечислить всех, кто обязан ему первыми (или главными) шагами в профессии.

И вот о чем надо сказать особо: Валерий Сергеевич давал работу тем, кого не печатали по причинам, не имеющим касательства к литературе, в том числе Юлию Даниэлю (его переводческий псевдоним — Ю. Петров[3]) и Анатолию Якобсону. Наверно, нелегко было добиться разрешения на их

1. Такая профессия — всегда "за кадром". Но — странное дело! — когда речь заходит об исполнительстве, никому не надо объяснять разницу между Рихтером и "перстами робких учениц", а переводчиков (у которых мера свободы куда больше и инструмент (язык), на котором работаешь, — другой) даже издатели друг от друга не отличают. Читатели же в подавляющем большинстве и не подозревают о нашем существовании. Однако есть на земле город, в котором стоит памятник переводчику — Гранада...

2. Так в свое время на формирование новой волны нашей прозы повлиял язык, найденный Р. Райт-Ковалевой в переводе "Над пропастью во ржи". Но, увы, последнее время прежде переведенные (неважно, хорошо или плохо) книги стали *перепереводить* — видимо, иллюстрируя непреложный закон: "Если кажется, что хуже сделать нельзя, знай: можно! И обязательно будет сделано".

3. Историки перевода! Пока не поздно, пока не вымерли те, кто помнит, исполните свой профессиональный долг: выясните, кто что перевел и под каким именем напечатал. Ведь только переводы Бродского возвратили себе имя, а как долго его Норвид числился за Корниловым! А переводы из Аполлинера, сделанные Даниэлем, так и числятся за Окуджавой... И не только они.

работу, но в итоге появились замечательные переводы[1], человеческая же ценность этого поступка, редкого по всем временам, очевидна. Также в результате содействия Валерия Сергеевича после пятилетних переговоров с начальством в 1970 году все-таки появилась "Испанская эпиграмма" с иллюстрациями Шемякина, в ту пору еще никому не известного, но уже неугодного правлению Союза художников. Напомню и о том, что, дав работу Иосифу Бродскому (переводы из Анхелы Фигеры Аймерич[2]), Валерий Сергеевич предоставил поэту справку о заключении с ним издательского договора, которая стала на суде единственным документом, свидетельствующим против обвинения в тунеядстве.

Валерий Сергеевич собрал в редакции замечательных мастеров своего дела, редакторов самого высокого уровня; любая работа с ними, будь то перевод, предисловие или комментарии, для многих (и в том числе для меня) стала своего рода университетом. С благодарностью называю их имена: Альба Борисовна Шлейфер, Стелла Александровна Шмидт, Майя Борисовна Филиппова, Галина Борисовна Полонская, Лилиана Эдуардовна Бреверн. Все они прекрасно знали испанский (тогда это само собой разумелось), умели отличить переводческую ошибку от оправданной вольности; изо дня в день они шлифовали книгу — и в итоге сделанное тогда перепечатывают до сих пор.

Понятно, что за давностию лет картина редакционного быта рисуется в благостных тонах, минуя ручейки и пригорки, без которых дело не делается, и сопутствующий ему анекдотарий неисчерпаем и занимателен[3], но все искупала книга, рож-

1. С прискорбием извещаю о новой филологической манере: рассуждая о переводе и признавая, что он при советской жизни "достиг степеней известных" вследствие вынужденной работы в этой области больших поэтов, походя замечать, что-де переводили они с отвращением и вообще-то левой ногой, а, следовательно, сделанное ими в счет не идет. "Фауст" и Шекспир Пастернака — тоже?
Да, были и "восточные переводы" с последующей головной болью, и спущенный сверху список поэтов-современников из ближних стран и братских республик, но ведь в итоге — по причине таланта и добросовестности — русские варианты навязанных текстов звучали так, как им и не мечталось звучать на родном языке. Те, кто вынужден был переводить, органически не умели халтурить, "хуже себя" у них не получалось, да и достоинство не позволяло. Если же в переводе встречались гений с гением, то за эту встречу поэт, работавший в переводе, благодарил судьбу, а свидетелю этой встречи — читателю — выпадала воистину нечаянная радость.
2. Анхела Фигера Аймерич. Жестокая красота. — М.: ИХЛ, 1968.
3. К примеру, такой диалог в маргиналиях.
Замечание Стеллы Александровны по поводу встреченного в тексте "У дьявола в когтях...":
— У дьявола — когти? Проверить!
Ниже меланхоличный ответ автора: "На своей шкуре проверять будем?"

давшаяся на глазах, если она того стоила, а чаще всего так и бывало. Однажды, увидав на столе у Альбы Борисовны рукопись, испещренную правкой, — толстенную! — я ахнула: "Да что ж вы на этот полуфабрикат жизнь свою тратите!" И услышала: "А я, Наташенька, на книжке фамилию свою ставлю. Петитом". И вот этого — достоинства человека, знающего свое дело и отвечающего за сделанное своей фамилией, — петитом! — мне теперь в издательском деле недостает. Не могу себе представить, что правленные и в верстке, и в сверке "души" оказались бы на выходе "ушами" (правда, не могу себе представить и появления в ту пору книги Ортеги-и-Гассета — это ему так не повезло с "ушами"). А как тоскливо ныне повсеместно слышать от редакторов: "Вот и найдите для своей классики спонсора!" Для тех редакторов классика была не чужая.

А для авторов она была спасением, отдушиной, счастьем общения с теми, кто все сказал наперед — на века. Пожалуй, это самая горькая из утрат в издательском деле — планомерная, не наспех, работа над классикой, прежде всего над новыми переводами, латание прорех в литературной картине Европы от Средневековья до нового тысячелетия. Рано или поздно к перспективным (эдак лет на пять вперед) планам вернутся — "жаль только — жить в эту пору прекрасную..."

В 1989 году, благодаря стараниям замечательной переводчицы и по совместительству сотрудницы Иностранной комиссии Союза писателей Людмилы Синянской (и вопреки университетскому Первому отделу[1], чьим нежеланием выпускать меня за рубеж можно было уже пренебречь), мы с Анатолием Гелескулом (тоже, конечно, безоговорочно невыездным) впервые увидели Испанию. Две недели, одна в Гранаде, другая — в Мадриде. Странно, но мы и тогда знали — другого раза не будет.

И так случилось, что в первый ноябрьский день — День Всех Святых — мы поехали в Виснар, гранадское предместье, где расстреляли Лорку. Селенье как селенье, на площади — по-

И, представьте, за диалогом следовала проверка: есть ли где в мировой живописи у дьявола когти? В результате кропотливых поисков (напомню, без помощи интернета — попробуйте поищите в библиотеке!) когти нашлись, а кроме того, в Мексике обнаружилось растеньице, так и поименованное — "Коготь дьявола".

1. Знаю, что именно эта организация надзирала за преподавательской благонадежностью и ведала выездом за рубеж. Однако лицезреть ее сотрудника за все годы службы в Университете мне пришлось лишь единожды — когда при публикации в зарубежном филологическом журнале потребовалось явиться в Главное здание и письменно удостоверить, что пересылаемая статья "не содержит научных открытий" (и тем самым расписаться в своей профессиональной несостоятельности).

минальный фонтан, самый простой, но лучше которого нет ни в Версале, ни в Петергофе, ни в Риме. Струи не плещут веером, их вовсе не видно, просто со дна бьют ключи и чуть колышут воду. Сразу за сельской площадью холмы: одинокие кривые оливы и между ними кресты, выложенные цветами. ("Сегодня же День поминовения! Как совпало!") Пожилая женщина раскладывает цветы, я помогаю. Она спрашивает: "У тебя кто воевал?" Я говорю: "Отец".

— Здесь?

— Нет, на Хараме, в Мадриде. Советником у Листера.

— Русский?!

— Да.

Она (*громко*): "Хосе, иди сюда! Они русские, у нее здесь отец воевал! Она по-испански говорит!" Из машины с трудом выбирается Хосе, идет к нам, опираясь на палку.

— Отец живой?

— Нет, уже больше двадцати лет.

— А что делал после войны?

— С немцами воевал, у нас же война была. Потом с японцами. Фронтом командовал.

— А потом?

— Потом был министром обороны.

— Хосе, ты слышишь? (Хосе молча опирается на палку.)

— А ты почему по-испански говоришь?

— Я книги перевожу: Лорку, Хименеса, Мачадо. А вот он стихи переводит — Лорку, Хименеса, Мачадо.

— Так вы к Федерико?

— Да.

И тут вступает Хосе: "Цветы разложите — и к нам", что означает — в местную таверну. Там Хосефа оповещает народ, кого она привела, и мы до самого вечера под домашнее вино и "мигас"[1] слушаем, кто у кого погиб "и, должно быть, здесь, под этими оливами, лежит, а где, не знаем — никто не знает". Пепел Клааса, не остывший за столько лет... И на нас неожиданно и незаслуженно обрушивается благодарность тем людям, которые тогда воевали рядом с их родными. В который раз повторяется начальный диалог с рефреном: "Надо же!"

И в конце концов: "Так он, значит, по-русски "Цыганское Романсеро" сделал? Настоящими стихами? Пускай прочтет!" Читает — от начала до конца, а слушают так, будто понимают

1. "Мигас" — самая простая андалузская еда из замоченного в воде вчерашнего хлеба с чесноком, перцем и шпинатом, приправленная оливковым маслом.

каждое слово. А потом, еще часа два — песни. И когда зазвучала та самая песенка, моя колыбельная про четырех мулов, времена соединились.

Тот день в Виснаре для нас обоих стал драгоценным воспоминанием. Оливы, ослепительная синь над холмами, едва слышный говор воды и люди, вдруг ставшие родными. Что было здесь главным? Память о поэте, который навсегда остался под оливами, рядом с теми, кого поминали тогда в таверне? Память о тех, кто воевал? Горькой и светлой мелодией звучало в тот день в Виснаре эхо — долгое эхо чистого дела...

Я рассказывала[1] им об отце, о тех, кто воевал в Испании и кого я сама знала, хорошо и не очень, о наших друзьях — испанцах, "детях войны", о тех, кто вернулся, и о тех, кто остался в Москве, пересказывала слышанное от Валерия Сергеевича.

Из его баек помню эпизод перелета наших переводчиков в Барселону. 1937 год. Группа ленинградских студентов (совсем еще мальчишки!), кое-как освоивших на трехмесячных курсах испанский, а до того изучавших французский, в Париже перед вылетом выслушивает инструктаж: "Если попадете к франкистам, ни в коем случае не признаваться, что советские! А если самолет приземлится на вражеской территории — сразу стреляться". Им раздают пистолеты, объясняют, где курок. Перелет длинный, так что в конце концов, устав бояться, все потихоньку засыпают. Проснувшись уже при посадке, Валерий Сергеевич расталкивает Захария Плавскина: "Вставай, пора!" Плавскин, спросонья, с ужасом хватается за пистолет: "Что? Пора стреляться?! Уже?!" Это "пора стреляться" с тех пор у Валерия Сергеевича вошло в обиход, а потом идиому переняли и "его авторы".

В жизнь тех, кто летел тогда за Пиренеи (все равно — переводить или воевать), Испания вошла в свой самый трагический час и стала судьбой. Сколько бы ни пробыл там каждый из них, долго ли, коротко ли, Испания его больше не отпустила. Никто из тех студентов не вернулся в свой французский семинар — и по возвращении они кончали университет уже как

1. А. Г., конечно же, знал испанский, который освоил своими силами, лучше многих, но говорить не решался. А вот переводить его было сущее мученье — ему и в голову не приходило сказать попроще, чтоб я не ломала голову над его головокружительной фразой. Напомню, что тогда разговорной речью (исключая синхронистов) свободно владели далеко не все, — у нас не было ни института Сервантеса со всеми его возможностями, ни полноценной разговорной практики, не говоря уж о времяпрепровождении в стране изучаемого языка, ныне таком доступном. Так что первые дня два в Испании я с языком порядком помучилась, а на третий освоилась.

испанисты. Им предстояла еще одна война и только потом работа, конечно же, связанная с Испанией. З. И. Плавскин и Д. П. Прицкер стали профессорами Ленинградского университета; еще один из тех студентов, Георгий Владимирович Степанов, тоже испанист, — академиком. Я называю только тех, кого знала по работе, как и Валерия Сергеевича. (О. Г. Савича, замечательного переводчика, я, увы, не застала.) А ведь еще были историки, искусствоведы, лингвисты, и немало. С тех пор и на всю жизнь Испания стала для них личным делом.

Та война, как и всякая война, была огромным горем — она разбила семьи, порвала дружеские связи, искалечила судьбы, залила страну кровью. И в очередной раз самым жестоким образом испытала человека на человечность. Непомерной была тяжесть обстоятельств из ортегианской формулы "Я это я плюс мои обстоятельства", и справляться с обстоятельствами приходилось сейчас и здесь, ежечасно убеждаясь в правоте другого великого испанца, Антонио Мачадо: "Труднее быть на высоте обстоятельств, чем над схваткой".

Не случайно Мачадо говорит о высоте обстоятельств — ее задает жанр, избранный историей: народная трагедия. Эпоха обычно начинается героическим энтузиазмом и кончается трагическим гуманизмом, но логическая последовательность иллюзорна. Нельзя разделить высоты героизма, трагические прозрения, отчаянье и плач по поруганной человечности. Нельзя — потому что раздел чреват фальшью. Вычеркнем геройство — и плач обернется ерничеством. Забудем о боли — и от подвига останется глянцевая агитка.

С некоторых пор у нас стало считаться хорошим тоном "отдавать должное" Франко, рассуждая об умелом правлении et cetera, но, вспомним, когда диктатор победил, Испания обезлюдела. Это был Исход[1]. Через Пиренеи, по обледенелым козьим тропам, продуваемым ледяным ветром, уходила не только республиканская армия, шли женщины, дети и старики, уходил народ. Испанию покидал драгоценнейший человеческий фонд, цвет испанской мысли, искусства и литературы. Они уходили, потому что человеческое достоинство[2] не позволило им остаться. И это было сильнее старости, болезней, привязанности к земле и дому.

1. Аналогия с нашей Гражданской войной неправомерна: у Франко не осталось интеллигенции: ему некого было бы выслать на философском пароходе и далеко не сразу вернулись "доживать как частные лица" Бароха и Асорин.
2. Не зря же на испанских подмостках четыре века назад родилась драма *чести*, и честь почиталась уже тогда достоянием всякого человека, а вовсе не только аристократическим атрибутом.

Страны, которые приняли беженцев, тогда и не представляли, каким драгоценным даром обернется испанская эмиграция для их национальных культур. Хуан Рамон Хименес дал поэзии Латинской Америки столько же, сколько в свое время Рубен Дарио – испанской, а может, и больше. А Луис Бунюэль, скольким ему обязана кинематография континента! И какие поэты преподавали литературу в университетах Мексики и США – все поколение 27 года! Это первое, что приходит на ум, но, право же, культурное эхо[1] испанской войны, захватившее и Америку, и Европу, и нашу одну шестую, пора исследовать со всей скрупулезностью.

С 1939 года до конца своих дней, более двадцати лет, в Москве жил великий испанский художник – Альберто Санчес. Он создал оформление легендарного предвоенного спектакля – "Кровавой свадьбы" в "Ромэне", ему принадлежит живописное решение фильма "Дон Кихот". Как ни горько, в Москве у него не было мастерской и он не мог работать как скульптор-монументалист (почему, понять нормальному человеку невозможно – театр идеологического абсурда), но уже одно то, что Альберто жил здесь, писал картины, сотрудничал, хоть и по минимуму, с театром и кино, уже одно только счастье общения с великим художником бесконечно много значило для тех, кто начинал свой путь. Я даже не говорю о художниках. Представьте, вы делаете первые шаги в переводе и со всей дерзостью беретесь за Лорку – и можете спросить о любой его строчке и о нем самом у гения, у того, кто был другом Лорки, да еще и художником "Ла Барраки"! Кто

1. Это, помимо филологических наук и переводов, длившееся не одно десятилетие повсеместное театральное увлечение испанской драматургией – от Лопе до Лорки и Буэро Вальехо. Вспомним хотя бы самый знаменитый спектакль – легендарного "Учителя танцев" с великолепным Владимиром Михайловичем Зельдиным (и сегодняшнее эхо той постановки – "Танцы с учителем"). Плащи, шпаги, кастаньеты, болеро и стихи:

Скажет пусть моя гитара,
Что зовусь я Альдемаро,
Что стоит мой замок старый
Близ Лерина на скалах!

Эти строчки знали наизусть, в "Учителя" играли школьники от Москвы до самых до окраин и после войны, и в шестидесятые годы, а уж сколько раз смотрели спектакль (благо был заснят на пленку) и взрослые, и дети, сосчитать невозможно. А кино? От "Дон Кихота" Козинцева до "Зеркала" Тарковского тоже тянется испанская нить. И не случайно первой режиссерской работой Маргариты Тереховой стала пьеса Лорки "Когда пройдет пять лет".
Завидую тем, кто возьмется исследовать наши с Испанией переклички (ведь там тоже звучит наше эхо) – какие открытия их ждут, какие выставки можно придумать... Это же нетронутый материал! Неужели эта Атлантида так и канет в небытие?

помнит сейчас, что Альберто Санчес похоронен в Москве — в Лефортове на Введенском кладбище? Разве была у нас выставка его работ? А книга в серии "ЖЗЛ"? Как ни горько, но именно так: ленивы, нелюбопытны и беспамятны.

Эхо, даже долгое, неминуемо стихает. И вряд ли его сохранит книжная страница. (Но вдруг? Нам не дано предугадать...) Или дело в другом — в слухе, который переменился и стал невосприимчив к музыкальному ладу тех лет — мы же не слышим инфразвук.

У каждого поколения свои инфра- и ультразвуки. И не в осуждение, а лишь констатируя факт со всеми вытекающими из него непониманиями, Анна Андреевна Ахматова сказала Наталье Ильиной, рассуждавшей о тридцатых годах: "Вас там не стояло". Это — об инфразвуках эпохи. И, по сути дела, то же самое — *образ чувств*, а не только мыслей эпохи — искал Унамуно, когда уходил от истории к интраистории. Самое трудное — услышать человека другого времени, даже близкого (в исторической перспективе).

У меня и в мыслях не было писать об этом, если б не одно обстоятельство. Какое-то время назад мне попался объемистый труд под ученым названием "Рецепция творчества Федерико Гарсиа Лорки в советской культуре". Впечатление оказалось неожиданно сильным, и дело вовсе не в том, что для автора все, когда-либо писавшие о Лорке, вкупе с ним самим, были теми самыми дрозофилами под микроскопом. (Допускаю и такой подход — "ничего личного", но никогда уже этой объективности не научусь, да и прежде не стала бы учиться.) И чем дальше я читала "Рецепцию", тем сильнее резала глаза фальшь картины, повисшей в безвоздушном пространстве, и тем громче во мне звучало: "Вас там не стояло!"

Из нее начисто выпадала эпоха, тот воздух, которым дышали наши предшественники — те, кто ввел поэзию и драматургию Лорки в контекст русской культуры. О том, с чем пришлось им столкнуться, у нас довольно смутное представление — мы тоже не слышали своими ушами инфразвука тридцатых годов. Начав работать на тридцать, а то и сорок лет позже, когда время сделалось почти вегетарианским, с юношеским максимализмом мы считали и Кельина, и Плавскина, и Симорру махровыми ретроградами и, конечно же, замечали — и безоговорочно отвергали — их натяжки и нарочитые акценты. По прочтении "Рецепции" мне стало стыдно и за свои прежние — такие пылкие — укоры, и за авторские — такие с виду бесстрастно-объективные — констатации.

Но удивительнее всего было обнаружить в "Рецепции" старые мехи при новейшем наборе вин — ту самую вульгар-

ную социологию, казалось бы, канувшую в Лету. Убеждена, что автор о том не подозревал и даже не знаком с литературоведческими шедеврами вульгарно-социологического склада, но, бессознательно усвоив новые (простенькие — всего лишь перевернутые) установки, работал в согласии с ними, информируя первым делом о прегрешениях *рецепиентов*. В списке грехов первого поколения лоркианистов оказались

и утаивание того факта, что отец поэта был состоятельным землевладельцем,

и акцентирование близости поэта к "прогрессивной интеллигенции социалистического толка",

равно, как и его дружбы с поэтом-коммунистом Альберти,

и замалчивание интереса к авангардным течениям, успешно вытесняемого "любовью к фольклору и ко всему народному".

Все именно так: и утаивали, и акцентировали (часто бессознательно, потому что — представьте, и такое бывает — больше любили фольклор, а не авангард). Но ведь любовь Лорки к фольклору — такой же медицинский факт, как и общение с "прогрессивной интеллигенцией". А в последнем собрании сочинений поэта опубликованы такие новонайденные интервью, о которых сподвижники Кельина могли только мечтать, — вплоть до фразы про желание посетить в ближайшем будущем Советский Союз (очень понятное в контексте западных литератур той поры). Это чистая правда, как и то, что Лорка сочинил за Дали сюрреалистический манифест, о чем Кельин не знал. Но если б знал, наверняка умолчал бы, и вовсе не из страсти к передергиванию, а ради того, чтобы Лорка зазвучал по-русски. Спросим себя: разве этот Париж не стоит мессы?

У каждой эпохи свои правила игры, а те правила были из самых жестоких. И не естественнее ли сегодня попытаться понять, как работали те, кто применительно к уставу или в обход его создали те первые книги. Белыми нитками шиты их неизбежные идеологические реверансы и ритуальные жесты, какие-то — вынужденные, а какие-то совершенно искренние, это тоже факт. (Но ведь те же самые нитки (до чего прочные!) торчат из "Рецепции" — а ведь никто не принуждал.)

Всем, кто пришел в профессию позже, было несравненно легче — настала эпоха эзопова языка, которым в совершенстве владели и пишущие, и читающие, да и диапазон авторов и тем стал шире (уже можно было поминать про интерес к авангарду, не употребляя слова "модернизм", — а это куда легче, чем издать книжку без спонсора). И когда Лев Самойлович Осповат писал в романизованной биографии Лорки о

репрессиях в Гранаде, а в моем предисловии к изданию Лорки в "Детской литературе" этому отводилось шесть страничек из четырнадцати, не было среди наших читателей ни одного, кто не понял бы, о чем речь, и не сопоставил бы со всеми отечественными реалиями пункты обвинений, предъявленных друзьям Лорки. И, процитировав традиционную концовку испанских предисловий: "Творческий путь поэта оборвался в 1936 году", я твердо знала, что на той же полке, куда встанет наш Лорка, уже стоит тонкий однотомник Мандельштама из "Библиотеки поэта" с дословно совпадающей фразой.

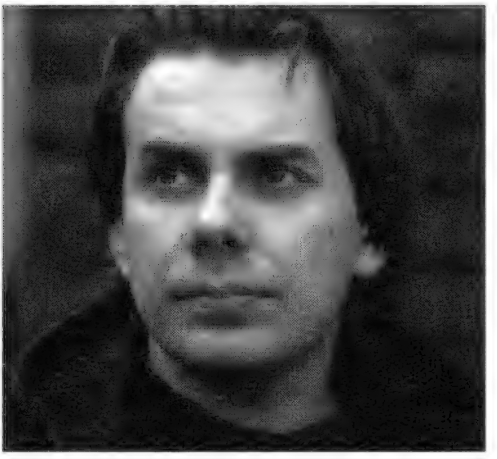
Это не значит, что мы были честнее, зорче или вернее исторической правде. Ни из первого поколения лоркианистов, ни из последующих никто не кривил душой[1]. Просто мы родом из разных времен: другие обстоятельства, другой воздух — и другие судьбы. И только слепому не видно, что те, кто начинали, были связаны по рукам и ногам, а мы почти безнаказанны: лагерь и увольнение — разные вещи, а что невыездные — так и Александр Сергеевич Гвадалквивира не видал. Новые акценты 60—70-х годов — это знаки времени, а не чья-то заслуга. И перевод к тому времени уже прочно стал пристанищем тех, кто не счел для себя возможным работать в заданных идеологических рамках или органически был к этому не способен. Параллели возникали непроизвольно, потому что мы тогда все еще жили тем, что открылось стране в нашем детстве. Так что, можно считать, и мы "акцентировали и передергивали". А любимую мою цитату из Лорки я, видимо, так и буду акцентировать до конца своих дней, раз она оказалась навсегда злободневна... И сейчас не упущу случая: "Это Гранада научила меня быть с теми, кого преследуют. С цыганами, неграми, евреями, маврами — ведь в каждом из нас есть что-то от них..."[2]

Вот и все, что я хотела сказать о своей профессии.

1. Тех, кто сознательно передергивал против автора и текста, да еще и ради личного удовольствия видеть Париж, я и поминать не хочу. Их всегда хватало, да и пришли они в испанистику другим путем.

2. Сколько раз я пыталась предложить этот фрагмент в ряду других, не менее впечатляющих, на последнюю страницу обложки — и всякий раз безуспешно. В самый первый раз, в 1975 году, чуть было не получилось — но бдительный художественный редактор, которому подвластна обложка, в последний момент расправился с цитатой, а заодно углядел под портретом Лорки подпись Дали (а не "вроде бы Пикассо", как я его уверяла) и заменил его сценкой корриды.

Лукаш Дембский



“Кафе-Шкафе́”

Главы из книги

Перевод с польского Полины Козеренко

“Кафе-Шкафе́”

Больше всего я люблю тот миг, когда распахиваются ставни. Свет внезапно врывается в кафе, которое я открываю в десять, и тьма рассеивается.

Ставни я распахиваю в девять — всегда прихожу на час раньше, чтобы успеть все прибрать и подготовить. Больше всего я люблю тот миг, когда солнечным утром их крылья ударяют о стены дома, опаздывающие дети идут в школу, рабочий люд — на работу и когда в эту мнимо стабильную, шелестящую псевдотишину въезжает поливальная машина, заглушая трамваи и автомобили, заглушая утреннюю нервную суету, заглушая бабушек, кричащих на дочек, мамаш (то есть дочек тех самых бабушек), кричащих, в свою очередь, на своих дочек, и тех самых дочек, кричащих на своих кукол, и мо-

© by Łukasz Dębski 2006
© Полина Козеренко. Перевод, 2014
Редакция благодарит автора за безвозмездное предоставление права публикации глав из книги на страницах журнала.

ет (эта поливальная машина) краковские улицы — Малую и Фелицианок. Мое кафе расположено на углу, поэтому через панорамную стеклянную дверь мне все отлично видно.

Сточные воды второпях, словно стыдясь, стекают в канализационные люки, увлекая под землю свалявшуюся в плотный комок суточную порцию грязи, благодаря чему исчезают разнообразные греховные свидетельства ночи и минувшего дня. Так навсегда уходят в небытие улики: чья-то выкуренная и затушенная подошвой о тротуар сигарета, следы пани Вой-Войдыйновской ("тройное 'и краткое', мой мальчик, никогда об этом не забывай!"), которая, как всегда в бежевом костюме и как всегда вечером, проходила по Малой с собачкой (которая в этом месте, как всегда энергично, оросила асфальт); уплывают свидетельства потребления запрещенных веществ, резиновые свидетельства любви, стеклянные свидетельства того, что кто-то, рассеянный и неосторожный, припарковав поблизости машину, не вынул магнитолу, будто понятия не имел, в каком мире живет. И вдруг все исчезает: изрядное количество грехов с улицы Фелицианок и — немного меньшее — с Малой стекает под землю, после чего эти тихие и симпатичные, хотя обычно грязные, улицы становятся почти чистыми, почти белыми — а белый, как известно, символ невинности. Нет свидетельств — нет и грехов. Возможные рак легких, нежелательная беременность и усатые полицейские появятся значительно позже, может, и вообще не появятся, а тем временем жители Фелицианок и Малой могут спокойно, с чистой совестью начинать новый день.

Капельки воды переливаются на солнце, а я, когда все уже готово, сажусь на удобную табуретку у входа в кафе и глазею на дома и людей, потому что это занятие мне очень по душе. Сижу и гляжу, как бритые наголо пацаны из единственного в районе кооперативного дома выводят своих питбулей (нещадно их матеря), как сотрудники Ягеллонского университета выгуливают своих дворняг, как владельцы окрестных цветочных ларьков, магазинов и предприятий малого бизнеса выходят со своими далматинами, пуделями и (моими любимыми) таксами. Конечно, есть изрядная группа людей, которые никого не выводят, — не у всех в нашем районе, который носит название Звежинец, есть звери.

Кафе мое небольшое, в нем два зала, около шестидесяти квадратных метров. Бар выглядит, как старая печь для выпечки хлеба, цветовая гамма — красный, синий и оранжевый, то есть — как сказали бы живописцы — патинированная охра, теплые оттенки желтого и лазурь. Кафе находится примерно в

квартале от Плант[1], то есть в нескольких кварталах от Рыночной площади, если идти в сторону филармонии, хотя не все знают, что такое филармония. В нем четыре больших окна с деревянными рамами и резными ставнями и деревянная же дверь (всего одна). Однако самое интересное то, что в "Кафе-Шкафе́" сидят в старых отреставрированных деревянных шкафах, раскрашенных в разные цвета. Казалось, мы все обдумали: неординарный интерьер, недалеко от центра, доступная цена аренды — это бы должно работать, так почему же не работает? Как же я был тогда наивен и беспомощен: не знал, что в этом городе, где почти полторы тысячи кафе и ресторанчиков, репутацию и популярность нужно заслужить, что ничего не свалится прямо с неба. Я знал только, что кафе в Кракове — стабильный, приятный и занимающий высокое место в социальной иерархии бизнес, который даже захочешь — не загубишь. И все же первые три месяца доказывали нечто обратное: мне первому это удалось.

Был июнь, асфальт плавился под ногами, воздух дрожал от зноя и рука сама тянулась отрегулировать резкость, а я сидел на табуретке у "Кафе-Шкафе́", наблюдал за впечатляющей панорамой улицы Фелицианок и несколько менее впечатляющей — Малой и размышлял, когда же кто-нибудь ко мне зайдет и выпьет, к примеру, чашечку кофе. Собственно, не "к примеру, чашечку кофе", а желательно, чтобы это был именно кофе, поскольку договорная норма — восемь кило на месяц, двадцать пять чашек ежедневно; если столько не выпьют, у меня отберут кофемашину, но один же я не выпью двадцать пять порций кофе, самое большее — пять или шесть, особенно учитывая наличие дармового пива. Жаль было бы расстаться с этой кофемашиной — элегантной хромированной помповой "Асторией" с двойным и одинарным рожками, самонаполняющимся бойлером и капучинатором. Ну ничего: если не получится выполнить условия договора, у меня заберут "Асторию" и дадут вместо нее какую-нибудь простецкую автоматическую "Ровенту" с пятнадцатью кнопками, которая светится, как игровой автомат, и исполняет всякие мелодии.

Июнь в Кракове — прекрасное время: есть чем порадовать глаз. Как правило, на улице тепло, туристки уже приезжают, а студентки еще не уезжают, ходят в коротеньких платьях в горошек и — неважно, что у них на ногах: шпильки, вьетнамки или

1. Планты — краковский парк, окружающий Старый город. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

кеды, — все с одинаковым энтузиазмом вертят попками, раздавая бесплатные улыбки. Можно часами сидеть на Рыночной площади и наблюдать за ними, составлять рейтинги, вести вымышленные диалоги, представлять себя с ними в различных позах и так развлекаться весь день. В зависимости от воображения. Это массовый, полезный и популярный спорт, которым занимаются мужчины всех возрастов; впрочем, его поддерживает городская власть, также, несомненно, состоящая из мужчин, — не случайно, предвидя неизбежное развитие этой дисциплины, они распорядились расставить вблизи Сукеннице[1] бесчисленное количество скамеек.

Меня, однако, не было ни в гурьбе школьников, прогуливающих уроки, ни среди пожилых мужчин, чьи жены отправились покупать гуральские[2] трости и шахматы, моя голова не вертелась синхронно с их головами, как на теннисном матче. Я был здесь, на углу улиц Фелицианок и Малой.

(Рас)*следование*

Майке

Если у вас есть кафе в таком городе, как Краков, людям кажется, что вам уже ничего делать не надо — лежи себе кверху пузом и стриги купоны. Не спорю, во многих случаях это действительно так, но, к сожалению, не в моем. Ко всему прочему, на различных семейных торжествах подобно бумерангу постоянно возвращается один и тот же вкрадчивый, но настойчивый вопрос со стороны жадных до бытовых сенсаций братьев, сватьев, друзей, дядьев и теток: "А знаменитости к вам приходят?"

Как удовлетворишь их любопытство, если непонятно, кого с уверенностью можно считать знаменитым? "Кафе-Шкафé" посещало в то время так мало народу, что, если б и проскользнула какая знаменитость, я бы наверняка ее (его) заметил. Зато было много таких, в том числе *очень* знаменитых, которые проходили мимо кафе и демонстративно в него не заходили. Поэтому я всегда мог найтись и ответить, что да, заглянул (не входя, но об этом молчок), например, Тадеуш Дрозда (не важно, кто что о нем думает, его дочь жила на-

1. Сукеннице — старинные суконные ряды в центре Рыночной площади в Кракове. Памятник архитектуры.
2. Гурали (горцы) — жители горных областей Южной Польши, северо-запада Словакии и северо-востока Чехии.

против) или Люциан Кыдрынский[1] (у кого-то из его родственников была квартира над нами). Однажды меня навестил вождь краковских анархистов, некий Кужинец, и здесь я вынужден подчеркнуть, что за весь первый год работы это был единственный человек, который у меня наблевал.

Кроме последнего случая (на границе гастроэнтерологии и природоведения), было еще несколько, на которые я, к великому сожалению, ссылаться не мог: раз пятнадцать мимо проезжал на велосипеде Кшиштоф Глобиш[2].

Я сидел на табуретке перед кафе теплыми летними и прохладными осенними вечерами, а Кшиштоф Глобиш крутил педали, направляясь прямо на меня и на мое кафе, но, даже не посмотрев в нашу сторону, перед самым моим носом сворачивал на Малую. Для читающих эту историю штатных сотрудников автоинспекции добавлю только, что въезжал он на Малую с той стороны, где въезд запрещен.

Но однажды сентябрьским утром настал момент, когда я почувствовал: мои чаяния пообщаться со знаменитостью могут оправдаться с лихвой. Некая известная личность (как и другие известные, а также целые табуны неизвестных), правда, не зашла в мое кафе, зато остановилась прямо перед ним и притом надолго. Да не умалит успеха тот факт, что она стояла спиной и к тому же на противоположной стороне улицы.

Сначала я его не узнал. Он стоял неподвижно между колоннами дома напротив и рассматривал висящую на нем (на доме, разумеется) небольшую памятную доску. На доске было написано, что в таком-то году здесь на таком-то (собственно, постоянно на одном и том же) этаже жил основатель и многолетний главный редактор еженедельника "Пшекруй" Мариан Эйле. Висела доска уже очень долго и настолько высоко, что никто не мог ни подрисовать Эйле клыки или гитлеровские усики, ни подписать какую-нибудь гадость.

Итак, человек этот (которого я сначала не узнал) все стоял и смотрел, будто Эйле собирался улизнуть. На нем был длинный серый плащ и характерная шляпа с узенькими полями; нос, заметьте, тоже был характерный. Я вытянул шею, насколько это возможно, когда сидишь на табурете у входа, и чуть не свалился на тротуар. К счастью, невольно обернув-

1. Тадеуш Дрозда (р. 1949) – сатирик, комик и конферансье. Люциан Кыдрынский (1929–2006) – журналист, конферансье, публицист; был ведущим многочисленных фестивалей и телевизионных концертов.
2. Кшиштоф Глобиш (р. 1957) – популярный актер театра и кино.

шись, он невольно облегчил мне процесс идентификации. Перед моим кафе стоял пан Славомир Мрожек.

Блин (подумал я), что делать? Он стоит себе и стоит, а я бездействую. Не стану утверждать, что Славомир Мрожек известен всем и каждому. В каких-то кругах его знают, в других (и таких большинство) — понятия о нем не имеют. Наверняка для многих Славомир Мрожек, по сравнению, например, с каким-нибудь штатным телевизионным метеорологом, не является особой, заслуживающей особого внимания, но я чрезвычайно обрадовался, что он решил постоять перед моим кафе; меня он полностью устраивал.

В конце концов, это был живой памятник польской литературы (и даже, как пристало памятнику, стоял почти неподвижно), человек, книги которого читают в школе, а некоторые — даже после, книги которого я тоже читал в школе и некоторые даже после, пьесы которого ставили все, якобы даже эскимосы и аборигены.

Я не очень хорошо представлял себе, как воздать ему дань уважения (лично я относился к нему с искренним почтением), и какое-то время напряженно об этом размышлял, однако ничего — что было мне не впервой — не придумал. Проведя добрых несколько минут за рассматриванием доски, посвященной Эйле, Мрожек стал вертеться, а я занервничал, ибо это означало, что он вот-вот удалится в неизвестном направлении. Но — вероятно потому, что меня подстегивало любопытство и стремящаяся к нулю выручка того дня (один эспрессо для пана Участкового), — мне пришла в голову гениальная идея. Я подумал: не закрыть ли кафе, учитывая, что так и так в нем нет посетителей, и не последить ли за паном Славомиром Мрожеком? Приключение обеспечено. Я быстро выключил кофемашину и музыку, погасил свечи, затворил ставни и погнался за Мрожеком, который, к счастью, еще не успел скрыться за углом.

Пан Славомир Мрожек шел себе спокойно, точно так же, как ходят все люди (сначала левая нога, потом правая и т. д.), а я следовал за ним по пятам в надежде, что случится что-нибудь из ряда вон выходящее. Просто шагал вдоль длинной кирпичной стены, отделяющей от бренного мира обитель сестер-фелицианок, и мне даже не нужно было ни маскироваться, ни приклеивать себе усы — Мрожек не оборачивался, не смотрел по сторонам, будто происходящее вокруг ему полностью безразлично, что вовсе не пристало писателю.

Он шел, шел и шел, на минутку остановился у стены, разглядывая цветной плакат, рекламирующий Краковский

съезд индусов, почесал за ухом и пошел дальше. Я подумал: может, догадывается, может, хочет меня помучить, — поскольку он совершенно бесцельно и ни на что не отвлекаясь миновал сначала Планты, потом Висльную улицу, Рыночную площадь и улицу Святого Иоанна. В конце последней зашел в Национальный музей (предварительно, естественно, купив билет) и стал рассматривать картины. Народу там толпилось довольно много, хотя дождя не было: несколько школьных экскурсий, японцы и эти индусы со съезда. Мрожек остановился рядом с небольшой группой японцев, сидящих на круглом диване в одном из больших залов. Все спали. Бедолаги, подумал я, так перетрудились, что засыпают где ни попадя, одного я как-то даже видел в телефонной будке. Вообще-то впечатляет, что они так интересуются окружающим миром, прямо как Нил Армстронг, соплеменники которого, в свою очередь, некогда завоевывали Дикий Запад, а теперь, когда уже всё завоевали, им больше ни на что не хочется смотреть.

Японцы спали, а Славомир Мрожек стоял в двух метрах от них и добродушно их разглядывал. Сейчас будет что-то интересное, подумал я. Он усядется среди японцев и сфотографируется с ними, а потом, возможно, чтобы было уж совсем в духе Мрожека, сбегает за бубликами и в знак благодарности всунет по одному в руку каждому японцу, а те, когда проснутся, начнут размашисто жестикулировать и кричать: что это, черт побери, значит? Да, отличная, все-таки, идея пришла мне в голову! Спрятавшись за скульптурой, я украдкой наблюдал за паном Славомиром Мрожеком, однако, к сожалению, он, будто за что-то на меня взъевшись, не совершил ничего экстраординарного, ничего символичного или хотя бы забавного. Почесал затылок, потом шею (той же рукой) и вышел.

Я начинал терять терпение. Гонялся за Мрожеком чуть ли не полдня, прятался, чтобы тот меня не заметил, изображал интерес к достопримечательностям, а он просто-напросто бродил по городу и ничего больше не делал. Даже ходить за кардиналом Махарским[1] было бы, наверное, занятнее. Выйдя из музея, Мрожек (не кардинал) двинулся обратно по улице Святого Иоанна в сторону Рынка, на котором был какой-то концерт в рамках Краковского съезда индусов. Шел он прямо, медленно, на людей не смотрел; впрочем, ему отвечали тем же. С Рынка вновь свернул на Висльную, и тут внезапно действие набрало обороты. Наверняка Мрожек теперь оглянется на однорукую продав-

1. Франтишек Махарский (р. 1927) — краковский архиепископ.

щицу бубликов и нечаянно столкнется с Кшиштофом Пендерецким[1], набив ему шишку, — скажете вы, или: вынет маленького заводного утенка и запустит его прохожим под ноги.

К сожалению, ничего подобного.

Славомир Мрожек не столкнулся с Кшиштофом Пендерецким, заводной утенок так и остался лежать в бездонном кармане плаща, однако случилось нечто гораздо более неожиданное, что не являлось ни его (то есть Мрожека) намерением, ни моей заслугой — он вляпался в собачье дерьмо.

В такой ситуации нелегко сохранять невозмутимость, и Мрожек тоже не сдержался. Остановившись, он смачно выругался: псякрев! — что было, в определенном смысле, на тему. До этого казалось, что он владеет ситуацией, что у него все под контролем и, с железной последовательностью ничего не делая, ему удастся дотянуть до конца прогулки, но, увы, судьба послала со съезда на Висльную очаровательную индийскую танцовщицу в профессиональном наряде, на которую он, на свою беду, обернулся; словом, реальность сама собой деформировалась — и такой конфуз. Это стало финалом увлекательной слежки: Славомир Мрожек принялся поминутно через плечо поглядывать на свою подошву: проверял, полностью ли отчистился загаженный ботинок. Каждый раз, оборачиваясь, он, само-собой, замечал меня, а мне негде было спрятаться, потому что он свернул налево, на Голубиную, а Голубиная в этом месте у́же, чем толстая кишка, посему, уверившись в моих намерениях, он кинулся в контратаку. Впрочем, не нужно было поручика Боревича[2], чтобы меня раскусить; Мрожек ускорил шаг и свернул на Брацкую. Он прибавил газу — я за ним, намечалась погоня, как во "Французском связном", но он вдруг испортил все дело, зайдя в букинистический в доме номер шесть по Брацкой.

Я остановился у витрины, всматриваясь в спину Мрожека, но она начала исчезать. Какое-то время над полками и горами книг еще виднелась его шляпчонка, но затем пропала и та, как будто он присел на корточки или прилег. Я посмотрел на часы: ха-ха, было без пяти шесть, магазин вот-вот закроют. Я занял стратегическую позицию прямо около входа и стал ждать: одна минута, две, три, наконец, на пятой минуте ожидания в букинистическом погас свет и вскоре в дверях показались двое его владельцев: мужчина и овчарка. Благородный пожилой господин с брюшком пристегнул собачке

1. Кшиштоф Пендерецкий (р. 1933) — знаменитый композитор и дирижер.
2. Поручик Боревич — герой популярного польского телесериала "07, ответьте".

поводок, после чего, как ни в чем не бывало, закрыл магазин, опустил жалюзи и трусцой удалился в сумрак.

Пока я приходил в себя от изумления, мне открылась суть вещей. В общем, неважно, вскочил ли пан Славомир Мрожек в одну из своих книг, или ускользнул, превратившись в овчарку, или, возможно, договорился с владельцем букинистического и залег где-то внутри на подстилке, чтобы переждать и выйти из игры победителем. Важно было другое: пока я напрягал свои молодые мускулы и воображал, что победа у меня в кармане, что я его окружил, на самом деле окружил меня он и, окружив, разбил наголову, да к тому же проделал это с блеском.

О *юбилее и одном летчике*

Ане

Бывают такие вечера, которые влачатся неспешно, словно карабкаясь в гору, вечера ненавязчивые и блеклые, мутноватые, будто коллоидный раствор на свету: ничего из ряда вон выходящего, как ни старайся, не разглядишь. От подобных вечеров трудно чего-либо ожидать — ни рыба ни мясо, хотя, признаться, они оказываются кстати, когда валишься с ног от усталости; впрочем, по большому счету, они могли бы не существовать вовсе, просто-напросто не случиться, и мир без них был бы столь же разнообразен, как без гонок бобслейных четверок.

Не знаю, кому из моих гостей в тот вечер приходили на ум бобслейные четверки. Были: молчаливый Люций, собака Паулины, Марио и Зенек, пан Гидрофилософ (по профессии — инженер-строитель гидротехнических сооружений) с пани Халинкой, а также десяток других посетителей разного возраста. Значительная их часть едва ли думала о бобслейных четверках, значительная их часть скорее мыслила в одиночных категориях, кто-то, быть может, в парных, а немногочисленные смельчаки, чего нельзя исключать, замахивались на трио, я же, бросив наблюдать за бобом[1] и четырьмя немцами в черных шлемах, размышлял, что́ с вышеупомянутыми вечерами делать. Перенапрягшись на работе, мечтаешь о них, строишь разнообразные планы, а стоит им прийти, плюхаешься на диван без сил и отключаешься, впадаешь в улет или просто тупо спишь.

1. Специальное название управляемых бобслейных саней.

Так, значит, сидел я, предаваясь размышлениям, и не собирался ни с кем заводить разговоры. Лишь изредка поглядывал на пани Халинку, а точнее, пани Халину Брандецкую, профессора искусствознания на пенсии, краем уха слушал, о чем она говорит, и даже начал воображать, какая это была в свое время красивая женщина. Тут я слегка испугался: она не первая дама в летах, которую я представлял себе молодой и красивой. Я обожал беседовать с пани Халинкой, вернее, слушать ее рассказы. Беседы с пожилыми дамами, а особенно с классными пожилыми леди — классно! Ведь они бывшие светские львицы, которые и сейчас выходят в свет, однако тем отличаются от современных молодых светских львиц, что готовы обменяться со мной больше, чем двумя фразами.

К тому же, если имеешь дело с таким кладезем знаний, безупречными манерами и ненавязчивым легким юмором, происходит престранная вещь — ты попадаешь в редкостную ситуацию: полное отсутствие перспектив крепкой мужской дружбы (хотя характерологический материал для оной имеется) и одновременно ноль эротики: есть всего лишь тень, далекое монофоническое эхо такого оборота дел — столь же приятное, сколь и безопасное.

— Это ваше, прости господи, заведение существует уже, наверное, года два, — прервал мои размышления пан Участковый.

— Ума не приложу, как это вы до сих пор не обанкротились, — охотно подхватил тему пан Астроном, никогда не веривший в людей.

— Я открыл кафе ровно 30 апреля 2002 года.

— Не нужно быть астрономом, — продолжал пан Астроном, — чтобы догадаться, что с тех пор прошло ровно два года. Иными словами — сегодня юбилей!

— Юбилеи — мой конек, — включился в беседу пан Волк. — Было дело, отмечал я в Кении свое сорокалетие: устроил засаду на огромного тигра...

— Уймись, Анджей, сафари в центре Кракова вряд ли возможно, — образумил его пан Гидрофилософ. — Поищем идеи, которые нам по зубам.

— На Блонях[1] стоит цирк, можно бы стырить слона и куданибудь на нем поехать, — встрял Зенек, и эта идея какое-то время занимала первое место.

— Ты себе не представляешь, голубчик, сколько такая скотина может сожрать, — возразил ему пан Волк с миной знато-

1. Блоне — расположенный недалеко от центра Кракова луг, внесенный в реестр исторических достопримечательностей Малопольского воеводства.

ка, собаку съевшего в подобных делах. — Если мы его не накормим, он мигом сбежит. То ли дело тигр! Помнится, некогда в Лакхимпуре в дельте Ганга...

— Ради бога, хватит уже о зверях! — закричал пан Гидрофилософ, однако его, в свою очередь, принялись заглушать Марио и пан Шевчик, а их, в свою очередь, остальные.

Я бы с удовольствием поведал вам, что было дальше, но в условиях, когда одновременно перекрикивают друг друга десятка полтора человек и у каждого есть своя, самая лучшая, идея, как отметить юбилей, то, поверьте, адекватно передать содержание беседы затруднительно.

— Я помню свой двадцать какой-то день рождения, объединенный с юбилеем моей покойной мамы, — неожиданно прервала всех пани Халинка своим чудесным певучим голосом, теребя огромный перстень с крупным красным камнем. Красный цвет появится в этом рассказе еще несколько раз, но его роль уже не будет такой положительной. — Во второй половине пятидесятых мы с мамой зимой отдыхали в Крынице, куда, по традиции, семья ездила на воды. Так было до Первой мировой, так было до Второй мировой и так было потом, когда все мы надеялись, что разразится третья.

Никто не возмутился, никто не посмел слово вставить, никто даже ничего не буркнул себе под нос, и это правильно: уж поверьте, уважение к социальному статусу, слабому полу, а также пожилому возрасту должны быть неколебимы.

— Дедушки с бабушками и родители договорились устроить бал в честь моего дня рождения в пансионате "Патриа", — уже увереннее продолжала пани Халинка. — Очень симпатичное место, немного на отшибе... построен, кстати, на деньги Яна Кепуры[1]. Недавно я порекомендовала его Розе Рождественской, а то ее Константий — вы же знаете Константия — снова стал прихварывать.

Она на мгновение прервалась, чтобы пригубить кофе, и пространство заполнил голос Эллы Фицджеральд, которая пела о Манхэттене почти так же завораживающе, как пани Халинка рассказывала о Крынице.

— К несчастью, так совпало, что в "Патриа" тогда проводили отпуск какие-то шумные военные. Как известно, отличительная черта любого солдафона — хамские манеры и неумеренное потребление водки. Мама закатила скандал

1. Ян Кепура (1902—1966) — популярный певец и актер межвоенного периода.

мажордому за то, что не нашел другого места и обрек нас на неизбежную конфронтацию, ибо выяснилось, что солдаты — excusez le mot[1] — русские. Как только мы узнали, что они из Союза, потребовалось срочно увезти из Крыницы моего папу, который нрав имел раздражительный: до войны в нашем имении в Седлище челяди достаточно было громко заговорить по-русски, чтобы схлопотать по морде. Более того, после войны папа не изменил своим привычкам и как-то раз на приеме в Люблине так вмазал одному советскому полковнику, что пришлось ему — этому полковнику — вместо четырех выбитых коренных зубов вставить четыре золотых плюс восполнить все потери прежних лет.

Усадив папу в автомобиль и отправив от беды подальше, мы смогли спокойно начать приготовления к балу. Признаюсь, я никогда не любила этой суеты, хотя в двадцать с небольшим кринолины, надушенные визитные карточки и подбор кружевных перчаток еще способны были доставить мне удовольствие. Посему всю организацию взяла в свои руки моя мать — характер у нее был такой же сильный, как у меня.

Утром того дня, когда должен был состояться бал, мы по обыкновению завтракали в ресторане при пансионате. Я намазывала на булочку ароматный вишневый конфитюр, когда к нашему столику подошел какой-то красноармеец. Он представился адъютантом полковника и вежливо спросил по-русски, не позволим ли мы полковнику и еще одному офицеру к нам присоединиться. Услышав это, мама, обладавшая, как я уже говорила, сильным характером и не привыкшая лезть за словом в карман, выпалила в лицо бедному парню с Кавказа нечто вульгарное и многоэтажное — такое даже пана Люция вогнало бы в краску. Естественно, моя мать знала русский, только это был язык Пушкина, а не Красной армии, поэтому она накричала на адъютанта по-французски, указывая пальцем на хлев за окном. Тот онемел от изумления, глаза его сверкнули дикой яростью, и он отправился к своему полковнику. Все говорило о том, что третья мировая война не за горами, но, к счастью, у самых дверей адъютанта нагнал директор пансионата и принялся всячески его обхаживать. Затем подбежал к нам и стал судорожно умолять маму не отказывать большевикам, на все лады восхваляя ее особу, заслуги моего папы и мою красоту. Говорил, несчастный, что мы спасем ему жизнь, что большевики прибыли к нему с тайным рекреационным визитом и им тут должно быть хорошо, что

1. Прошу прощения (*франц.*).

никто и никогда не должен узнать, чем они здесь занимаются, иначе они, в свою очередь, сделают с ним нечто такое, о чем никто и никогда не узнает...

Несмотря на сомнения морального и эстетического порядка, мать (учитывая давнее знакомство) все-таки дала свое согласие. Минуту спустя к нам подошли те два офицера, поздоровались и сели. К нашему крайнему удивлению, это вовсе не были вонючие босые мужики, как те сволочи, что спалили наше имение в Седлище, а вполне приличного вида, может, и не джентльмены, но все же нормальные люди. Старшего, полковника, звали Андрей Андреевич, младшего же, совсем еще неоперившегося птенца, — Юрий Алексеевич. К сожалению, они с места в карьер стали расхваливать свой Советский Союз и превозносить Ленина и Сталина, хотя со смерти последнего прошло более трех лет и даже им следовало бы уже понимать, какого калибра этот негодяй. Я попросила, чтобы они рассказали что-нибудь о последней войне. Это было несколько опрометчиво — что они могли рассказать? Что убивали поляков, насиловали их жен и вывозили рояли? Старший и, судя по всему, более умный, сообщил, что служит уже более сорока лет и начинал еще в царской армии, а затем, вернувшись в наши дни, и на мой вопрос, в какой области специализируется, ответил, что он химик.

— А вы? — спросила я второго.

— А я летаю. Я — курсант Оренбургского авиационного училища, — ответил тот и замолчал.

Мы просидели так еще около четверти часа: Андрей Андреевич, исподтишка за мной наблюдая, говорил, а Юрий Алексеевич, исподтишка за мной наблюдая, молчал, я же, ударившись в воспоминания, рассказывала им, как мы жили в своем имении в Седлище, где были бесконечные ряды огромных оранжерей, по которым я часами гуляла, наслаждаясь розами, тюльпанами и моими любимыми желтыми нарциссами. Это были золотые времена, но, увы, после войны все имение разбили на мелкие участки, а на пепелище дома построили свинарник. Я чересчур увлеклась, мысленно вернувшись к тем золотым временам, но мать пнула меня под столом, давая понять, что пора закругляться.

Вечером мы отправились на бал. Я могла бы и три четверти часа рассказывать, как надевают корсет, но вряд ли вас это заинтересует. Хотя если б вы могли видеть, как я со своей тогдашней фигурой его надеваю, ручаюсь, вы бы молили о возможности послушать хотя бы десять минут.

Бал удался на славу, хотя бывало и получше. Но в конце концов жилось нам тогда нелегко — о трюфелях и дичи не приходилось и мечтать. Из Кракова прибыли родственники и друзья, семья Ингарденов с Фердинандом Томашем во главе, а также самый важный гость — моя бабушка Ханна Гонткевич, в девичестве Пшасницкая. Я ей многим обязана и потому не могу не сказать о ней пару слов, тем более что это важно для всей истории. Если правда то, что она мне всегда повторяла: люди наследуют не только внешность, но и характер вместе с определенным багажом опыта, — от нее мне досталось самое лучшее наследство. И если это действительно так, вскоре наступит неминуемый разлад моего разума с окружающим миром и, подобно ей, я лишусь рассудка, когда мне стукнет семьдесят семь. Как говорится: сед, да ума нет. В тот прекрасный вечер в качестве именинного подарка бабушка рассказала мне историю своей первой любви: как она, еще в двадцатых, полюбила пилота дирижабля, работавшего на фирме Цеппелина, и тот ответил взаимностью. Семья не дала согласия на брак, поскольку, к несчастью, избранник был пруссак, который к тому же вскоре погиб — причиной катастрофы стал взрыв гелия. И когда бабушка мне все это рассказывала, я подумала, что, унаследовав от нее так много: любовь к катанию на коньках, желтым нарциссам и истории искусств, — я наверняка унаследую и слабость к летчикам. Не успела я сообразить, что не знакома ни с одним летчиком, как вдруг, в разгар бала, стихли все голоса, распахнулась дверь и в зал вошел... Юрий Алексеевич.

Теперь представьте себе эту сцену: вальсы, фанты, в общем веселье, как в былые времена, а тут, откуда ни возьмись, появляется варвар, хуже того, свежеиспеченный оккупант в военной форме. Все оцепенели... Что любопытно, никто не накинулся на него с кулаками — Юрий Алексеевич подкупил всех гигантским букетом цветов, который он мне преподнес; к тому же это были мои любимые желтые нарциссы.

До сих пор понятия не имею, ни откуда он узнал, что я так люблю именно эти цветы, ни откуда в середине зимы в Крынице откопал их несколько дюжин, но, признаюсь, это произвело на меня колоссальное впечатление. Я заговорила с ним, что его немного приободрило; танцевать Юрий, правда, не умел, и я вальсировала с другими кавалерами, однако весь вечер он не спускал с меня глаз. Затем исчез ненадолго, но около полуночи появился снова и отвел меня в сторону. Сказал, что у него для меня сюрприз, только мы должны подняться на крышу "Патриа". Я заколебалась; кроме всего прочего, я знала, что, если спрошу разрешения у ма-

тери, та ни за что не позволит. И все же Юрий меня уговорил. Мы улизнули из банкетного зала через черный ход, так, чтобы никто не заметил. Долго шли по длинному узкому коридору, потом он взобрался на лесенку, открыл люк, и мы оказались на крыше. Над нами простиралось великолепное ночное небо, валил густой снег, а Юрий стоял предо мной в этой своей забавной шапке-ушанке и страшно нервничал. Я посмеялась в душе: уж не вообразил ли он себе чего? Что ж, приятно, конечно, получить столько цветов — история оборачивалась романтично, даже, я бы сказала, становилась слащавой, как в фильмах с Одри Хёпберн. Мы стоим вдвоем на крыше гостиницы, прекрасная морозная ночь, да еще этот снег... однако не в традициях нашей семьи было крутить романы с русскими. Он взял меня за руку и подвел к большой трубе в самом центре крыши. Там стоял какой-то предмет, накрытый пледом. Юрий снял плед, и я увидела странное устройство на подставке, овальной формы, смахивающее на бомбу или миниатюрную ракету. Юрий приложил палец к губам, и я поняла, что лучше ничего не спрашивать. А он покрутил какой-то вентиль — послышалось шипение газа, — быстро вытащил большие штормовые спички и зажег газ. Повалил дым, затарахтели четыре моторчика, и ракета, будто новогодняя петарда, стремительно взвилась ввысь. Взлетела высоко, очень высоко, мы вдвоем провожали ее глазами, пока могли хоть что-то разглядеть среди крупных хлопьев снега. Вскоре звук стих, и ракета совсем потерялась из виду. Я посмотрела на Юрия, который продолжал упорно всматриваться в небо, и мне стало его жаль — я подумала, что он хотел устроить для меня фейерверк или взорвать гигантскую петарду, но номер не прошел. Юрий, видимо, почувствовал мой взгляд, повернулся ко мне и спокойно произнес:

— Я украл это у Андрея Андреевича. Все говорят, что наш полковник — гений. Сейчас увидишь, что произойдет.

Не успел он договорить, как я услышала глухой удар. Не впечатляющий взрыв, нет, звук походил, скорее, на хлопок разорвавшейся на большой высоте гранаты, доносился будто из-за стены, будто эхо динамита из глубин каменоломни. Я посмотрела вверх, но не увидела ничего, кроме звезд и хлопьев снега. Густой снег валил и валил, и вдруг до меня дошло нечто невообразимое: падающие на нас белые снежинки превращаются... в желтые, совершенно желтые, сплошь покрывают мою одежду, мундир Юрия, крышу пансионата "Патриа", мало того: вся Крыница покрывается чудесным желтым снегом.

— Что вы нам лапшу на уши вешаете? — неожиданно встрял пан Астроном. — Какой еще желтый снег? Мы не в детском саду!

— ...и очень жаль, что мы не дети, — бросился на защиту пани Халинки пан Гидрофилософ. — Это старый химический фокус. Чтобы устроить взрыв, достаточно поджечь немного калиевой селитры с некоторыми добавками. Главное, чтобы на определенной высоте произошла детонация.

— Ну, сейчас-то и я знаю, как это делается, — невозмутимо произнесла пани Халинка. — Выяснила много лет спустя, но тогда я стояла рядом с Юрием на крыше "Патриа" и плакала от счастья, потому что за четверть часа долина, в которой лежит город, окрестные холмы и луга полностью пожелтели и стали похожи на наши оранжереи в Седлище с их бесконечными рядами желтых нарциссов. В банкетном зале смолкла музыка, люди пораскрывали окна и выглядывали из них, не веря своим глазам.

Признаюсь честно — несмотря на аналитический склад ума и трудный характер, в таких ситуациях я совершенно теряю самообладание. Поддавшись чарам этой сказочной сценографии, как Одри Хёпберн в своих фильмах, я обняла Юрия и поцеловала.

Это, скажу вам, был самый прекрасный праздник и самый прекрасный подарок из тех, что мне доводилось получать...

Слушатели замолчали еще интенсивнее, если так можно выразиться, а затем глубоко вздохнули, ибо даже те, кто никогда глубоко не вздыхал, ощутили приятную истому.

— А что стало с Юрием? — спросил Зенек, отхлебывая чай. — Вы с ним продолжали общаться?

— Нет. Через два дня он уехал и больше не давал о себе знать.

— Все они, эти русские, такие, — констатировал пан Участковый. — Хорошо еще, что не украл у вас рояль. Вы хоть его фамилию помните? Можно было бы навести справки...

— Нет, к сожалению, я не знала его фамилии, хотя... — тут пани Халинка сделала многозначительную паузу, — хотя однажды мне почудилось, что он смотрит на меня сверху.

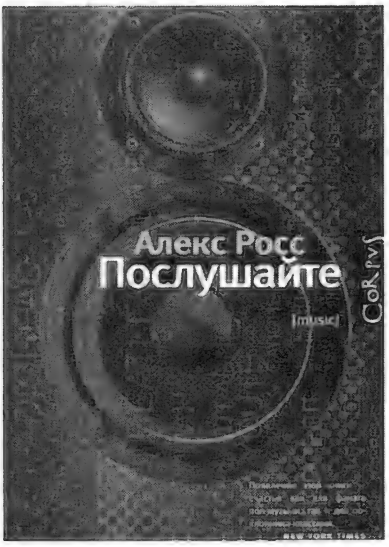
— Умер?

— Нет, я не это имею в виду. Послушайте, я расскажу вам кое-что, в чем никогда и никому не признавалась. Может, это все коньяк виноват?.. Моя бабушка, Ханна Гонткевич, в девичестве Пшасницкая, даже когда уже совершенно ослепла, нутром чувствовала, если я на нее смотрела. Я обожала наблюдать, как она расчесывает свои великолепные длинные седые волосы. Бабушка, хоть ничего и не видела, садилась пе-

ред трюмо и долго водила по ним щеткой, затем делала пучок, втыкала шпильки и тихо звала меня — она говорила, что не может объяснить, как, но чувствует меня, знает, что я стою в прихожей, что о ней думаю. Это, вместе с множеством других качеств, я тоже от нее унаследовала. Когда мой покойный супруг Станислав норовил разбиться на своем кукурузнике, засеивая поля экспериментальными культурами, которыми занимался в Сельскохозяйственной академии, я всегда знала об этом первая, даже не выходя из дома. И, представьте, то же было с моим Юрием Алексеевичем: 12 апреля 1961 года я почувствовала, что он смотрит на меня сверху, и ни на минуту не усомнилась: он думает обо мне. Через несколько дней власти сообщили о первом полете человека в космос. Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток" провел два часа на орбите Земли. Оказалось, что у этого Гагарина, так же как и у моего Юрия, отчество Алексеевич и что он тоже учился на летчика в Оренбурге. Любопытный факт: тот Юрий и этот были похожи, как две капли воды. К возмущению моих университетских коллег, плакат с Гагариным еще долгие годы висел у меня в кабинете. Тогда, 12 апреля, я просто-напросто чувствовала, что это был он. Хотя, с другой стороны, может, это всего лишь совпадение?

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым



"Писать о музыке – все равно что танцевать об архитектуре" – это утверждение в разных случаях приписывали <...> Дэвиду Бирну, Фрэнку Заппе, Майлзу Дэвису и еще десятку музыкантов. Такова вторая фраза книги музыкального обозревателя "Нью-Йоркера" **Алекса Росса** *Послушайте* (пер. с англ. **М. Мишель**. – М.: Астрель: CORPUS, 2013. – 352 с.); в эту книгу (изданную в 2010-м под названием *Listen to This*) вошли два десятка статей, публиковавшихся в ведущем американском журнале с 1998 по 2009 годы. Ну а первая фраза звучит так: *Писать о музыке – невеликий труд.*

В этом ироническом замечании присутствует, безусловно, некоторое кокетство: то есть вообще писать о музыке, возможно, и нетрудно, но написать так, чтобы было интересно читателю, – для этого все-таки требуется незаурядное мастерство. И в этом отношении сборник Росса выглядит не то чтобы слишком ровным: увлекательные статьи чередуются здесь с материалами скорее репортажными, которым вполне можно было остаться только на журнальных страницах. А в описании разного рода эмоциональных нюансов конкретных музыкальных тональностей читатель, не имеющий соответствующего образования, и вовсе чувствует себя практически неграмотным.

Однако все-таки прочесть (или хотя бы пролистать) эту книгу стоит – хотя бы для того, чтобы осознать, что вся музыка (классика, рок, фолк, поп) представляет собой некое единое целое, искусственные границы внутри которого можно и нужно преодолевать. Вот в какую последовательность выстраиваются имена композиторов и исполнителей в оглавлении: Моцарт, "Radiohead", Шуберт, Бьорк, Верди, "Sonic Youth", Сесил Тейлор, Фрэнк Синатра, Курт Кобейн, Мариан Андерсон, Боб Дилан, Брамс. Конечно, Алекс Росс – не первый, кто оказался способен взглянуть на музыку так широко и непредубежденно, одна-

ко обычно подобная "всеядность" становится итогом пути от более простого к более сложному: например, от рока через джаз к классике. В данном же случае автор начал с классики, которую в больших количествах слушал в детстве, а в конце пути расширил область объектов своего слушательского интереса вплоть до радикальных панк-групп.

Впрочем, отсутствие музыкального образования вряд ли помешает читателю уловить общую идею: в разных жанрах используются одни и те же базовые структуры, и музыкальным гением становится тот, кто не только профессионально ими овладевает, но оказывается способен вписать их в актуальный контекст, адаптировать к духу времени и к задаваемым этим временем формам восприятия, на которые настроен массовый, а не профессиональный (либо снобистский) слушатель. Читая Алекса Росса, я вспомнил, как в конце 90-х Илья Кормильцев – при всем его продвинутом литературном и музыкальном вкусе – живо интересовался такими исполнителями, как Лада Дэнс или "Сектор Газа". Да и сегодня, как мне кажется, настоящим вызовом для музыкального критика могла бы быть попытка рассмотреть в одной системе координат, скажем, Владимира Мартынова и Ваенгу.

Среди моих нереализованных планов было в свое время эссе под названием "В/месте" (отсылающее к строке известной песни Воктора Цоя – *Все говорят, что мы вместе, но немногие знают, в каком*). Отправная его точка – идея о том, что всю музыку вполне можно разместить в едином концептуальном пространстве с двумя основными координатами: горизонталью и вертикалью. Вертикаль – это измерение духовное, музыка для индивидуального восприятия, без активного контакта между слушателями (кроме разве что совместного присутствия в храме или концертном зале). Горизонталь же соответствует социальному измерению: это музыка, как раз располагающая к активному взаимному сопереживанию, и часто она просто функциональна. Классика – "вертикальна" (хотя многие жанры изначально были функциональными, танцевальными – но сегодня утратили это качество), поп-музыка – "горизонтальна". Джаз за сто лет претерпел эволюцию от сугубой "горизонтальности" к сегодняшней уже практически академической "вертикальности"; а вот в рок-музыке разные исполнители тяготеют к одной из координат: например, "Pink Floyd" – "вертикальны", а "Rolling Stones" – "горизонтальны".

Сразу две книги о лидерах "Stones" вышли на протяжении последнего года: *Мик Джаггер. Великий и ужасный* **Кристофера Андерсена** (пер. с англ. **О. Перфильева**. – М.: Синдбад, 2013. – 416 с.) и записанная **Джеймсом Фоксом** автобиография **Кита Ричардса** под простым названием *Жизнь* (пер. с англ. **М. Колопотина**. – М.: Астрель: CORPUS, 2012. – 784 с.). Первая книга создана журналистом, и Джаггеру именно как музыканту в ней уделено достаточно много внимания – хотя акцент делается все-таки в первую очередь на его бурной сексуальной жизни с несколькими женами и многочис-

ленными любовницами (одна из глав носит название *Четыре тысячи женщин Мика*). А вот книга Кита Ричардса представляет собой расшифровку его устных рассказов, которые большей частью посвящены внемузыкальным авантюрам — прежде всего так или иначе связанным с наркотиками. Причем некоторую пикантность (особенно первой книге) придает то, что, судя по всему, Мика и Кита связывали отношения и более тесные, чем совместная музыкальная деятельность.

Обе книги оставляют впечатление некоего бурного и необузданного энергетического потока, в котором все составляющие классической триады Sex, Drugs & Rock-n-Roll как минимум равнозначимы. Удивительный казус "Rolling Stones" состоит в том, что, будучи изначально группой тинейджеров, игравшей музыку для тинейджеров (инокультурную — черный американский блюз — и бунтарскую по отношению к истеблишменту) и абсолютно не мыслящей продолжения этого в возрасте "за 30" и тем более "за 45", они остаются на сцене и в свои уже 70; и в этой бесконечно длящейся квази-молодости чем дальше, тем больше чувствуется нечто дьявольское.

Впрочем, для устных рассказов всегда нужно делать поправку на некоторое преувеличение — а уж легкое искажение реальности в них неизбежно. Например, Кит рассказывает, что они в 1998 году привезли из России бездомного пса (ему дали кличку Распутин), пойманного в районе стадиона

"Динамо", где состоялся их концерт, — по словам Кита, как раз в это время разразился кризис, и после него на улицах Москвы оказалось множество собак, которых хозяева не могли прокормить. На самом же деле концерт был в Лужниках, а кризис (дефолт) случился ровно через неделю после концерта.

По материалам зарубежной прессы

J. M. Coetzee The Childhood of Jesus. — London: Harvill Secker, 2013. — 277 p.

Новый роман известного южноафриканского писателя, обладателя Нобелевской и двух Букеровских премий Джона Максвелла Кутзее удивил, пожалуй, даже его постоянных читателей и поклонников. Одни критики называли новую работу Кутзее "шедевром" и прочили ее автору третью Букеровскую премию (газета "Остралиен"), другие — остались в недоумении от очередной "странной, но интересной истории" (газета "Гардиан"), которыми богато творчество писателя.

Действие романа "Детство Иисуса" разворачивается в неком испаноговорящем городке Новилла. Все жители этого места — приезжие, по каким-то неведомым нам причинам забывшие свое прошлое и покинувшие родину, чтобы начать жизнь "с чистого листа". С такой же целью прибыли в Новиллу и главные герои — 44-летний Саймон и 5-летний мальчик Дэвид. Им, как и другим приезжим, дали новые имена, квартиру, помогли Саймону найти работу. Однако на новом месте герои долго не прожили: столкнувшись с законами, которым не в силах противостоять, они бегут из города в поисках "нового места", где можно еще раз начать все заново. Так кратко можно описать сюжет романа. Но, как и в других произведениях Кутзее, сюжет не играет главной роли. О чем же на самом деле эта странная история?

В 2012 году, за год до публикации "Детства Иисуса", Кутзее приехал к себе на родину — в ЮАР, — чтобы выступить перед студентами Кейптаунского университета (где он преподавал много лет) и представить им свой новый роман. Для знакомства с книгой он выбрал небольшой эпизод, где Саймон учит Дэвида читать по-испански. Пособием для чтения являются "Приключения Дон Кихота" — иллюстрированное издание для детей.

Дэвид — необычный ребенок, обладающий неординарными способностями и живым воображением. Он отказывается воспринимать мир таким, какой он есть, с его нормами и порядками. Цифры, буквы, слова существуют для него разрозненно, никак не складываясь, не соотносясь друг с другом. Между ними, как он говорит, существует "пропасть", в которую можно упасть (что в этой пропасти — загадка).

Кутзее много раз в своих выступлениях и эссе выражал восхищение творчеством Сервантеса, называл его "гигантом, на чьих плечах стоим мы, ничтожные писатели последних лет". "Дон Кихот" был для Кутзее примером того, как уйти от реальности, которая кажется невыносимой. Как создать альтернативный мир, где чувства и эмоции важнее политической обстановки и социальных норм.

Саймон выбрал именно "Дон Кихота" – возможно для того, чтобы показать Дэвиду пример героя, который не боится следовать за своей фантазией, чтобы и Дэвид не отказывался от своего собственного восприятия мира и не боялся отстаивать его. "'Дон Кихот' – необычная книга, – объяснял Саймон мальчику. – Она представляет нам мир глазами двух персонажей – Дон Кихота и Санчо. Дон Кихот считал, что борется с великанами. А для Санчо это были ветряные мельницы. Большинство из нас – возможно не ты, но все же многие из нас – согласятся с Санчо, что это в самом деле – ветряные мельницы. Как и художник, который изобразил тут ветряную мельницу. И даже человек, который написал эту книгу, согласится с ним". Но и ви́дение Дон Кихота имеет право на существование, как и фантастический мир мальчика, который может, глядя на иллюстрации, придумать собственный вариант истории о приключениях Дон Кихота.

Приключения Дон Кихота, начитавшегося рыцарских романов, заканчиваются капитуляцией воображения перед реальностью: он возвращается домой и умирает. Роман Кутзее заканчивается надеждой: Саймон и Дэвид бегут из Новиллы в поисках нового места жительства. На вопрос Дэвида, что они будут "там" делать, Саймон отвечает:

"– ...мы скажем 'Доброе утро, мы вновь прибывшие и мы ищем место, где можем остановиться'.

– И?

– И это все. Искать место, где можно остановиться, чтобы начать новую жизнь".

По дороге они собирают "учеников" Дэвида – людей, которые готовы поверить мальчику, вообразившему себя волшебником. Мальчику, для которого любой незнакомец, готовый ему поверить, становится близким человеком. Какое "новое место" ищут герои? Наверное, страну, где есть свобода для любых идей и фантазий. Найдут ли они такую страну?

Сам Кутзее, переехав из ЮАР в Австралию, вероятно, чувствует себя там хоть и желанным гостем, но все же "чужим". Он, как и многие южноафриканцы его поколения, испытывал желание уехать в любую другую страну, чтобы спастись от истории своей родины. В своих эссе он не раз цитировал стихи южноафриканского поэта Вильяма Пломера:

Дайте нам уехать
в другую страну,
Не твою и не мою,
И начать все сначала.

В новом романе Кутзее, "одного из лучших писателей, пи-

шущих сегодня по-английски" (журнал "Тайм"), действие происходит в месте, где нет границ, паспортного контроля, где все — приезжие, не знающие своих корней, где все говорят на одном языке и нет никаких упоминаний о различиях в цвете кожи или строении лиц. Возможно, именно в "смешении" всех людей Кутзее видит будущее — "бразильское будущее", — мир, где не будет ни африканцев, ни европейцев, ни черных, ни белых, когда люди этнически неразделимы.

"Я тот, кто мечтает о свободе (как мечтает о ней всякий узник) и кто воображает людей, вырвавшихся из оков и обративших свои лица к солнцу", — говорил о себе Кутзее в одном из интервью. "Детство Иисуса" — история о людях, которые пытаются сбросить оковы норм и порядков реального мира и обрести свободу действий, свободу мышления и воображения.

Подготовила
Мария Курбак

Эрнст Юнгер
Ernst Jünger
[1895–1998]. Немецкий писатель, философ, участник Первой и Второй мировых войн. Кавалер ордена Максимилиана *За достижения в науке и искусстве* [Бавария, 1986], лауреат Литературной премии города Бремена [1956], премий *Литературная Европа* [1981], имени И. В. Гёте [1982], Средиземноморской премии [1986], большого приза жюри Венецианской биеннале [1993] и др.

Автор дневников *В стальных грозах* [*In Stahlgewittern*, 1920; рус. перев. 2000], *Сады и дороги* [*Gärten und Straßen*, 1942; рус. перев. 2008], *Излучения* [*Strahlungen*, 1949; рус. перев. 2002, 2007, 2008], *Семьдесят минуло* I-V [*Siebzig verweht* I-V, 1980–1997; рус. перев. I т. 2011], романов *На мраморных утесах* [*Auf den Marmorklippen*, 1939; рус. перев. 2009], *Гелиополь* [*Heliopolis*, 1949; рус. перев. 1992], *Стеклянные пчелы* [*Gläserne Bienen*, 1957], *Эвмесвиль* [*Eumeswil*, 1977; рус. перев. 2013], книги эссе *Сердце искателя приключений. Фигуры и каприччо* [*Das abenteuerliche Herz. Figuren und Capriccios*, 1938; рус. перев. 2004] и др.
Повесть печатается по изданию *Afrikanische Spiele* [Stuttgart: Klett-Cotta, 1978].

Жан Фоллен
Jean Follen
[1903–1971]. Французский поэт и прозаик. Лауреат премии Малларме [1939], Большой поэтической премии Французской академии [1970] и др.

Автор поэтических сборников *Пять стихотворений* [*Cing poèmes*, 1933], *Времяпрепровождение* [*Usage du temps*, 1943], *Существовать* [*Exister*, 1947], *Часы* [*Des heures*, 1960], *Аппарат земли* [*Appareil de la terre*, 1964], *Длительность мгновений* [*Espaces d'instants*, 1971] и др., а также книг прозы *Париж* [*Paris*, 1935], *Бакалея детства* [*L'Épicerie d'Enfance*, 1938], *Каждый миг* [*Tout instant*, 1957] и др. Несколько его стихотворений опубликовано в томе БВЛ *Западноевропейская поэзия XX века* [1977].
Публикуемые стихи взяты из книги *Напоследок* [*D'apres tout*. Paris: Gallimard, 1969].

Джордж Сондерс
George Saunders
[р. 1958]. Американский прозаик. Четырежды лауреат Национальной журнальной премии [1994, 1996, 2000 и 2004], Мировой премии фэнтэзи [2006] и премии *PEN/Маламуд* [2013]. В 2013 году журнал *Тайм* включил его в список *100 самых влиятельных людей мира.*

Автор четырех сборников рассказов *Парк Гражданской войны приходит в упадок* [*Civil War Land in Bad Decline*, 1996], *Пасторали* [*Pastoralia*, 2000], *В стране убеждения* [*In Persuasion Nation*, 2006] и *Десятого декабря* [*Tenth of December*, 2013], а также двух новелл *Страшно настырные гэпперы из Фрипа* [*The Very Persistent Gappers of Frip*, 2000] и *Краткое и ужасающее правление Фила* [*The Brief and Frightening Reign of Phil*, 2005] и сборника эссе *Мегафон с умершим мозгом* [*The Braindead Megaphone*, 2007]. В *ИЛ* были опубликованы его рассказы *Стопудовый шеф* и *Приморские дубы* [2001, № 7].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Tenth of December* [Random House, 2013].

Бо Ян
Го Диншэн [1920–2008]. Китайский писатель, журналист, переводчик, историк, правозащитник, диссидент.

Автор более 200 произведений, в том числе романа *Чужая земля* [1961] и самой его знаменитой книги *Эти отвратительные китайцы* [1984]. Текст публикуется по изданию *Choulou de Zhouguoren* [GUWUXUAN CHUBANSHE, 2004].

Роман Георгиевич Шапиро
[р. 1978]. Переводчик с английского.

В его переводе была опубликована повесть Э. Берджесса *Долгий путь к чаепитию* [2000]. В *ИЛ* в его переводе печатались очерки Оливера Сакса *Случаи из практики* [2001, № 3], фрагменты книги Чжан Жун *Дикие лебеди, или Три дочери Китая* [2005, № 9], а также статья *Варвары в Поднебесной* [2010, 12].

Борис Владимирович Дубин
[р. 1946]. Литературовед, переводчик, культуролог, социолог. Лауреат премий *ИЛ* [1992], *ИЛлюминатор* [1994], имени Анатоля Леруа-Больё [1996], имени Мориса Вакс махера [1998], премии Андрея Белого за гуманитарные исследования [2005], Международной премии имени Ефима Эткинда [2006], премии *Мастер* [2013], кавалер национального ордена Франции *За заслуги* [2009].

Автор книг *Слово – письмо – литература* [2001], *Интеллектуальные группы и символические формы* [2004], *На полях письма* [2005], *Классика, после и рядом* [2010], многих статей по социологии культуры. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Портрет в зеркалах* [1995, № 1, 12; 1996, № 8, 12; 1997, № 4, 12; 2000, № 1; 2003, № 10; 2004, № 12]. В *ИЛ* в его переводе публиковались стихи Э. Ади [1997, № 12], П. Жимфере [2010, № 11], миниатюры Х. Л. Борхеса [2005, № 10], эссе Ч. Милоша [1992, № 8], Э. М. Чорана [1996, № 4], С. Сонтаг [1996, № 4], И. Бонфуа [1996, № 7], Ф. Лежёна [2000, № 4], Б. Сарло [2010, № 10], отрывки из записных книжек Ф. Жакоте [2002, № 9; 2005, № 12] и др.

Альбер Камю
ALBERT CAMUS
[1913–1960]. Французский писатель и философ, родился и вырос в Алжире. Участник французского Сопротивления. Лауреат Нобелевской премии по литературе [1957].

Автор романа *Чума [La Peste*, 1947], повестей *Посторонний [L'Étranger*, 1942], *Падение* [*La Chute*, 1956], новелл в сб. *Изгнание и царство* [*L'Exil et le Royaume*, 1957], драм *Недоразумение* [*Le Malentendu*, 1944], *Калигула* [*Caligula*, 1945], *Праведники* [*Les Justes*, 1949], *Бесы* [*Les Possédés*, 1959, по Ф.М.Достоевскому], философских эссе *Миф о Сизифе* [*Le Mythe de Sisyphe*, 1942], *Бунтующий человек* [*L'Homme révolté*, 1951], *Размышления о смертной казни* [*Reflexions sur la peine capitale*, 1957, рус. перев. 2003]. На русском языке выходили его книги *Незнакомец* [Париж, 1942, перев. Г. Адамовича], *Избранное* [М., 1969], *Сочинения* [М., 1989], *Бунтующий человек* [М., 1990], *Творчество и свобода* [М., 1990] и др. В *ИЛ* публиковались записные книжки писателя и его ранняя повесть *Счастливая*

смерть [1992, № 2], новелла *Ренегат, или Смятенный дух* [1993, № 3], печатались фрагменты его биографии, написанной Оливье Тоддом [2000, № 4]. Набросок предисловия к книге Симоны Вейль переведен по изданию: Albert Camus. *Essais* [Paris, Gallimard, 1965].

Марек Заганчик
Marek Zagańczyk
[р. 1967]. Польский писатель, эссеист, издатель, заместитель главного редактора журнала *Зешыты литерацке.*

Автор книг *Пейзажи и портреты* [*Krajobrazy i portrety*, 1999], *Кипарисы и тополя* [*Cyprysy i topole*, 2012]. Публикуемый текст взят из книги *Путь в Сиену* [*Droga do Sieny*. Warszawa: Zeszyty literackie, 2005].

Алексей Петрович Цветков
[р. 1947]. Поэт, прозаик, переводчик. Редактор газеты *Русская жизнь* в Сан-Франциско [1976–1977], редактор и ведущий программ *Седьмой континент* и *Атлантический дневник* на радио *Свобода* в Мюнхене и Праге. Лауреат премии Андрея Белого [2007].

В американском издательстве *Ардис* вышли три книги его стихов: *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002], *Шекспир отдыхает* [2006], *Имена любви* [2007], *Ровный ветер* [2008], *Детектор смысла* [2010] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004, № 4, 2011, № 3]. Ведущий рубрики *ИЛ В устье Гудзона с Алексеем Цветковым.*

Иэн Макьюэн
Ian McEwan
[р. 1948]. Английский писатель. Лауреат премии имени Сомерсета Моэма [1976], Букеровской премии [2005], литературной премии Джеймса Тейта Блэка [2006].

Автор романов *Невинный, или Особые отношения* [*Innocent or The Special Relations*, 1990; рус. перев. *ИЛ*, 1998, № 12], *Амстердам* [*Amsterdam*, 1998; рус. перев. 2003], *Искупление* [*Atonement*, 2000; рус. перев. 2004], *Суббота* [*Saturday*, 2005; рус. перев. 2007]. В *ИЛ* напечатан его роман *Чизил-Бич* [2008, № 7] и эссе *На смерть Джона Апдайка* [2010, № 3].
Эссе *Отступничество* публикуется по изданию *Apostasy* [*Guardian*, 2013, 16 February].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода.* Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света.*

Вера Аркадьевна Мильчина
Переводчик с французского, литературовед, кандидат филологических наук, историк русско-французских литературных и культурных связей первой половины XIX века. Лауреат премий имени А. Леруа-Больё [1995, в составе редакционного коллектива журнала *Новое литературное обозрение*, и 1997], имени Мориса Ваксмахера [2000]. Награждена медалью Французской академии и французским орденом Академической пальмовой ветви.

В ее переводе изданы книги О. де Бальзака, Ж. де Сталь, Ш. Нодье, М. Блока, Б. Констана, Жорж Санд и др. Соавтор перевода книг *Замогильные записки* Ф. де Шатобриана и *Россия в 1839 году* А. де Кюстина. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны *Записки Жирафы* [1999, № 8] и *Рассказы здравомыслящего насмешника* Ш. Нодье [2003, № 4], *Амелия и Жермена* Б. Констана [2002, № 4], *Порнограф* Р. де ла Бретонна [2012, № 7] и др.

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг в серии "ЖЗЛ" *Редьярд Киплинг* [2011] и *Сомерсет Моэм* [2012]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта, Д. Китса, В. Набокова, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Наталья Родионовна Малиновская
Филолог-испанист, доцент кафедры зарубежной литературы МГУ. Лауреат премии *Иллюминатор* [1996] и премии журнала *Дружба народов* [1999].

Автор цикла статей о творчестве Ф. Гарсиа Лорки, испанском фольклоре, испанском сюрреализме и испанском барокко. С 1977 г. печатается как автор предисловий, переводчик, составитель и комментатор сборников испанской и латиноамериканской прозы [Ф. Гарсиа Лорка, М. Мачадо, Р. Гомер, де ла Серна, Асорин, Х. Ортега-и-Гассат, А. М. Матуте, С. Вальехо, испанские народные сказки, испанская народная поэзия]. Переводила также испанскую драматургию [Ф. Гарсиа Лорка, Асорин, Бенавенте]. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Лукаш Дембский
Łukasz Dębski
[р. 1975]. Польский писатель, сценарист. Владелец клуба-кафе *Кафе-Шкафе́* в Кракове, где вместе с женой художницей Анной Кашуба-Дембской регулярно организует концерты, выставки, мастер-классы и авторские встречи для маленьких и взрослых читателей.

Автор многочисленных поэтических и прозаических книг для детей и одной книги для взрослых *Кафе-Шкафе́* [*Café Szafé*, 2006], переведенной на чешский и (частично) английский языки.
Публикуемый текст взят из книги *Кафе-Шкафе́* [*Café Szafé*. Świat Książki, 2006].

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Прозаик, переводчик с польского, литературный обозреватель, лингвист. Член Литературной академии [жюри премии *Большая книга*]. Главный редактор интернет-портала *Словари XXI века*, модератор групп *Библиотека года* и *Словарь года* в сети *Facebook*. Главный редактор *ИЛ* [2005–2008]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010], австралийского фестиваля русскоязычной литературы *Антиподы* [2010].

В его переводе с польского напечатана пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Мария Сергеевна Курбак
Кандидат исторических наук, сотрудник Института Всеобщей истории РАН (Центр африканских исследований).

Автор статей, посвященных историческим аспектам творчества Дж. М. Кутзее, а также биографий других южноафриканских писателей и поэтов XX в. (Н. Гордимер, А. Бринк, А. Ибрагим, И. Йонкер, Л. ван дер Пост). В *ИЛ* публикуется впервые.

Евгений Викторович Воропаев
[р. 1949]. Переводчик с немецкого и скандинавских языков.

В его переводах выходили романы и новеллы Л. фон Захер-Мазоха, проза К. Крахта, произведения Э. Юнгера, книги детских классиков О. Пройсслера и М. Энде, лирика и проза немецких, австрийских и швейцарских экспрессионистов и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы рассказов А. Шмидта *Левиафан, или Лучший из миров* [2010, № 5] и В. Райнера *Кокаин* [2011, № 4], новеллы А. Эренштейна *Тубуч* [2011, № 4], стихов А. Штрамма, В. Клемма, Э. Ласкер-Шюлер [2011, № 4].

Александр Давидович Давыдов
[р. 1953]. Переводчик с французского, прозаик, издатель.

Автор книг *Повесть о безымянном духе и черной матушке* [2004], *49 дней с родными душами* [2005], *Три шага к себе...* [2005], *Свидетель жизни* [2006] и др. Переводил стихи Ж. де Нерваля, Г. Аполлинера, А. Рембо, Ж. Превера, М. Жакоба, прозу М. Турнье, Ж. Полана и др. Издает культурологический журнал *Комментарии*. В ИЛ опубликованы его переводы стихов М. Сен-Мартена [1995, № 6], Ж.-К. Пенсона [2004, № 8] и Жана Тардьё [2010, № 2].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премий *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], имени А. М. Зверева [2007] и *Иностранка* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса, проза и воспоминания Патти Смит и др. Постоянный автор ИЛ и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Делилло *Мао II* [2003, № 11—12] и *Падающий* [2010, № 4], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Д. Эггерса [2007, № 12] и Д. Седариса [2011, № 1], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Б. Сарло [2010, № 10], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4], *Писем из путешествий* Р. Киплинга [2008, № 11] и др.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хороманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, Е. Анджеевского, М. Хласко, Х. Кралль, С. Хвина, Е. Пильха, О. Токарчук, П. Хюлле и др. В *ИЛ напечатаны* ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханеман* [1997, № 12], П. Хюлле *Кастерп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и З. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8] и фрагментов его книги *Мой старший брат* [2011, № 5], повести *Монолог из норы* [1999, № 1] и рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов романа А. Барта *Фабрика мухоловок* [2010, № 5], рассказов З. Хаупта [2010, № 8], фрагментов книги М. Шейнерт *Остров-ключ* [2011, № 1], минироманa П. Черского *Отец уходит* [2011, № 10] и др.

Виктор Петрович Голышев
[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001], *Либерти* за перевод [2003], *Мастер* [2012].

В его переводе издавались романы *Вся королевская рать* Р. П. Уоррена, *Свет в августе* У. Фолкнера, *Над кукушкиным гнездом* К. Кизи, *Амстердам* И. Макьюэна и др. В *ИЛ* напечатаны романы *Теофил Норт* Т. Уайлдера [1976, № 6—8], *Другие голоса, другие комнаты* Т. Капоте [1993, № 12], *Макулатура* Ч. Буковски [1996, № 1], *Железный бурьян* У. Кеннеди [1996, № 4], *Принц Вест-Эндский* А. Ислера [1997, № 11], *В опасности* Р. Хьюза [2002, № 8]; повести *Большой налет* и *106 тысяч за голову* Д. Хэммета [1988, № 7], *Когда я умирала* У. Фолкнера [1990, № 8], *Мальчишка Педерсенов* У. Гасса [1997, № 2], *Гей, на Запад!* и *Я забыл поехать в Испанию* [2004, № 4] и *Человек, который отказался от имени* [2007, № 5] Дж. Гаррисона, *Огонь в норе* Э. Леонарда [2007, № 1], *Чизил-Бич* И. Макьюэна [2008, № 7], рассказы Ч. Буковски [1995, № 8], Т. Капоте [2005, № 10], У. Тауэр [2010, № 7[2005, № 10], лекция В. С. Найпола и эссе С. Сонтаг [2007, № 12] и др.

Полина Сергеевна Козеренко
Переводчик с польского и чешского языков.

В ее переводе изданы книга М. Щигела *Готтленд*, рассказы В. Береся, Я. Мельхиора, Я. Л. Вишневского. В *ИЛ* в ее переводе опубликован очерк Я. Ю. Щепанского *Майя* [2007, № 12], главы из книги М. Щигела *Готтленд* [2009, № 1], репортаж В. Тохмана *Бешеный пес* [2011, № 10], а также статья *Литература в свете лампы* [2011, № 10].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Евгения Ушакова.
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Экспресс-хроника" (Страстной бульвар, д. 4);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в Санкт-Петербурге:
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.12.2013
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 889.
Тираж 4300 экз.
Отпечатано в ОАО "Можайский полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.oaompk.рф
Тел.: (495) 745-84-28; (49638) 20-685.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

[2] 2014

РАССКАЗ ЭЛИС МАНРО “БЕГЛЯНКА” / “ГОЛОСА ИСХОДА” — ПОЭТЫ И ФИЛОСОФЫ ИСПАНСКОГО ИЗГНАНИЯ / ЗИГФРИД ЛЕНЦ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / NB: “МАТЕРИЯ ИДЕЙ” — С ЖАНОМ СТАРОБИНСКИМ БЕСЕДУЕТ СЕРГЕЙ ЗЕНКИН / ФЛЭНН О’БРАЙЕН В РУБРИКЕ “НИЧЕГО СМЕШНОГО”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2014, №2, 1–288

ISSN 0130-6545 14002 9 770130 654770